

МИХАИЛ
ГАСПАРОВ



Михаил Леонович Гаспаров

Собрание сочинений в шести томах. Т. 6. Наука и просветительство

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69637117

*Собрание сочинений в шести томах. Том VI. Наука и
просветительство: Новое литературное обозрение; Москва; 2023
ISBN 9785444823104*

Аннотация

Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей по возможности полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. Собранные в шестом – финальном – томе материалы знакомят нас с мыслями ученого о науке и людях в ней, о профессии и об исследовательских методах, о просветительстве и образовании, о месте филологии и вообще гуманитарного знания в нашей повседневной жизни. Том открывает книга «Записи и выписки», составленная Гаспаровым из фрагментов его записных книжек, дополненных воспоминаниями, письмами, ответами на анкеты и интервью. Статьи, рецензии, предисловия, заметки, программы и конспекты небольших лекционных курсов, мемуарные фрагменты, письма, анкеты и интервью, также включенные в том, в значительной

степени дополняют эту книгу. Читатель – как будто изнутри, глазами одного из ярчайших ученых, одновременно филолога-классика, исследователя истории русской поэзии и стиховеда – сможет посмотреть на плодотворнейшую эпоху развития гуманитарного знания, которой оказались последние четыре десятилетия XX века, представить логику исследовательской мысли, познакомиться с научными и литературными вкусами и предпочтениями М. Л. Гаспарова.

Содержание

РЫЦАРЬ ФИЛОЛОГИИ	11
ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ	25
ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ 7	25
I. ОТ А ДО Я	27
II	138
МОЯ МАТЬ	138
МОЙ ОТЕЦ	143
МОЕ ДЕТСТВО	148
ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ	151
ШКОЛА	155
УНИВЕРСИТЕТ	168
ИМЛИ	175
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ	194
ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БОБРОВЕ	198
С. С. АВЕРИНЦЕВ	224
ИЗ АНКЕТ И ИНТЕРВЬЮ	246
III. ОТ А ДО Я	261
IV	379
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ	379
ОБЯЗАННОСТЬ ПОНИМАТЬ	407
ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ	413
ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО	423
КРИТИКА КАК САМОЦЕЛЬ	442

V. ОТ А ДО Я

450

Конец ознакомительного фрагмента.

460

Михаил Леонович Гаспаров

Собрание сочинений в шести томах. Том VI.

Наука и просветительство

УДК 94(470+571)«19»(093.3)

ББК 83г

Г22

Редколлегия

Н. Автономова, М. Андреев, С. Гардзонио, Н. Гринцер,
А. Зотова, О. Лекманов, И. Пильщиков, К. Поливанов (координатор проекта), Д. Сичинава, А. Устинов

Составление К. М. Поливанова, А. Б. Устинова

Михаил Леонович Гаспаров

Собрание сочинений в шести томах. Т.6: Наука и просветительство / Михаил Леонович Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 2023.

Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей по возможности полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. Собранные в шестом – финальном – томе материалы знакомят нас с мыс-

лями ученого о науке и людях в ней, о профессии и об исследовательских методах, о просветительстве и образовании, о месте филологии и вообще гуманитарного знания в нашей повседневной жизни. Том открывает книга «Записи и выписки», составленная Гаспаровым из фрагментов его записных книжек, дополненных воспоминаниями, письмами, ответами на анкеты и интервью. Статьи, рецензии, предисловия, заметки, программы и конспекты небольших лекционных курсов, мемуарные фрагменты, письма, анкеты и интервью, также включенные в том, в значительной степени дополняют эту книгу. Читатель – как будто изнутри, глазами одного из ярчайших ученых, одновременно филолога-классика, исследователя истории русской поэзии и стиховеда – сможет посмотреть на плодотворнейшую эпоху развития гуманитарного знания, которой оказались последние четыре десятилетия XX века, представить логику исследовательской мысли, познакомиться с научными и литературными вкусами и предпочтениями М. Л. Гаспарова.

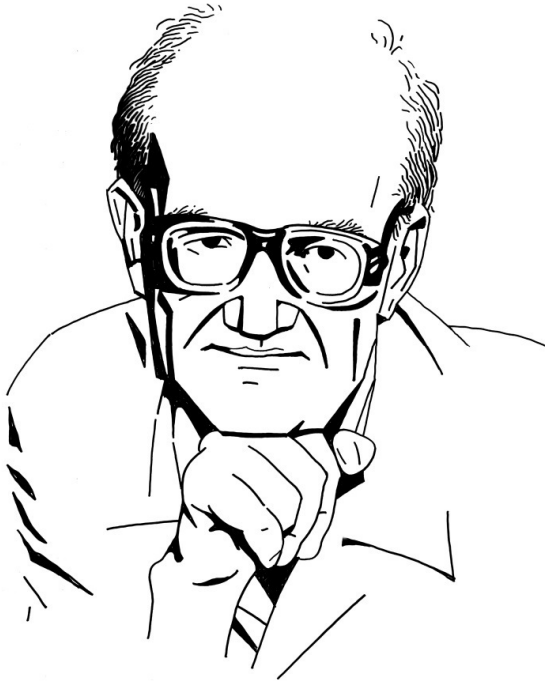
ISBN 978-5-4448-2310-4

© А. М. Зотова, 2023

© К. М. Поливанов, А. Б. Устинов, составление, 2023

© К. М. Поливанов, Д. В. Сичинава, статья, 2023

© Д. Черногаев, обложка, макет, 2023



РЫЦАРЬ ФИЛОЛОГИИ ГАСПАРОВ О ЖИЗНИ, О ЛЮДЯХ, О НАУКЕ

Шестой том собрания сочинений М. Л. Гаспарова может показаться самым пестрым, но вовсе не следует полагать, что сюда просто собрано все, что не поместилось в предыдущие тома. Составители стремились не столько представить результаты трудов Гаспарова-ученого, сколько показать читателю самого познающего Гаспарова.

Том открывает книга, сразу ставшая интеллектуальным бестселлером. «Записи и выписки» печатались сперва на страницах журнала, а затем, в 2000 году, были выпущены издательством «НЛО» как отдельное издание. Этой книге трудно подобрать точное жанровое определение, она, как и сам автор, многогранна и во многом парадоксальна. В значительной степени это коллекция заметок Гаспарова из его записных книжек, так что можно было бы говорить о прозе ученого, но – и, быть может, с не меньшим успехом – подошло бы к ней и определение «собрание верлибров». Тут, наверное, стоит вспомнить, что статьи, рецензии, заметки Михаила Леоновича всегда производили впечатление почти художественной прозы, при абсолютно строгой системе обстоятельного и доказательного научного рассуждения. Сам Гас-

паров определял этот жанр как нечто традиционное, но в то же время можно увидеть в нем предтечу и едва ли не прообраз современных записей в «Фейсбуке», провоцирующих к комментариям и разнородным «лайкам». Это книга обо всем на свете: прежде всего, конечно, о слове, словесности и филологии, но также и о современности и древней истории, о языке и современниках, о политике и просвещении, об античности и постмодернистской поэзии, и, конечно, о людях, самых разных. Буквально каждый фрагмент книги все время провоцирует к соразмышлению.

В предисловии к первому изданию «Записей и выписок» Гаспаров писал:

У меня плохая память. Поэтому, когда мне хочется что-то запомнить, я стараюсь это записать. Запомнить мне обычно хочется то же, что старинным книжникам, которых я люблю: Элиану, Плутарху или Авлу Геллию, – интересные словесные выражения или интересные случаи из прошлого. Иногда дословно, иногда в пересказе; иногда с сокращенной ссылкой на источник, иногда – без. Сокращений я здесь не раскрывал: занимающимся историей они понятны, а остальным безразличны. Я не собирался это печатать, полагая, что интересующиеся и так это знают; но мне строго напомнили, что Аристотель сказал: известное известно немногим. Я прошу прощения у этих немногих.

Эти записи печатались в журнале «Новое

литературное обозрение». Для книги я добавил к ним несколько статей на ненаучные темы – писанные по заказу, они тоже когда-то кого-то интересовали – и несколько экспериментальных стихотворных переводов, сделанных для себя.

Здесь, как и во всей книге, безусловно присутствует доля лукавства, несомненная игра с читателем, которому явно предлагается вспомнить о самых разных шуточных предисловиях, где авторы отчасти открывали свои карты, отчасти готовили к самому разного рода неожиданностям. То и дело присутствующая в книге ироничная игра совершенно не отменяет глубочайшей серьезности множества и коротких, и длинных фрагментов, составивших книгу.

Читатель вовлекается в игру всем наполнением и структурой книги: записи и выписки – длинные, короткие и совсем короткие – это цитаты из книг, воспоминаний, газет, архивных документов, отдельные слова и фразы из разговоров со знакомыми, их рассказы о чужих репликах (иногда бывает названо имя собеседника, иногда даются инициалы или одна буква), рядом могут оказываться и чисто филологические наблюдения, опять же иногда свои, иногда собеседников. Записям в книге даны заголовки, часто повторяющиеся («Жизнь», «Перевод», «Подтекст», «Заглавие», «История», «Престиж», «Предки», «Прогресс» – так озаглавлены многие записи), иногда уникальные («Зайцы и лягушки»); для других записей заглавием служит их первое слово. Неко-

которые записи и выписки включают и поясняющие реплики автора, которые тоже бывают и краткими, и развернутыми, но многое выписывается без комментариев. Какие-то записи целиком строятся как собственное наблюдение. Логику заглавия записей иногда бывает легко понять (как, например, в нескольких записях, названных «Подтекст»), а иногда читателю явно предлагается загадка.

Все записи расположены в четырех последовательностях, названных автором «От А до Я». (В первом издании алфавитный порядок касался только первых букв: так, после нескольких записей, озаглавленных «Любовь», шли несколько других, а затем еще несколько «Любовей», «Жизней», «Языков» и т. д. – сам этот «беспорядок», конечно, входил в состав игры с читателем, которую вел автор, во всех своих исследованиях всегда стремившийся к максимальной и ясно видимой упорядоченности.) Записи с одним и тем же заглавием помещаются часто в разных частях книги. Между четырьмя «алфавитами» Гаспаров поместил свои воспоминания «Моя мать», «Мой отец», «Война и эвакуация», «Школа», «Университет» и другие, об институте мировой литературы, где он много лет служил, о своих университетских профессорах, а также свои письма нескольким адресатам, ответы на разнообразные анкеты и интервью 1990-х, статьи о переводе, стиховедении, античности, семиотике.

Замечательный книговед и редактор Аркадий Эммануилович Мильчин в книге «Как надо и как не надо делать

книги. Культура издания в примерах» посвятил «Записям и выпискам» главу «Алфавитный беспорядок», упрекая издательство «НЛО» в том, что они не снабдили книгу алфавитным указателем вокабул:

Оригинальная книга М. Л. Гаспарова «Записи и выписки» (М., 2000) не может не восхищать любого читателя, способного ощутить интеллектуальную силу включенных в нее неординарных текстов.

К великому сожалению, эта прекрасно изданная книга, которую даже брать в руки приятно, подпорчена одним редакционным недоглядом.

Свои выписки автор оформил в виде словаря с вокабулами, расположенными по алфавиту в каждом из четырех блоков, одинаково названных «От А до Я». Внутри блока за статьями с заглавием на букву А следуют статьи с заглавием на букву Б, затем на букву В и т. д.

Однако если алфавитный порядок групп статей с заглавиями на одну начальную букву строго соблюден, то внутри каждой группы в расположении статей никакого порядка нет. Например, на с. 137–138 статья «Кукушка и петух» (с. 137) значительно опережает статьи «Катарсис» и «Канонизация» <...>. Да «Канонизация» и должна была бы предшествовать «Катарсису» <...>. И так по всей книге, во всех словарных блоках.

Правда, автор мог выбрать такое расположение вокабул на одну начальную букву вполне сознательно,

исходя из замысла известного одному ему (например, по ассоциативной или иной связи между статьями). В конце концов, читать словарные блоки можно и подряд. Так что этим алфавитным беспорядком можно было бы пренебречь и даже не заметить его, если бы автор изредка не отсылал читателя от одной статьи к другой. Например, в первой статье «Коллективный труд» (их во втором словарном блоке две) содержится ссылка: см. также «Институт». В каком из блоков «словаря» нужно смотреть так озаглавленную статью, не указано. Приходится просматривать все статьи на И во всех четырех блоках. <...> Она нашлась только в четвертом блоке, причем между статьями «Исход» и «Извозничьи слова», то есть там, где, следуя алфавитному порядку, ее ожидать было нельзя¹.

Собираясь напечатать вышеприведенные слова, Мильчин счел необходимым послать свои замечания Гаспарову и получил письмо, которое также опубликовал:

Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!

Я, действительно, очень виноват перед Вами и перед другими коллегами, которые серьезно относятся к книге «Записи и выписки», – я понимаю все указанные Вами трудности, потому что и мне самому при необходимости очень трудно найти в ней нужные места (поэтому, в частности, мне не удалось истребить в ней некоторые повторения). Но это были требования

¹ Мильчин А. Э. Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах. М., 2002. С. 27–28.

жанра – не научного, имитирующего домашность. Поэтому же и алфавит соблюдает только первую букву: моими образцами были Элиан, Авл Галлий (и Стобей), а досужие греки соблюдали алфавит только в первых буквах. Простите мою покорность жанру и поверьте, что я бесконечно тронут Вашим вниманием. Я тоже много редактировал в жизни, понимаю Ваши заботы и со вниманием читал Вас в НЛО. Всего Вам самого хорошего...

Весь Ваш М. Г.²

Конечно же, ответ Гаспарова написан не без лукавства, «кажущаяся беспорядочность» записей, безусловно, в высшей степени продуманная, читателю, как уже было сказано, не всегда легко разгадать логику, но в этом очевидно присутствует элемент авторской игры с нами. Про одно можно сказать с уверенностью. В одной из дарственных надписей на шестой странице первого издания под предисловием и рядом с картинкой зайца Михаил Леонович написал «от зайца познающего». Познающий – это тот, кому абсолютно все собранное в книгу очень интересно, а дальше, как искусный педагог и искусный писатель, он умеет сделать это интересным своим собеседникам и своим читателям.

Наверное, почти все, кому довелось встречать Гаспарова, помнят, как он доставал записную книжку и записывал услышанную фразу, слово, наблюдение, многим доводилось

² Мильчин А. Э. Как надо и как не надо делать книги. С. 28.

и слушать, как он эти записи читал собеседникам. Записные книжки велись на протяжении десятков лет. Биолог Борис Николаевич Головкин, учившийся с Михаилом Леоновичем в последних классах школы, рассказывал:

Он все заносил, как уже было сказано, в записные книжки своим мелким, убористым, очень четким почерком. Мы дарили ему эти книжки, потому что они очень быстро кончались. Он всегда носил их при себе в кармане. Причем тематика была самая разнообразная. Я не буду говорить, какой тематике были посвящены две книжки, которые у меня есть и которые я на память храню, потому что это детские книжки, касающиеся наших детских, условно говоря, игр. Но это тоже страшно интересно, потому что там есть некоторые такие пародии, я не знаю, на какой оригинал, вроде «Голубая кошка вышла на дорожку. Было удивительно, удивительно слишком. Кошка не знала, лето иль зима. Оранжевую мышку взяла она под мышку, и мышка подумала, не сошла ли она с ума». Вот такие были стихотворения. Потом были другие, более «взрослые» стихи³.

Вошедшие в том кроме «Записей и выписок» статьи, заметки, рецензии, предисловия, конспекты, интервью, письма – так же как и сама эта книга – о литературе и науке, об их сходствах и границах, о нужности филологической профес-

³ Головкин Б. Н. О школьных годах М. Л. Гаспарова // Вечер памяти Михаила Леоновича Гаспарова: Сборник материалов. М., 2007. С. 68.

сии, о месте филологии и филологов в окружающей жизни.

Включенные в том интервью и ответы на анкеты дополняют материалы, которые в «Записи и выписки» включил сам Гаспаров. В 1990-е годы, которые, наверное, были едва ли не лучшим десятилетием в истории страны, даже не только в XX веке, самые разные издания обращались к Михаилу Леоновичу с просьбой об интервью. Оценка происходящего здесь и теперь, казалось бы, кабинетным ученым, погруженным в такие специальные области знания, как классическая филология и стиховедение, оказалась востребованной. И это не удивительно. Гаспаров постоянно и внимательно читал газеты и журналы, следя за жизнью страны не менее внимательно, чем за современной поэзией. Он отлично чувствовал и точно и продуманно формулировал свои ответы (интервью никогда не бывали устными).

Как Сергей Сергеевич Аверинцев («филологов много, а Аверинцев был один» написал Гаспаров) называл филологию службой понимания, так Михаил Леонович сформулировал, что филология – служба общения. Именно здесь, по его мнению, одна из обязанностей филолога в самом широком смысле: переводы («переводчики – скоросшиватели времени»), языки, адаптация для современников культуры давнего и сравнительно недавнего прошлого. Вспомним, что одной из самых популярных книг Гаспарова оказалась «Занимательная Греция»⁴. Автор стремился максимально облег-

⁴ Представленная в первом томе нашего издания (с. 27–367).

читать, сделать одновременно доступным и увлекательным далекое прошлое, которое в его книге ощущается как имеющее самое прямое отношение и к настоящему. Гаспаров ценил издания, помогающие читателю, он сетовал, что только два раза напечатали «Войну и мир», где в качестве оглавления даны сверхлапидарные характеристики каждой главки, что не делают популярных кратких переложений длинных текстов разных эпох прошлого. Нельзя требовать от общества, чтобы все были историками и филологами, говорил Гаспаров, но именно историки и филологи, занимающиеся реконструкцией прошлого, должны облегчать восприятие накопленного за столетия опыта, мягко советовать не делать крышу из того, что в прошлом служило фундаментом, и наоборот.

Гаспаров был оптимистом, он надеялся, что следующим поколениям доведется жить чуть легче. Чрезвычайно выразительны его оценки политического прошлого:

– *Чем был XX век в истории России – революция, культ личности, война, оттепель, перестройка, распад СССР, социально-политические и нравственные итоги?*

– Был цепью причин и следствий. В начале века Россия торопливо индустриализировалась вслед Западу. Будучи нищей, она делала это на французские (и иные) займы. За это нужно было платить участием в непосильной войне 1914 года. Такая война неминуемо вела к революции. (Отчего бывают революции? Оттого, что всякому народному терпению бывает

конец; а заметить этот конец заблаговременно власть не умела.) Если бы русская революция слилась с германской, как рассчитывал Ленин, то во главе мирового социализма стояла бы Германия на месте России, а в хвосте его Россия на месте Китая. Европу спасла Польша: сто лет русской власти родили в ней такую всенародную ненависть, что она нашла силу для отпора 1920 года. России осталось строить социализм в отдельно взятой нищей стране. Такой социализм (кажется, Ленин считал его «государственным капитализмом»?) мог обернуться только сталинским режимом. О Сталине лучше всего сказано в Британской энциклопедии: «он сделал Россию из страны сохи страной атомной бомбы, но он хотел управлять страной атомной бомбы так, как управлял страной сохи». Чтобы выйти из этого противоречия, понадобилась оттепель, перестройка и демократизация. А демократизация означает деколониализацию, то есть распад Союза. Россия и за ней СССР был колониальной империей, хотя колонии были и не заморскими; в Европе пик деколониализации был в 1960 году (со всеми тяжкими последствиями для колоний и для беженцев из колоний), у нас этот пик – сейчас: как всегда, Россия отстает ровно на одно поколение. Никаких итогов нет: цепь причин и следствий продолжается.

– *Кто в наибольшей степени (со знаком плюс или минус) оказал воздействие на ход истории XX века?*

– В мире – наверное, Эйнштейн; в Европе – к

сожалению, Гитлер; в России – заведомо Ленин: без него бедствия России были бы иными.

Из анкеты для Литературного музея

Для Гаспарова было чрезвычайно важно представление о просвещении, в котором он видел едва ли не главную миссию филолога. Гаспаров писал, что потребность узнавать новое заложена в природе человека так же, как стремление к утолению голода и размножению. Он преподавал не очень много, но публикуемые в настоящем томе материалы конспектов, которые он предварительно раздавал своим слушателям, позволяют увидеть эту сторону его просветительской деятельности как будто немного «изнутри». В своих лекциях, так же как и в докладах и статьях, он всегда умел достигать фантастической ясности. Сергей Аркадьевич Иванов в небольшой сопроводительной заметке к интервью Гаспарова в журнале «Итоги»⁵ обращает внимание на то социально-политическое значение, которое обретала эта ясность:

Основным видом антикоммунистической фронды была для советских гуманитариев нарочитая усложненность. <...> Правящая идеология навязывала примитивную картину мира, элементарные мотивации, безвариантные объяснения – фрондерствующая гуманитария отвечала бесконечным умножением числа факторов, ходов и связей. <...> Михаил Леонович Гаспаров – один из немногих, кто шел в это

⁵ «Любовь ко всякому слову» – с. 457–461 настоящего тома.

время совершенно противоположным путем – путем предельной божественной ясности. И оказалось, что она столь же, если не более убийственна для режима. Помню свое первое впечатление от лекции Гаспарова в середине 1970-х о каких-то строго академических вещах, но мой приятель шепнул мне: «Такое ощущение, что сейчас воронки приедут», – и я чувствовал то же самое. Работы Михаила Леоновича помимо того, о чем они рассказывали, несли другое важное послание, причем не исключаю, что помимо воли автора: они указывали на оборотную сторону официальной идеологии, на ее лукавое велеречие, на синдром «голого короля», на тайное порочное пристрастие к непроговоренности, непроясненности, смутности, смазанности и недодуманности⁶.

Сам Гаспаров о связи политической жизни и просвещения отвечал в уже цитированной анкете литературного музея в начале 1990-х:

– Как события современной общественной жизни воздействуют на ваше творчество, внутреннее состояние и социальное поведение? Какие из них считаете важнейшими? Участвуете ли в партиях и движениях?

– Важнейшие события: оттепель, потом перестройка, теперь борьба за демократизацию. По ним вижу, как нужно России просвещение, и стараюсь для него делать,

⁶ Иванов С. А. Страница в альбоме Михаила Гаспарова // Итоги. 10 декабря 1996. С. 70.

что могу. Но в экономике и политике я не специалист и партиям и движениям бесполезен.

Гаспаров неоднократно подчеркивал, как важно для человека найти свое место в жизни, для него это был прежде всего выбор профессии, в которой он достиг чрезвычайно многого. Исследования культуры, выраженной в слове (снова цитируем его слова), строились на убеждении, что «литература отвечает человеческой потребности в прекрасном». Профессию он и понимал как службу доступа к прекрасному.

В этом томе, пожалуй, больше, чем в других, составители не стремились к строгой структуризации материала, разместив его в духе не раз обсуждавшейся Гаспаровым античной «пестроты», «разнообразия» (ποικιλία). Именно этим духом, несомненно, проникнуты сами «Записи и выписки», а материалы, размещенные в нескольких разделах этого тома, по-разному перекликаются с первым текстом и друг с другом. Читатель встретит схожие пассажи в разных жанровых контекстах (часть таких случаев отмечена редакцией) и может проникнуть в творческую лабораторию ученого, следя за трансформацией текста на пути от записной книжки или конспекта лекции к публикациям.

ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ

ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ ⁷

Моей жене

Алевтине Михайловне Зотовой

с благодарностью за всю жизнь

и на всю жизнь

Первое издание этой книги вышло в 2000 году. Главная ее часть – это действительно выписки из записных книжек, накопившиеся за тридцать лет и оказавшиеся интересными не только для меня. В новом издании набор их значительно обновлен. Добавлены материалы мемуарного характера, сокращена специальная терминология, исключены некоторые сугубо лингвистические или литературоведческие понятия. Несколько изменена и композиция книги.

Я филолог-античник, образцами моими были такие писатели, как Элиан, Плутарх и Авл Геллий, которые любили коллекционировать интересные случаи, мысли и словесные выражения. Иногда дословно, иногда в пересказе; иногда с сокращенной ссылкой на источник, иногда без.

⁷ Текст дается по изданию: *Гаспаров М. Л.* Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Эта книга не научное сочинение, поэтому я позволил себе опустить большинство точных ссылок на источники или вообще обойтись без них. Кавычки в таких случаях означают, что мысль принадлежит не мне, а где-то услышана или вычитана, но я нахожу ее интересной. Сокращений я не раскрывал: занимающимся историей и филологией они понятны, а остальным безразличны. Пусть читатель простит мне эти вольности.

М. Гаспаров

I. ОТ А ДО Я

*У этой книги 200–300 авторов, из которых я выбрал фразы, показавшиеся мне справедливыми.
Стендаль*

*Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова.
О. Мандельштам*

А «Если ты сказал **А** и видишь, что ошибся, то говорить **Б** не обязательно», – говорит персонаж у Брехта (кажется, в «Ja-Sager»). – Не надо делать культа даже из верности самому себе. Впрочем, еще раньше говорилось: сказав **А**, не будь **Б**.

Авария «Христианство, а потом раскольниковство начались в расчете на скорый конец света, а потом переходили на аварийный режим: это и был мораторий страшных судов».

Автопародия У Пушкина в «Оде Хвостову» стих «А ты глубок, игрив и разен» копирует собственное «К морю»: «Как ты, могущ, глубок и мрачен». А из стиха «Прощай, свободная стихия» получилось «Прощай, любезная калмычка»; из «И блеск, и тень, и говор волн» – «И блеск, и шум, и говор балов», а из «Твой грустный шум, твой шум призывный» – «Мой первый друг, мой друг бесценный». Редкое скопление

реминисценций.

Автопародия («Онегин» как автопародия южных поэм и т. д.). Не казался ли Пушкину «Беппо» автопародией «Дон Жуана»?

Авторитарность Когда Бахтин пишет: «Тургенев не понимал, что такое настоящий роман», – это похоже на марксистское «Пугачев не понимал, что такое настоящая революция».

Ад Вл. Соловьев: «Государство существует не затем, чтобы создать на земле рай, а затем, чтобы не дать ей превратиться в ад».

Ад На обсуждении диссертации в отделе теории ИМЛИ было сказано: «Так как Блейк был порождением ада, то не следует изображать его вдохновителем английского романтизма». Мне показалось, что это всерьез.

Адам В начале XVIII века объявили, что нашли список сочинений Адама и среди них... «Всемирную историю».

Актуализация второстепенных значений слова, по Тынянову, – это все равно что читать книгу, при каждом слове вспоминая весь набор его значений из толкового словаря. Приблизительно так работают искатели подтекстов. А еще более современные вместо толкового словаря смотрят в «Мифы народов мира».

Акцент Н. Трубецкой говорил: идеи Марра становятся менее бредовыми, если читать его статьи с грузинским акцентом (а Э. Чансес говорила, что «Улисс» понятнее с ир-

ландским акцентом). А. Долинин: «Набоков отгораживался от американской культуры: в магнитофоне у него британский акцент попеременно с русским».

Анаграмма «Поиски анаграмм – художественная работа: нужно, чтобы после тебя уже нельзя было ее не заметить», – сказал О. Ронен (по поводу того, что «Анчар» – сублимация от «саранча», на которую его послал «князь» Воронцов).

Была детская игра: из букв длинного слова составлять короткие слова, кто больше составит. (М. Ю. Лотман говорил, что у них в школе такая игра называлась «словяга».) Сколько можно составить слов в четыре и более букв из слова «электростанция»? Более 200. Поэтому мне не казалось странным, что из любого четверостишия можно вычитать какую угодно анаграмму. Однако думалось, что не зря же этим увлекались большие ученые; хотелось проверить. В. С. Баевский написал мне, что готовит для блоковской конференции доклад об анаграммах у Вл. Соловьева. Я спросил: «По каким стихотворениям? хочу попробовать сам, а потом свериться». Он назвал. Я взялся за первое (не помню какое), стал высчитывать особо частотные буквы, и из них безоговорочно сложилось слово «масло». Тут я понял, что хоть анаграмма, может быть, и великое дело, но мне оно противопоказано. (Работа Баевского напечатана: сб. «Целостность художественного произведения и проблемы его анализа...», Донецк, 1977; ср. «Блоковский сб.», III.) Это была та самая конференция, где Тименчик сказал: «ес-

ли наша жизнь не текст, то что же она такое?»

*кстати сказать
сукин ты сын
кто тебе сказал
что ты
текст?*

Вс. Некрасов

Что анаграмма все-таки великое дело, меня обнадеживает Свифт, который в третьей части «Гулливера» уже издевался над этим методом; а Свифт гениально выбирал для издевательств только самые перспективные идеи во всех науках: всемирное тяготение, кибернетические машины, хлорофилл, мозговые полушария...

В детской книжке были головоломки: слова с переставленными буквами, восстановите слово – что такое «сляратюк»? «цинемаль»? «кечелов»? (кастрюля, мельница, человек).

Анакреон («А мне бы стать рубашкой, / Чтоб ты в меня оделась, / А мне бы стать водичей, / Чтоб мною ты умылась...») Ему подражала Цветаева: Штейгер был богат, но она купила и послала ему куртку с запиской: «Я хотела бы быть этой курткой» (С. Карлинский).

Ананас был нецензурным словом после одного манифеста около 1900 года, где абзац начинался: «А на нас Господь возложил...» (Ясинский).

Анекдот (однословный, простейшая схема). Телефонный звонок: «Это номер такого-то?» – «Нет» (вариант: «У меня и телефона-то нет»). – «Тогда чего вы берете трубку?»

Анекдот Я сказал сыну: я – тот козел, которого в анекдоте вводят в тесную комнату, чтобы потом выгнать и людям стало бы легче. Сын, привыкший ко всему, сказал: «Никогда не мог подумать об этом с точки зрения козла!»

Анна Каренина «А ты трудись, я тебе помогу, вон Анна Каренина семь раз переписывала „Войну и мир“...» (Л. Рахманов). Естественно, потому что ритм имен одинаковый. Знаменитую хабаровскую железнодорожную станцию Ерофей Павлович я оплошно называл *Ерофей Маркович* (а собеседники мои – *Ерофей Петрович*).

Аполлон «Слог пиитический и аполлиноватый» хотел видеть в поэзии В. Тредиаковский.

Аристотель «Нехорошо читать опровержения Маймонида на Аристотеля, потому что человек засыпает над Аристотелем, не дочитав до опровержений». Эту хасидскую мудрость учитывали и при советской власти, но тоже непоследовательно.

Архаисты и новаторы Жуковский раздражал Тютчева тем, что был новатором, не будучи архаистом, а провинциал Тютчев ценил архаизм.

Архив Человек – точка пересечения социальных отношений. Вяземский об этом сказал: «Бог не дал мне фасы, а дал много профилей». Виднее всего это в архиве, где образ че-

ловека вырисовывается из писем к нему от разных лиц. Повесть об этом написал Апухтин. Человек в литературе – совокупность фрагментов, соответствующих этим отношениям. В традиционалистической литературе они располагались синхронистической мозаикой, в так называемой реалистической стали располагаться в диахронической перспективе: «Блажен, кто смолоду был молод...» и т. д.

Архипелаг «Жаботинский, как Гарибальди, представлял человечество архипелагом, где каждый народ – отдельный остров».

Архипелаг Э. Панофский писал: образованность немецкого студента – архипелаг цветущих островов, разъединенных безднами невежества; образованность американского – мощное сухое плоскогорье.

Ассигнации Щедрин писал в письме: «Говорят, будут продавать ассигнационную говядину, которая будет относиться к настоящей так же, как ассигнационный рубль к настоящему. Но если мы и дальше будем печатать ассигнационные стихи г-на Боровиковского, то журнал наш долго не продержится...» (цит. по памяти).

Аутентичность Набоков вносил изменения в свои поздние английские автопереводы и объявлял их самыми аутентичными, чтобы они быстрее нашли разноязычных переводчиков, чем если бы с русского. А. Н. Толстой переделывал «Гиперболоид» (и проч.) для каждого переиздания ровно настолько, чтобы получить гонорар как за новый текст. Когда

планировали объем нового академического издания А. Толстого со всеми вариантами, об этом никто не подумал.

Афоризм «Мысли вприкуску» (источника не помню.) Жанр, в котором великие люди состоят при собственных изречениях.

Ахилл Издательская марка на книге: черепаха, а вокруг надпись: «Следом следует Ахилл».

Бабочки «Его эпитеты и метафоры, как бабочек, можно накалывать на булавки» (рец. на Набокова в «Современных записках»). В «Strong Opinions» Набоков отмечал, что бабочек коллекционировал Марат. Я вспомнил апокрифический херсонский сборник футуристов «Бабочки в колодце» / «Рыбочки в колодце».

Базаров Ю. Даниэль говорил: «Чем же плохо, что из человека будет лопух расти? Большой сочный лопух, которым прикроет голову от солнца красивая женщина». А Чуковскому в детстве мать сказала, когда он потерял ее рубль: «Что ж, подумай, как обрадуется тот, кто его найдет».

Башня «Не поэты, а публика живет в башне из слоновой кости», – цитирует Берберова Кл. Брукса.

Башня «По-французски – башня из слоновой кости, а по-русски – келья под елью», – переводил М. Осоргин.

Бедный «Упрощенность стихов Демьяна Бедного пре-
взойдена лишь упрощенностью обычного изучения их» (из статьи о нем).

Бедный Слонима называли Мирским для бедных. «Для

очень бедных», – поправлял Адамович.

«**Безнаказанность** – промежуток между преступлением и наказанием» (А. Бирс).

Безукоризненно Стихи харьковского поэта: «Хотел бы написать стихи я / Безукоризненно плохие, / Чтоб Раскин написал пародию / И тем прославился в народе я». В самом деле, какая редкость – безукоризненно плохие стихи! Впрочем, Ахматова говорила, что из каждого поэта можно отобрать книжечку безукоризненно плохих стихов. Подразумевала ли она исключение для себя?

Белесоватый Последние слова Тургенева: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые». А у Толстого: «Не понимаю» (есть варианты). Ибсен, пролежав несколько лет в параличе, привстал, сказал: «Напротив!» – и умер. О. Люмьер, в 92 года (1954): «Моя пленка кончается». Кант: «Das ist gut». Ср. у Юшневского на могиле в Иркутске: «Мне хорошо. – Последние слова покойного». Наоборот, Ахматова, после камфоры: «Все-таки мне очень плохо». Н. Я. Мандельштам сиделке: «Да ты не бойся». Последние слова Эйнштейна остались неизвестны, потому что сиделка не понимала по-немецки.

Белка «Как живете?» – «Как все». – «Полоса черная, полоса белая?» – «Нет, пожалуй, колесо так быстро вертится, что они сливаются в очень серое».

Белка «Я готов быть белкой в колесе, но не в ста же колесах» (из письма).

Белые медведи И. Аксенов (в письме к С. Боброву): когда был у Пикассо, то сказал: «Что ж вы меня не спрашиваете о белых медведях, вы ведь полагаете, что они у нас по улицам бегают?» – «Нет, не полагаю, тогда бы их шкуры дешевле стоили; а то я хотел подарить одной даме, но цена – не подступишься! – И, помолчав, с надеждой: – Ну а волки-то хоть бегают?»

Белый Вера Станевич писала ему, что они с подругами на спиритическом сеансе вызвали его дух и он продиктовал им стихи [очень плохие]: «Люблю солнце, Шопэна, Пшибышевского и шоколад. Когда встречаю Вас на улице – восклицаю: это Андрей Белый!», – просила авторизовать. Потом приходила к нему под видом своей сестры, потом присылала открытку «22-го. Отчего? Вера» и т. д. (указано Н. А. Богомоловым). Это напомнило мне рассказ Нины Всеволодовны Завадской о том, как она познакомилась с Пастернаком: «на пари: „А вот слабо тебе позвонить Пастернаку, Шервинскому или Любошицу!“ – сказала Ксения Коган; я тут же позвонила, сказала: „Я не могу сейчас объяснить, почему я вам звоню, но потом объясню“». Потом разминовывались; вернувшись из Марбурга, он сказал ей: «Знаете, боюсь, что вы опоздали... Выходите за Костю Локса, он очень хороший человек». Потом они дружили. Когда начинался дождь, Пастернак звонил ей, и они выходили гулять по Пречистенскому бульвару. Локсу был посвящен «Близнец в тучах», *Поллукс* – его анаграмма.

Сон в Петрозаводске . На букинистическом прилавке – книги: сборник Юнны Морщи, изданный за год до ее рождения; однотомник Мандельштама в изд. «Федерация», 1933, со статьей Тарасенкова, оранжевая серийная обложка, крупный шрифт, последнее стихотворение – «Держу пари, что я еще не умер...»; «Под сенью девушек в цвету», роман Милонии Пац, переплет желтый; П. Тычина, «Заметки о переводческом мастерстве: литературные курьезы, часть 3»; Ю. Герман, «Рассказы о майоре Г.», Л., «Сов. писатель», 1940. Я стою перед этим прилавком рядом с майором Г., он обменивается с продавцом непонятными словами о том, что, по моему разумению, должен знать и сам; а его вспомогательный лейтенант в это время за окном идет по следам неизвестного преступника, только что на наших глазах купившего в соседней лавке бидон керосину, чтобы поджечь в гавани шлюп «Диана», отправляющийся в кругосветное путешествие...

«Берберова не любила Пушкина». – «Несмотря на Ходасевича?» – «Именно из-за Ходасевича. Она очень старалась идти в ногу со временем: даже Ходасевича не объявляла великим поэтом, пока к ней сами не потянулись интересующиеся. Но неприязнь к Пушкину была прочна» (разговор с Роненом).

Бердяева, Набокова и Камю сотрудница купила в селе Ночной Матюг близ Мариуполя. Был 1989 год. «Населенные пункты, названия которых можно произносить разве что в

Государственной думе», – говорилось в фельетоне «Летописи» 1916 года.

Bildungsroman Считается, что развитие личности пришло в литературу с христианством: обращение преображало человека. Однако такое преображение было уже у Светония: приход к власти изменял Августа и Тита к лучшему, а Тиберия и Домициана к худшему. А есть ли развитие героя в «Гэндзи», где он все время движется по служебной лестнице и меняет имена-звания? («Римляне открыли понятие карьеры, – сказал В. Смирин, – афинянин к каждой новой должности шел от нуля, римлянин – от предыдущей должности».) Для Бахтина, конечно, нет; а для японца?

Благо А местный священник даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов Божьих. Но Марья Петровна и сама знает, что она хорошая женщина (Салтыков-Щедрин).

Благо Во благоприсноувеселении и во всяких приснодостоянных благоключимствах с благопрозябшими от тебя чады твоими благодетельми моими во многочисленные веки здравствуй (письмо 1695 года из Азовского похода, «Русская старина», 1894, № 74, с. 247).

Благоутробие

Повсюду зрятя новы дома,

Благоутробием блюдомы...

Е. Костров

Благоутробие «С цесарекралеvским благоутробным дозволением» – подзаголовок в «Славеносербских ведомостях».

Близ Курс лекций «Античность в русской поэзии конца XIX – начала XX века» приходилось начинать «Спором философов об изящном», а кончать «Древней историей по „Саатирикону“». Вся поэзия укладывалась в эти рамки. «Голливудская античность», – сказал завкафедрой. Пушкин написал: «Феб однажды у Адмета близ угрюмого Тайгета», и отсюда появился Тайгет у Мандельштама, хотя от Адмета до Тайгета – как от Архангельска до Керчи. («Ассоциация со словом „тайга“», – сказал О. Ронен.)

Бог «Пора не о человеке, а о Боге подумать». А ему это нужно? – тогда я готов. Но если бы я был Богом, я не хотел бы, чтобы обо мне думали. – Так рассуждал Эпикур.

Бог В кружке Н. Грота и Вл. Соловьева тайным голосованием решали, есть ли Бог; большинство было в один голос (Письма Вл. С.).

Бог В. В. Розанов одним и тем же инициалом обозначал Бога и Боборыкина.

Бог Добрая старушка, умирая, говорила: «Да будет вознагражден Господь Бог за его милости ко мне» (Вяземский, Старая записная книжка).

Бог Киплинг после «Recessional» боялся, что его поймут как проповедь мирной политики. Так Цветаева в «Бог прав <...> вставшим народом» сказала больше, чем хотела, и делала испуганную приписку, что понимать надо наоборот.

Боз Статья С. Куняева в «Слове», 1989, № 12, про Л. Войно-Ясенецкого, «окончившего свой путь в бозе и в звании архиепископа Крымского», – судя по маленькой букве, это не Бог, а что-то другое. В той же статье была фраза: «но в ответ, несмотря на новые времена, опять услышал постылые кивки в прошлое» (с. 6).

Болезнь «Чтобы болезни не очень мешали работе, а работа болезням» (из новогоднего письма). «Болезни земли» Пастернака – от сентенции «У земли много болезней, одна из них – человек».

Брюсов Как критик Брюсов умел откликаться даже на книги, которых не было: «Вчера, сегодня и завтра...» (VI, 507): «как стихотворец решительно ниже себя во всех своих новых стихах был и А. Белый (Королевна и рыцари 1921, Первое свидание 1921, *Зовы времен*, *Берлин*, 1922, и др.)».

Умер великий Брюсов,
Но он оставил в жизни много плюсов.

(*Рабкоровские стихи*, цит. в «*На лит. посту*», 1925)

Вера В «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина Редедя рассказывает о Египте: арабы верят в Аллаха, а феллахи – во что прикажут. Точно таково было государство и у

Платона, и у св. Владимира.

Верблюд «Ulbandus Review», славистический журнал Колумбийского университета: заглавие – готское слово, которым Ульфилла обозначал слона, а в славянском оно стало верблюда. К символике взаимопонимания России и Запада.

Верлибр «Гитара спасла русскую поэзию от верлибра», – сказал В. М. Смирин.

Отец у танца – ритм, а мать его – работа;
Работа, следовательно, есть бабушка фокстрота.

Неизд. эпиграмма Б. И. Ярхо

Вийон А вдруг Вийонова прекрасная кабатчица, плачущая о молодости, вовсе никогда и не была прекрасной и это плач о том, чего не было? Так Мандельштам, по Жолковскому, поет за военные астры, зная, что вина у него нет.

Вкус Не принимать плохое настроение за хороший вкус.

Вкус З. Гиппиус писала Адамовичу: «Сирина я, извините, не читала: отчасти по недостатку времени, отчасти из страха: а вдруг мне понравится? Понимайте это как знаете». Сам же Набоков (будто бы) считал первоклассными писателями Ильфа с Петровым, Зощенко и Олешу, а второсортными – Элиота и Паунда («Strong Opinions»). А в письмах хвалил Багрицкого и Сельвинского.

Власть Первым стихотворением Брюсова, которое я прочитал, было: «Власть, времени сильней, затаена / В рядах

страниц, на полках библиотек...» Когда в «Мастерах перевода» выходил сборник Брюсова и нужно было название из автора, я предложил: «Власть, времени сильнее». Б. Шуплецов сказал: «Нет, про власть не надо». Под стеклом на столе у него лежали фотография Солженицына и листок с надписью: «Моя дочь, уезжая, сказала: не могу жить в стране, где жестоко относятся к животным и к людям». Сборник озаглавили «Торжественный привет» – хотя это было из перевода французского стихотворения Тютчева, которое кончалось: «Торжественный привет идущих умирать».

Внешторг был при Петре I, ГПУ при Малюте, колхозы при Аракчееве, комсомолы и выдвиженцы образовывали служилое сословие, а запрет на выезд был и при Грозном, и при Николае I.

Возведение в степень «Что отличает человека от животного? Being aware of being aware of being» (Набоков, «Strong Opinions»). Больше всего это похоже на парафразу Декарта у малоуважаемого Бирса: «Я мыслю, будто я мыслю, – стало быть, я мыслю, будто я существую».

Ворону хвалит мир,
Когда у ней во рту бывает сыр.

Граф Хвостов

Возраст У внучки – кризис трехлетнего возраста. В Америке говорят «horrible two's». Это Россия, как всегда, отстаёт: в онтогенезе как в филогенезе. (Впрочем, по мнению ны-

нешних психологов, у детей нет года без кризиса.)

Война «Для Ленина, по Клаузевицу, политика – продолжение войны другими средствами» (М. Вишняк в «Современных записках»).

Война «Революция завершает неудачную войну, война удачную революцию».

Волость Modern parochial states, – выражался Тойнби; волостная великодержавность – вот чего хочется некоторым деятелям. (Журнал «Слово», 1989, № 12, с нападками на Сахарова, вышел через несколько дней после его смерти. «Они не знали, что управились и без них», – сказала А.)

Время В тюркских языках будто бы есть время: недостойное прошлое.

Время Сабанеев, вспоминая башню Вяч. Иванова, удивленно писал: «...по-видимому, у всех нас было много свободного времени». Степун в «Современных записках» подтверждал: «У писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени». М. Е. Грабарь-Пассек, дивясь толстым томам патологии Миня, говорила: «Как только они успевали? впрочем, у них не было заседаний...» Я отвечал: «Зато какие долгие службы приходилось отстаивать!»

-вцы «Не случайно ведь толстовцы были, а достоевцев не было».

Из Г. Грасса

(конспективный перевод)

*Пророки сидели по тюрьмам.
Саранча летела и села.
Наступил экономический кризис.
Тут вспомнили про мед и акриды.
Пророков выпустили на волю.
Их было три тысячи триста.
Они говорили речи,
Утоляя голод саранчою,
А народ их трепетно слушал.
Скоро кризис был ликвидирован,
И пророков вернули в камеры.*

Гадания К. вырезал из газетных объявлений слова, склеивал в непонятные фразы, приклеивал на стенах комнаты, из-под потолка висела стрелка на нитке, каждое утро он раскручивал ее и вдумывался в фразу (Белоусов. Литературная Москва).

Гален писал: старику вреднее всего молодая жена и хороший повар.

Гегель Сухово-Кобылин в старости не узнавал родствен-

ников, но о Гегеле говорил не сбиваясь (Измайлов).

Гений Моцарт говорил о Бомарше: «Он же гений, как ты да я», а Пастернак писал Д. П. Гордееву о Божидаре: «Он же ничтожество, как вы да я».

Герб Сын сказал: гербом Москвы был, собственно, не св. Георгий, а «московский ездец», без нимба, чтобы не сквернить святое государственным (сейчас чувства противоположны); потом, что меньше известно, обелиск Свободы на скобелевском месте; позже, в 1990-м, среди проектов – памятник Долгорукому. «В девизе можно написать: свято место пусто не бывает», – сказал я. «Ленинградцы обидятся», – возразил сын.

Гигес пораздумал и предпочел остаться в живых» – самая психологически богатая фраза Геродота (I, 11).

Голова Выписка Эйзенштейна из Гране: в Китае человек называет свой рост только по плечи, потому что на плечах поклажа, а голова солдату не нужна.

Горло Е. В. А. заметила, что из-за отвычки от русских разговоров у нее болит горло, а когда привыкала к французскому языку, болели лицевые мышцы.

Грех Она же спрашивала знакомого священника (библиографа по призванию), с какими грехами люди приходят на исповедь. Он ответил: «Один сказал: накричал на канарейку». Это или святой, или, наоборот, великий грешник, предпочитающий вспоминать пустяк, а не затаенное (от себя же) былое душегубство.

Грех «А какой самый большой грех, по-вашему? – Самосовершенствование, – сказал гнутый, – без боли другому не обходится» (Ремизов. Мартын Задека).

Гроб В Китае на гробовых лавках написано: «Товар долговечности» (В. Алексеев).

Грудь Смерть спасла Гумилева от участи Брюсова, которому кусали грудь оттого, что зубки выросли. «„Памятник“ Брюсова напоминает мне памятник Скобелеву», – писал И. Аксенов С. Боброву.

Гусиные перья: ими писали еще Клемансо и Анатоль Франс.

Да «„Да!“ – сказала она с мукой. – „Нет!“ – возразил он с содроганием. – Вот и весь ваш Достоевский!» – говорил Бунин Адамовичу. О. Ронен сказал: «Вы думаете, Набоков написал „Дар“ ради Чернышевского? Ему интересно было, почему вся Россия любила убогого Чернышевского, чтобы понять, почему вся Европа любит убогого Достоевского». (А потом в свой решающий момент Набоков сам воспользовался приемом Достоевского. В русской эмиграции он был элитарный писатель, а в Америке такой элитарностью никого было не удивить. Тогда, подобно тому как Достоевский взял криминальный роман и нагрузил психологией, Набоков взял порнографический роман и нагрузил психологией; получились «Лолита» и слава.)

Дальтонизм Николай I не различал некоторых цветов: на чертеже он спутал Днепр с шоссе, а Клейнмихель за это

кричал на инженеров.

Дата К. Пигарев доказывал, что такое-то стихотворение Тютчева написано летом, потому что в нем описано лето. Хотя Фет, по точным датам, писал о весне в январе, а у Ахматовой «Мартовская элегия» написана в феврале.

Двадцать Жирмунский говорил, задумавшись среди лекции: «через двадцать лет пошлость становится стилем». Хочется добавить: а стиль пошлостью. Таков сейчас сталинский соц-арт.

Дворянство Гете: его «уездная жизнь предводителя литературного дворянства» (выражение Алданова).

Дебелые хозяйства немцев-колонистов. А ведь сначала Потемкин хотел было заселять Новороссию импортными английскими каторжниками (Кизеветтер).

14 декабря После первого залпа на Сенатской площади было странно тихо: с близкого расстояния картечь поражала смертельно, без стога (свидетельство современников).

«**Дележ** бывает опасен: вот если бы св. Мартин разрубил не плащ, а штаны...» – сказал И. О.

Дети Анахарсис на вопрос, почему не заводит детей, сказал: из любви к детям (Стобей, III, 120).

Дети З. Гиппиус писала в 1924 году, что кроме отцов и детей всегда есть дядья и племянники – не детьми же были Блок и Белый Брюсову и Бальмонту, а Есенин с Маяковским – Блоку. Марину Цветаеву Бальмонт называл своей литературной падчерицей.

Дети М. Цветаева (по Белкиной, с. 322): вначале дети родителей любят, потом дети родителей судят, потом они им прощают. Это она повторяет сентенцию Тэна (заметил К. Душенко), переиначенную потом Уайльдом.

Дети Меншиков говорил о Клейнмихеле: достроенный Исаакиевский собор мы не увидим, но дети увидят, мост через Неву мы увидим, но дети не увидят, а железную дорогу – ни мы, ни дети (Вяземский).

Дети Отцу новорожденного дают каши перловой с горчицей, перцем, хреном, солью, уксусом по ложке под сахаром, чтобы несколько помучился, как роженица (А. Терещенко. Быт русского народа). Родители крещаемого не присутствуют при крещении. «Почему?» – спросил некто. «Должно быть, чтобы совесть не зазрила», – отвечал священник (Вяземский).

Дети У А. Б. Куракина от разных любовниц было их около 70 (Рус. Старина, № 61, с. 213). Филарет за это отказался от похвального слова над ним.

Диалектика «Так как НН был диалектиком, т. е. хорошо понимал разницу между трупом и не-трупом, то он побежал по улице зигзагами и пригибаясь» (С. Бобров. Восстание мизантропов). Моя десятилетняя дочь, услышав это, сказала: «Неправда, при мизантропах ружей не было». Она имела в виду питекантропов. Декан филфака в Киеве имел прозвище Псевдантроп.

Диалог – быстрые обмены ролями между камнем и скульп-

птором: то я его – долотом, то он меня – долотом.

Диалог со студентом: он распускает хвост, я подставляю ему зеркало.

Диалог Для меня в диалоге межсубъектного нет: я в диалоге только быстро меняюсь из субъекта в объект и обратно. При этом я – субъект, когда слушаю и от этого преобразовываюсь, а не когда говорю и влияю. Так же можно преобразовываться и в общении с камнем или «уважаемым шкафом».

Диалог Книги А. Зиновьева – образцовая модернизация жанра платоновского диалога. Как она непохожа на то, что под этим имел в виду Бахтин.

Дисциплина партийная. Когда Якобсона спрашивали: кто пять лучших поэтов после Блока? – он говорил: «Хлебников, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, – а пятый... – и потуплялся: – Асеев, но если кто скажет – Кузмин, спорить не буду» (от К. Тарановского и О. Ронена).

Сон сына: *как русская литература строила теремок. Лев Толстой стены клал, Достоевский балки накладывал (голос: «с петельками!»), Островский столпы становил, Некрасов гвоздики забивал, А. К. Толстой генералов на стенки вешал, Чехов лавочки ладил, Лесков печку клал (голос: «а Ремизов в трубу вылетал!»), Блок стекла стеклил, Брюсов конька на крышу ставил, Гиппиус щели конопатила, Есенин лики писал, Горький огород городил (голос: «а Скиталец в ворота стучал!»), а Маяковский пришел и все разорил.*

Для «Пишу это для Вас, а не для читателей. Пусть для

них я останусь посрамленным. Это делу не вредит» (Б. Томашевский – С. Боброву, май 1916, РГАЛИ, 2554, 1, 66). Ср. А. П. Квятковский в письме 26.3.1948 о своем «Словаре»: «...пусть уж быют меня, меньше тумачков достанется другим, кто втянется в это малоблагодарное дело».

Добрый «Время такое, что легче быть талантливым, чем добрым».

Добрый Алданов о Прусте: мемуаристы в голос пишут, какой он был добрый, но прочитав его, уже не думаешь, есть ли на свете хорошие люди, а только – есть ли нормальные («Совр. записки», 1924, № 22).

«Зло, безнадежно, безысходно добр» был Добычин (Каверин. Эпилог).

Добродушный С. П. Бобров в «Интернац. литерату-ре» (1940, № 7–8, с. 266) цитирует предисловие Фета к Катутлу – как Пушкин «сам добродушно признавался»: «И меж детей ничтожных мира всех, может быть, ничтожней он». Кто сейчас мог бы расслышать в этом «добродушие»?!

Доброжелательный Ибсену поклонился незнакомый молодой человек на улице, Ибсен сказал: «Юноша, я вас не знаю, но по лицу вижу вашу великую будущность». На другой день молодой человек опять его встретил и радостно поклонился, Ибсен сказал: «Юноша, я вас не знаю...» и т. д.

Добродетель «Человеку добродетельному и то нужна на-кидка в дождь» (Варрон, Мениппеи, с. 571).

Долг Орден Марии-Терезии, который дается тем, «кто ис-

полнил больше, чем свой долг» (упом. у Алданова).

Долой «Революцию я встретил стихотворением „Долой меня“» (автобиография Ал. Вознесенского, РГАЛИ, 2247, 1, 22). «Не верь сначала старой няне, / потом учителю не верь, / потом писателю в романе / и самому себе – теперь».

Дон Что было нагреблено Наполеоном, то было отграблено и пошло на Дон.

«**Друг** ли вы самому себе?»; «Есть ли у вас друзья среди мертвых?» (из вопросника М. Фриша). Были логические головоломки: «Петр, Борис, Владимир, Григорий – летчик, доктор, учитель и садовод; кто есть кто, если Петр дружит с доктором, Борис играет в теннис с садоводом и т. д.? У меня в детстве они не разгадывались, потому что дружба казалась мне актом односторонним: если Петр дружит с доктором, это не значит, что доктор дружит с Петром. Если бы я был старше, я сказал бы: «как и любовь», – и процитировал бы эпод Горация или поговорку из Даля: «И ты мне друг, и я тебе друг, да не оба вдруг».

«**Дурак**», – закричал попугай; солдат вытянулся и ответил: «Виноват, ваше благородие, я думал, что вы птица».

Духовность «Что такое духовность? – Это когда нет и хлеба единого». «Декоративная духовность» – выражение О. Хрустальной в 1989 году для поколения Евтушенко и Вознесенского; увидела бы она, что будет потом!

Духом перегибателен – фразеологизм.

Душа «Гиря на душе все та же, но хоть твердо стоит и не

ерзает» (из письма).

Душа «Некоторые колдуны устраивают настоящие убежища для блуждающих душ, и если кто-нибудь потерял свою душу, то он может за установленную плату достать здесь другую» (Фрэзер).

Душа «НН ходит ко мне в душу, как в собственный ватерклозет», – жаловался кто-то в мемуарах акад. А. Н. Крылова.

Душа Карманы – «большие, накладные, глубокие – до дна души!» – заказывала М. Цветаева на пальто перед возвращением в Россию (письмо к А. Берг, 28 янв. 1938 г.).

Душа Стихи – это выражение того, что на душе? Да нет, это мы на душе у языка, и очень тяжелым камнем.

Дуэль Из-за музыки Листа у двух поклонниц чуть дело не дошло до дуэли (восп. Галахова о П. Н. Кудрявцеве). Я вспомнил, как М. Шагинян вызывала Ходасевича биться на шпагах.

*Не вовсе чуя бога света
В моей неполной голове...*

Языков

Евреи «М. К. Тихонова сказала о Тынянове: он сделал Грибоедова евреем» (записи Л. Я. Гинзбург). «Так он и Пушкина сделал евреем!» – воскликнул О. Ронен. Лишь потом со слов Харджиева было напечатано, что любимым раздумьем Тынянова было: кто из русских писателей насколько был ев-

реем?

«Если бы проглоченный кролик мог написать воспоминания об удаве...» – начала дочь.

Ё Пушкин писал через *ять*: «Всѣ те же ль вы» (не менялся ли ваш состав?); без *ятя* же, несмотря на отсутствие точек над ё, единодушно читается: «Всё те же ль вы» (по-прежнему ли вы такие, как были?). В «Анне Карениной» только точками над ё можно заставить читать фамилию *Лёвин*.

Женитьба Пал. Ант., VII, 309:

Шесть десятков прожив, здесь я сплю, Дионисий из Тарса.

Сам я не был женат. Жаль, что женат был отец.

Ср.: «Я бездетный. Это наследственное. Бабушка была бездетная, мать бездетная...» – «Откуда же вы?» – «Я из Минска».

Женитьба Бедуина спросили: «Почему ты не женишься?» Он ответил: «Потому что для этого нужно сперва развестись с самим собой».

Ср. юмор в «Литературной газете» к 8 марта: «От себя не уйдешь, кроме как к другой».

Жизнь Воспоминания Н. Ге (младшего): гуляя вечером по Хамовникам, Толстой остановился у неплотно прикрытого ставня, постоял, подсматривая, сказал: «Как интересна жизнь!» – и пошел дальше.

Жизнь Записи Л. Я. Гинзбург. Она сказала Олейникову,

что Брики страстно стремятся доказать, что они живы: Маяковский умер, а они живы. Олейников задумчиво ответил: «А ведь, в сущности, это так и есть...»

Жизнь Записка самоубийцы: «В жизни моей прошу никого не винить» (рассказ в «Новом журнале», 1942, № 3).

Жизнь Закарпатские вывески: «Великое похоронное предприятие», «Продажа victualов», «Торговля жизненными потребностями и прочим мешаным обиходом» (И. Эренбург. Виза времени, с. 245).

Жизнь У него же (там же) последний цадик говорит: «Рай – это память о добрых делах, а ад – это стыд. Всюду солдат учат по-своему, но всюду „раз-два“; но плох солдат, который в войну не забывает „раз-два“. А что вся жизнь, как не война?»

Заикание «Шкловский из своего умственного заикания создал жанр и стиль» (записи Л. Я. Гинзбург). «У него мысли как булавки, натканные в подушечку», – говорила Э. Триоле.

Заповедь Serena Vitale о М. Цветаевой: она грешила не против седьмой заповеди, а против первой – не сотвори себе кумира. Я бы добавил: и против 1а – не разрушай его.

Звезда (с звездой?). В архиве я читал пустозвездные стихи.

Звериное число А сколько строк в печатном листе, нормальных строк по 60 знаков? 666 (звериное число) и 6 десятых.

Здоровье «Относитесь к вашему телу, как к автомобилю, – сказали мне. – Если будете заботиться – далеко уедете; если захотите таскать на себе – недолго пройдет».

Злоба дня В начале 1913 года, отделив Монголию от Китая, русские поручили буряту Джамсаранову издавать в Урге газету. В первом номере было написано о земном шаре, частях света, молнии и грома, формах правления, русско-монгольском договоре и проч. Номер бурно раскупался, требовалось второе издание, а ламы жаловались хутухте, что круглая земля – это ересь (Б. Нольде. Далекое и близкое).

Знамение В Кампании заговорил бык; для отвращения беды его поставили на общественное довольствие (Ливий, 41, 13).

Игра «Чехов притворялся не-новатором, как другие притворяются новаторами».

«**Идеи**, как и вши, заводятся от бедности», – говорил К. Зелинский А. Квятковскому (РГАЛИ 391.1.20, письма Квятковского Пинесу). «Идеологическая малярия», – писал сам Квятковский. «За отсутствием крови пишем чернилами».

Изъявление Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух «был человек неизъявительный и довольно робкий».

Имя А «своенравное прозвание» Настасьи Львовны, о котором Баратынский написал небесные стихи, было «Попинька». Ср. у Вяземского в эпиграмме: «Его не попинькой, а Пыпинькой зовут».

Имя А у молодого Уайльда была пьеса из жизни русских

нигилистов, где действовали Царь Иван, Принц Петрович, Алексей Иванасьевич, Полковник Котемкин и Профессор Марфа.

Имя Консула 169 года звали: Кв. Помпей Сенецион Росций Мурена Секст Юлий Фронтин Силий Дециан Гай Юлий Еврит Геркуланий Луций Вибулий Пий Августин Альпин Беллий Соллерт Юлий Апр Дуций Прокул Рутилиан Руфин Силий Валент Валерий Нигер Клавдий Фуск Сакса Урутиан Сосий Приск (Фридлендер).

Имя Прокофьев в детстве сказал матери: «Мама! я написал рапсодию Листа». Федр озаглавливал свои стихи: «Эзоповых басен книга такая-то». А у Шенгели есть четверостишие под названием «Стихи Щипачева» (РГАЛИ):

Вот дуб. На нем могла б сидеть ворона,
Приподымая черный лоб.
Однако не сидит. Так в чем же суть закона?
Не все бывает, что могло б.

Инверсия «И звуков и смятенья полн» – это не замечалось, пока Цветаева во французском переводе не переставила «смятения и звуков», и все выровнялось и побледнело: смятение сперва, звуки потом.

Инверсия «Видение» Тютчева начинается парадоксом: живая колесница мироздания (целое!) катится в святилище небес (часть!). А кончается двусмысленностью: *лишь Мухомор* (подлежащее?) *девственную душу* (объект?) *в пророчестве*

ских тревожат боги снах: правильное осмысление – лишь в предпоследнем слове. Есть ли этот синтаксис – иконическое изображение непостижимости мира?

Инерция «Портрет Портретыч» – называл Серов свои рядовые работы. Бывают и Доклады Докладычи, Статьи Статьиинишны.

Инстинкт «Я, конечно, не люблю ее, а тянусь все тем же своим инстинктом – давать счастье» (Дневник А. И. Ромма, РГАЛИ, 1495, 1, 80).

Интеллигенция «Не хочу умирать, хочу не быть» (Цветаева в записях 1940 года). А Кузмин писал, что не хотел бы делаться католиком (или старообрядцем?), но хотел бы им быть. Был юбилей Эразма Роттердамского, И. И. Халтурин сказал: «Ваш Эразм – воплощение интеллигентского отношения к действительности: пусть все будет по-новому, только чтоб ничего не менялось».

Интересный Когда при мне говорили «интересная женщина», я не понимал. Мне объяснили: «Вот о Кирсанове ты ведь не скажешь: великий поэт, – ты скажешь: интересный поэт. Так и тут». Тогда я что-то понял. Кажется, теперь это словосочетание выходит из употребления.

Интернационал Вишняк говорил, что при разгоне Учредительного собрания «Интернационал» пели и разгонявшие, и разгоняемые.

Интернационал в пер. Колау Чернявского («Интернационал», Тифлис, 1927):

Вот роковая борьба.
Сгрудимся все побороть.
Завтра людская толпа —
Международь.

Встань от расправы земли,
Встань ты от голода-каторги,
Лавы последней разлив,
Грохоты разума в кратере.

Наголо сбреем бывшее,
Валом вздымайся, раб.
Прочь мировые устои.
Все — ты, ничто — вчера... и т. д.

Интерпретация «Ты слушай не то, что я говорю, а то, что я хочу сказать!» — говорит жена мужу в анекдоте. Любители чтения между строк воображают такими всех классиков.

Интуиция Можно читать на неизвестном языке, подставляя под звуки и буквы чужих слов похожие из своего языка. В «Вестник древней истории» самоучка прислал расшифровку этрусского языка: этрусски значит «это русские» (как же иначе?), поэтому их греческие буквы нужно читать как русские; надпись на вазовом рисунке (буквы: *хи, копна, ди-гамма, эта, пси, иота...*) читается: «хрен жили русы». (И редакция должна была подробно объяснять, почему это не

может быть напечатано.) Когда я смотрю на дерево, или здание, или стихотворение без подготовки и пытаюсь понять их интуитивно, мне все время кажется, что это я его толкую на манер «хрен жили русы». Когда я читаю деконструктивистский анализ – тоже.

Инфлюэнтик А. Л. Андреев кричал Бунину: вся интеллигенция разделяется на три типа – инфлюэнтик, неврастеник и меланхолик!

Информация А. Н. Колмогоров любил Евтушенко больше, чем Вознесенского: информативнее. А Солженицына критиковал слева: за непрощение большевикам.

А мне Солженицына жалко. Я видел по телевизору интервью с ним после его возвращения в Москву – он держался живо, взволнованно, совсем не как учитель и пророк, и был даже привлекателен. Но передовые люди не будут его слушать, а реакционеры будут объявлять его своим, – зачем это ему? «Один день Ивана Денисовича» – рассказ гениальный, а «Архипелаг ГУЛАГ» – подвиг; но все, что он пишет про историю русской революции, с художественной стороны (мне кажется) посредственно, а с научной – наивно.

Искусство «Любишь ли ты музыку?» – спросил Ребиков мужика. «Нет, барин, я непьющий», – ответил тот («Летопись», 1916, № 2, с. 178). Ср. разговор извозчика с Шалаяпиным: «Чем занимаешься?» – «Пою». – «Да нет, чем занимаешься?»

Искусство «Построить искусство легко просыпаться от

сна» предлагал Хлебников.

«**Испанцы** суть умеренны и трезвы, выключая только простой народ. Также постоянны, искренни, глубокомысленны, горды, тщеславны, ленивы и сребролюбивы» (Ремизов. Россия в письмах).

«**Историзм** могли выдумать лишь те европейские нации, для которых история не была непрерывным кошмаром» (М. Элиаде).

История «Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история?» (Козьма Прутков).

История Эдисон предложил Эйнштейну свои тесты: сколько километров от Нью-Йорка до Нью-Орлеана, какова температура плавления иридия и проч. Эйнштейн сказал: «Не знаю, посмотрю в справочнике». Современной культуре нужна не память прошлого, а справочник, в котором можно найти прецеденты на все случаи будущего. Такой справочник пробовал сделать Тойнби.

История современная В школьную программу ее ввели при Наполеоне III. «Угодничество сделано предметом школьного изучения» (дневник Гонкуров, окт. 1863 г.).

Каббала «Каббалпромстрой» – расшифровывается как «кабардино-балкарский».

Как таковое «Вы женщин любите?» – «Вы с похабством спрашиваете или без похабства?» – «Без похабства». – «Если вы про товарищеские чувства – не знаю, что и ответить. Женщину как таковую я наблюдал мало» (А. Адалис. Вступ-

ление к эпохе).

Календарь А. Белый, «Автобиографич. материал...» под Новый, 1893, год задумывал: «31 июня влюбляюсь в Маню Муромцеву...» У него как будто все годы состояли из одних мартобрей.

Калоши в армии разрешалось носить только с полковничьего чина (восп. Милашевского).

Канцелярия Император Леопольд в год осады Вены под-писал 8256 бумаг («Ист. вестник», 1916, № 2, с. 612).

Количество и качество В. Перельмутер – о том, что не удастся издать М. Тарловского. Сидел ли? Сидел, но меньше года. Раньше говорили: вот видите, сидел; теперь говорят: вот видите, меньше года. Он писал:

Мы все расстреляны, друзья,
Но в этом трудно нам признаться.

Колумбов день – первый понедельник октября. В справочнике написано: «Этот праздник – не для того, чтобы вспомнить открытие Америки, за которое нам так стыдно перед индейцами, а для того, чтобы полюбоваться красками осенней листвы».

Кольцовский стих «О душа моя, / О, настрой себя / К песнопениям, / Полным святости, / Ты уйми слепней / Матерьяльности...» – перевод О. Смыки из Синесия («Античные гимны», 283).

Комментарий Приятно писать в примечаниях: «*Яссин* – объяснить не можем»: как будто расписываешься в принадлежности к роду человеческого. Комментарий нужен, чтобы читатель знал, чего он имеет право не понимать (и, стало быть, что обязан понимать.) Ср. VII, **Такое слово**⁸.

Коммунизм «Примечания показались мне утопически подробными, какой-то коммунизм ученых мнений, где только поэзии нету места» (письмо А. К. Гаврилова о М. Альбрехте).

Коммунизм По Бабёфу, кто работает за четверых, подлежит казни как заговорщик против общества. Монахам тоже запрещалось умертвлять свою плоть больше других братьев.

Компиляция «Христос у меня компилятивный», – сказал Блок Б. Зайцеву; тот предпочел не понять.

Конец «В книгу вошли произведения более ста поэтов только с законченными судьбами» («Песнь любви», 1988).

«**Красная** Кастилия», – сказал С. Аверинцев о первых проектах нынешнего РГГУ: «сотрудники Академии наук просят освободить их от Академии наук».

Крутой характер в значении «трудный» – метафора; крутой человек в значении «с твердым характером» – метонимия. Я додумался до этого словоупотребления, переводя Ариосто; а через несколько лет это слово разлилось по всему разговорному языку. Вероятно, в применении к паладинам

⁸ При ссылках на статьи из других разделов перед названием указывается номер раздела.

Оно стало звучать комично.

Первое употребление, как кажется, в: «Старик Моргулис зачастую / Ест яйца всмятку и вкрутую. / Его враги нахально врут, / Что сам Моргулис тоже крут». В первом классе дали задание составить фразу из слов: малыш, санки, горка, крутой, съехать. Все написали: «Крутой малыш съехал на санках с горки».

Кряду Толстой восхищался Щедриным (за «Головлевых»), но добавлял: «кряду его, однако, читать нельзя» (восп. И. Альтшуллера). А Кони он говорил: Щедрин пишет для страсбургских гусей, которых раздражают, чтобы печень разрослась для паштета. (Как налима розгами.)

Кто кого У Вортов кота и кошку зовут «Кто» и «Кого». Вот разница языков: Wer и Wem было бы хуже, а Qui и Quam лучше.

Кто о ком «Огонек» напечатал Ходасевича со статьей о нем Вознесенского. Как легко представить, что написал бы Ходасевич о Вознесенском. Или Гракх об Авле Геллии, или Авл Геллий обо мне.

Для вечера о Ходасевиче . Ходасевич – поэт, но едва ли не большего уважения, чем поэзия, заслуживает его отказ от поэзии. Его последнее десятилетие было не внутренним «засыханием» и не досадным следствием внешних обстоятельств, оно было – как и конец Блока или Цветаевой – логическим выводом из сознательно принятой позиции. Он считал, что поэзия – это не вещание всемирных истин и тем

более личных страстей, а это изготовление зеркала, чтобы, заглянув в него, увидеть свое ничтожество. Это орудие нравственности в мире без Бога. Когда ты увидел себя со стороны (об этом раздвоении Ходасевич писал не раз) и, что мог, — исправил, а перед тем, чего не мог, — опустил руки, то остается только умереть или замолчать. Отказавшись от поэзии, он хоронит себя и свою эпоху в прозе. Он не консервирует свои чувства и приемы, он не плачется о прошлом и не заигрывает с будущим (или наоборот), а судит о них вневременно, как покойник, как житель некрополя: иссужа, холодно и сухо. Его мерило — Пушкин; а чтобы иметь право мерить Пушкиным, нужно объединиться с ним в смерти, потому что объединиться с Пушкиным в жизни может только Хлестаков. Он не считает, что с ним «погибла вся вселенна». Он знает, что культура работает, как мотор, в котором должны быть вспышка за вспышкой, но такие, чтобы не взрывали машину. Если ты сам не можешь вспыхивать и не хочешь взрывать, то следи, как механик, чтобы машина хорошо работала, — а для этого имей трезвую и беспристрастную голову. Именно за эту трезвость Мирский его обозвал: «любимый поэт всех, кто не любит поэзию» (то есть, в частности, филологов). Он учит умирать мужественно, потому что нехорошо, когда эпоха умирает с эгоцентрическим визгом. Такой урок всегда своевременен.

Культура С. Аверинцев на Цветаевской конференции сказал: для предыдущих поколений любовь к Цветаевой бы-

ла делом выбора, для нас она заданность. Та же тема, что и у Ю. Левина, когда тот отказался делать доклад о Мандельштаме, потому что Мандельштам уже не «ворованный воздух».

Курганова письмовник Фразы, которых я не мог разъяснить И. К. «Мне любезнее отказаться от всего аристотического трибала, нежели подумать открыть столь важную тайну... Я нахожусь, как Андрофес, в сладчайших созерцаниях толиких дивных изрядств... Он говорил по-гречески, по-латыне или по-маргажетски...»

*РГАЛИ 2180. 1. 51: Марк Тарловский, **упражнение на тройные рифмы** , ради которого он совместил несовместимое: октавы с пародией на Державина. Вот истинная преданность поэзии: ради красного словца он не пощадил не то что родного отца, но и себя, потому что не мог не понимать, что хотя бы от 10-й строфы уже вела прямая дорога к стенке. А был, говорят, большой трус.*

Ода на Победу

*Лениноравный маршал Сталин!
Се твой превыспренний глагол
Мы емлем в шелестах читален,
Во пчельной сутолоке школ,
Под сводами исповедален,*

*Сквозь волны, что колеблет мол...
Се – глас, в явлениях Вселенной
За грани сущего продленный.*

*Тобой поверженный тевтон
Уже не огонь, а слезы мечет,
Зане Берлин, срамной притон,
Возжен, чадящ и головецат,
Зане, в избыве от препон,
Тебе природа дланьми плещет.
О! сколь тьмократно гроздь ракет
Свой перлов благовест лиет!*

*За подвиг свой людской осанной
Ты зиждим присно и вовек,
О муж, пред коим змий попранный
Толиким ядом преистек,
Сколь несть и в скрыне злоуханной,
В отравном зелье ипотек!
Отсель бурлить престанут тигли,
Что чернокнижники воздвигли.*

*Се – на графленном чертеже
Мы зрим Кавказ, где бродят вины,
Где у Европы на меже
Гремят Азийские лавины:
Сих гор не минем мы, ниже
Не минет чадо пуповины;
Здесь ты, о Вождь, у скал нагих*

Повит, как в яслях, в лоне их.

*Восщелком певчим знаменитым
Прославлен цвет, вельми духмян;
Единой девы льнет к ланитам
Пишта, чувством пиян;
А мы, влеченны, как магнитом,
Сладчайшим изо всех имен,
Что чтим, чрез метры и чрез прозу,
Как Хлою бард, как птаха розу?*

*О твердь, где, зрея, Вождь обрел
Орлину мощь в растворе крылий,
Где внял он трепет скифских стрел,
С Колхидой сливши дух ковылий,
Где с Промифеем сам горел
На поприще старинных былей,
Где серебрян Терека чекан
Виется, жребием взалкан!*

*В дни оны сын Виссарионов
Изыдет ведать Росску ширь,
Дворцову младость лампионов,
Трикраты стужену Сибирь,
Дым самодвижных фаетонов
И тяготу оковных гирь,
Дабы, восстав на колеснице,
Викторны громы сжать в деснице.*

Рассудку не простреться лъзя лъ
На дней Октябrevых перуны?
Забвенна лъ вымпельна пицаль,
Разряжена в залог Коммуны?
Иль перст, браздивший, как скрижаль,
Брегов Царицыновых дюны?
Нет! Ленин рек, очьми грозя:
Где ступит Сталин, там стезя!

Кто вздул горнила для плавлен, —
Кто вздвиг в пласты ребро мотык,
Кем знак класится изобилеи,
С кем стал гражданствовать мужик,
Пред кем, избавясь подзатылин,
Слиян с языками язык?
За плавный взлет твоих ступеней
Чти Сталинский, Отчизна, гений!

Что зрим на утре дней благих?
Ужели в ноци персть потопла?
Глянь в Апокалипсис, о мних:
Озорно чудище и обло!
Не зевы табельных шутих —
Фугасных кар отверсты сопла!
Но встrel геенну Сталин сам
В слезах, струимых по усам!

Три лета супостат шебаршил,
И се, близ пятого, издох.

*В те дни от почвы веиний пар шел,
И мир полол чертополох.
И нам возздравил тихий Маршал
В зачине лучшей из эпох.
У глав Кремля, в глуши Елатьмы
Вострубим всюду исполать мы.*

*Коль спросить, завидна ль нам
Отживших доля поколений,
Что прочили Сионов храм,
Иль были плотью римских теней,
Иль, зря в Полтаве Карлов срам,
Прещедрой наслаждались пеней, —
Салют Вождя у Кремлих стен
Все м лаврам будет предпочтен.*

*Нас не прельстит позднейшей датой
Веков грядущих сибарит,
Когда, свершений соглядатай,
Он все недуги истребит
И прошмыгнет звездой хвостатой
В поля заоблачных орбит!
Мы здесь ответствовали б то же:
Жить, яко Сталин, нам дороже.*

*Итак, ликующи бразды
Вкрест, о прожекторы, нацельте,
Лобзайте Сталински следы
У Волжских круч и в Невской дельте,*

*Гласите, славя их труды,
О Чурчилле и Розевельте,
Да досягнет под Сахалин
Лучьми державный исполин!*

*В укор нейтральным простофилям
Триумф союзничьих укреп.
Мы знаем: Сатану осилим,
Гниущ анафемский вертеп.
Да брызжет одописным штилем
Злачена стилоса расщеп! —
Понеже здесь – прости, Державин! —
Вся росность пращурских купавен.*

9–13 мая 1945

Лаз Я беспокоился, что, переводя правильные стихи верлибром, открываю лаз графоманам. Витковский сказал: «Не беспокойтесь: графоманы переводят только уже переведенное, им этот лаз не нужен. Делают новые переводы Киплинга на старые рифмы».

Ламарк «А японцы после войны выросли в среднем на 10 см, чтобы не страдать неполноценностью в мировом сообществе. Ламаркисты говорят: от волевого напряжения; а дарвинисты: оттого, что кушать лучше стали, благодаря японскому чуду».

Латынь «Кокто переложил „Эдипа“ на телеграфную латынь» (В. Вейдле).

Легкий О. Седакова была секретарем у поэта К. А., нуж-

но было готовить однотомник. Он был алкоголик, но легкий человек: лежал на диване и курил, а она предлагала сокращения. «Ну, сколько строчек стоит оставить из этого стихотворения?» – «Одну». – «Это неудобно, давайте четыре». Смотрел с дивана на обрезки на полу и говорил: «Другой бы на это дачу выстроил».

Легковооруженный арьергард национальной классики, уже ощутимо инородный, – таковы кажутся Чехов и Анатоль Франс.

Ленинизм Ходасевич в дискуссии об эмигрантской литературе писал о будущем русской поэзии: «сочетание русской религиозности с американской деловитостью». Это почти точная копия последнего параграфа «Вопросов ленинизма»: «сочетание русского размаха с американской деловитостью».

Лесков показывал Измайлову иерусалимский крест из слоновой кости, а в середине стеклышко с непристойной картинкой. «В том, что делаю дурного, – не нахожусь на своей стороне» (Толстому, 12 июля 1891 г.). «Нехорошо иметь неопрятное прошлое» («Юдоль»).

Летний сад Все удивлялись, что герцог Лейхтенбергский женился на Н. С. Акинфиевой. «Это все равно, что купить Летний сад, чтобы иметь право в нем прогуливаться», – сказал Тютчев (Феоктистов).

Лимерик сочинения И. О.:

Жил да был человек в Мелитополе,
Утверждавший, что он-де vox populi;
Повторил эту фразу
Он по сотому разу,
И тогда его только ухлопали.

Литературная экология «Лучше уж написать историю советской заплечной критики (включая хедер имени Марселя Пруста, там тоже стояла дыба): тогда литература сразу явится как нечто производное. А что непроизводное – восхвалим, ибо это и есть ценность».

Лица В нью-йоркском метро на лицах сидящих и стоящих те же выражения, что и в Москве: усталые, озабоченные, немного отупелые. Одеты, конечно, лучше, в ватниках никого нет, но лица – такие же.

Лица. Была роскошная история Рима Г. Парети, семь фолиантов изд. УТЕТ с картинками на каждом развороте. Обычно такие бывают фальшиво-популярными, но эта была по-настоящему научной. Чтобы заполнить картинками все развороты, там во множестве печатали бюсты неизвестных римлян. Их дошло множество, каждая семья держала их в красном углу, как фотографии дедов, но воспроизводятся они редко: чем брать неизвестного, проще лишний раз напечатать Юлия Цезаря. А здесь они шли страница за страницей, низколобые, бритые, «смотри, как просты и квадратны лица», и становилось ясно, что именно такие, с мечом и плугом, могли завоевать мир и, завоевав, не выпу-

стить. И что именно с такими иудейская война могла быть только до последней капли крови. А в конце седьмого тома было маленькое послесловие от автора и под ним, вместо подписи, портрет Парети величиной с почтовую марку, впалые щеки, лысинка и борода.

Лоб Предмет «труд» в школьной программе: «это чтобы не камнем, а лбом орехи расшибать», – пояснил Б. Житков (письма, РГАЛИ, 2185, 1, 4).

Логика «Не ищите логики там, куда вы ее не клали», – сказали мне, когда я слишком долго старался понять статью НН.

Логика Был тест на классификацию карточек с картинками, дерево и таракан оказались в одной группе. Испытуемый объяснил: потому что никто не знает, откуда взялись деревья и откуда взялись тараканы. (Рассказывала Б. Зейгарник.) Неизвестно, читал ли он обэриутов.

Логика Из воспоминаний Чуковского. Мережковский сказал: «Люди делятся на умных, глупых и молдаванов; ваш Репин – молдаван». Гиппиус из соседней комнаты крикнула: «И Блок тоже молдаван!» Самое замечательное: «В ту минуту мне показалось, что я их понял».

Логика Виды медов были: вишневый, смородинный, можжевельный, обварный, приварный, красный, белый, белый-паточный, малиновый, черемховый, старый, вешний, с гвоздикой, княжий и боярский (Терещенко. Быт рус. народа, с. 204). «Квас черствый, квас сладкий, квас выкислый», –

перечислял Ремизов в «Учителе музыки».

Логика сочинительная: в водевиле Ильфа и Петрова персонаж боится ревнивого мужа: «Он ведь еврей, а это почти караим, а это почти турок, а это почти мавр, а мавр – сами знаете!..» Та же схема в известном анекдоте о ссоре мужа и жены: «...Ах, так я неправа? Значит, я вру! Значит, я брешу! Значит, я собака! Господи, он меня сукой обозвал!» Именно на это похожа система доказательств в интерпретациях разных поэтов у К.

Любовь «С получением сего предлагается Вам в двухчасовой срок полюбить человечество» (С. Кржижановский. О проблемах викариата чувств).

Любовь «Цветаева, видимо, любила своих любовников по обязанности поэта, а мужа – по-настоящему», – сказала НН.

В. Шкловский говорил Л. Я. Гинзбург: «Лиля Маяковского ненавидит за то, что гениальный человек он, а не Ося». – «Так Брика она любит?» – «Разумеется».

Любовь В. Вейдле: французская литература была для Пушкина родителями, которых не выбирают, а женой, которую выбирают по любви, была английская.

Любовь Он любит Мандельштама без взаимности; я тоже, но хотя бы стараюсь эту любовь заслужить.

Любовь Т. Масарик напоминал: сен-симонисты, чтобы теснее связать человека с человеком и приучить людей к любви, рекомендовали, например, пришивать пуговицы у

сюртуков сзади, чтоб брат брату помогал при застегивании. И все мы с удовольствием пришиваем своим братьям пуговицы сзади, чтобы они никак не могли их сами застегнуть («Современные записки»).

Макиавелли Г. Федотов о Ключевском: «Какой огромной выдержкой, почти макиавеллистической, нужно было обладать, чтобы читать курс одновременно в духовной, военной и университетской аудитории, сорок лет увлекая студентов и не навлекая подозрительности начальств».

Маркс Критик сказал, что «Приглашение на казнь» – это «Мы» в постановке братьев Маркс («Strong opinions»).

Материальный стимул Уточкин на стадионах летал не выше двух метров от земли, чтобы из-за заборов не глазели неплатившие.

Матизмы – термин из немецкой монографии о русской матерной лексике. Е. Солоновича просили перевести сонеты Аретино, он ответил: «Не получится, там все необходимые слова свои, а у нас какие-то неестественные, как будто из тюркских пришли». Оказывается, нет: никаких тюркских корней, только название главного органа почему-то из албанского.

Мать Б. Хелдт: «Мария Шкапская, как настоящая мать на суде Соломона, предпочла спасти свою поэзию, отрекшись от нее... Самая неоцененная поэтесса».

Мафия Вор ворует, мир горюет; вор попал, а мир пропал (Пословицы XVII в., изд. П. Симони).

Маяковский «У Данте все домашнее, как у Маяковского, а у Петрарки и Тассо уже отвлеченное», – говорила Ахматова Чуковской.

Медведь До 1815 года Россия и Польша барахтались на Восточной равнине, как два медведя в одной берлоге, царапаясь, но чувствуя, что они одной породы. И за сто лет потом возненавиделись до потери породы, больше, чем при любых самозванцах.

Метод «Этот метод тем полезнее, что сказать нам нечего, а говорить надо» (Квинтилиан, VII, 1, 37).

Мещанство Ренан восторгался г-ном Омэ: «Если бы не такие, нас всех давно бы сожгли на кострах».

Мидас Поэт – это «царь Мидас, [который] бреется сам и сам бежит к камышовой кочке» (письма Шенгели к Шкапской, РГАЛИ).

Минин Это Мельников-Печерский открыл, что его звали Сухорук («Отечеств. записки», 1842, № 8).

Мир Ощущение перед миром: «у нас этого не проходили» (письма А. Квятковского к Д. Пинесу).

Всё, что создано, мне ясно,
Тёмно всё, что рождено.

Полонский, I, 366

Млекопитающие Есть икона – Богоматерь Млекопитаельница. Гоголь путал ее с Троеручицей.

Могила Дорошевича на Волковом кладбище – рядом с

Белинским. С Белинского началось заселение Литературных мостков, справа лег Добролюбов и т. д.; а потом оказалось вакантное место слева и пригодилось Дорошевичу.

Может быть Адамович о Пушкине: «бессмертья, может быть, залог» – осторожность, кружится голова от неизвестности, тогда как Лермонтов с бессмертьем неразлучен и панибратствует. Считать ли подтекстом Пушкина «великое *peut-être*»?

Аннотация для Ленинской библиотеки: печатные карточки с такими аннотациями рассылались по областным, городским и сельским библиотекам, чтобы библиотекари знали, какую книгу ставить на выставку в день моряка, а какую в день рыбака.

А. Чепуров. Еще биография пишется... Л., 1983. «Я знал человека – на вид неказист, По сути – большой, рядовой коммунист...»; «Кому – летать, кому – ходить, Кому дорога – море. Соединяет жизни нить И радости, и горе...»; «Люблю я русскую природу, Люблю, не чаю в ней души И в ясный день, и в непогоду, В открытом поле и в глуши...»; «Мы произносим имя Ленин – И словно дружим с высотой. Весь шар земной, весь мир овеян Его прекрасною мечтой...»; «Вновь пугают, грозятся, Метят в самое сердце огнем. А чего мне бояться – Я живу в государстве своем!..» Такими стихами, простыми, прямыми и патетичными, выражает здесь свои мысли и чувства лауреат Государственной премии РСФСР ленинградский поэт Анатолий Чепуров, чей по-

этический путь начался на приневском фронте, и до сих пор «еще биография пишется...» В новую книгу поэта вошли стихи о временах года, о казахской степи, о Пушкине («Уж с той поры я с ним знаком, Когда под стол ходил пешком...»), «Поэмы из дальневосточной тетради» и публицистический цикл «Слушая будущее».

Молодость кончалась лет в 25: «Ты молода и будешь молода еще лет пять иль шесть», – говорят осмнадцатилетней Лауре. В «Кн. Лиговской» о 25-летней сказано: еще не со-вестно волочиться, уже трудно влюбиться (заметил Адамович). Лаврецкий был «старик» в 43 года, Ленин имел про-звище «Старик» в 34; где средняя жизнь недолга, стариками кажутся рано (Валентинов). «По дурную сторону тридцати» назывался пожилой возраст в XVIII веке. Ленин говорил Кр-жижановскому: «Худший из пороков – быть старше 55 лет».

Молодость «Что молодость? конец хазовый жизни!...» (Ф. Глинка. Тайнственная капля).

Мораль «Есенин занял место Надсона: не любить его – признак моральной дефективности. У Надсона – болезнь си-лы, у Есенина – болезнь веры» и т. д. (Мирский, 211). До Есенина самоубивались на могиле Чехова.

Мороз Потоптал мороз цветочек – и погибла роза. / Жал-ко, жалко мне цветочка, жалко и мороза (Шевченко).

Мудрость русского народа: формулой ее Лесков считал пословицу: «Гнем – не парим, сломим – не тужим». «Ста-раться, так всю, а что выйдет или не выйдет, не наше де-

лю» (Ремизов. Петерб. буерак).

Мысль «Я хочу высказать несколько мыслей», – начинает оратор.

«...Стоял на чтении словес Божиих, да не утолстеют мысли» (Ремизов. Подорожье).

Мышеловка не бежит за мышью. Мышеловка стоит и ждет. Мышь приходит сама». (Из анекдота.)

Сон А. *Кладбище, конторская изба, на подоконнике блюдца с пеплами, и начальница говорит: «Вы можете послать вашему покойнику письмо, у нас есть компьютер». – ? – «Вам же, наверное, хочется сообщить ему о том, что произошло без него?»*

Народ «Пока народ безмолвствовал, можно было верить, что он народ, а как заговорил – расплылся на социальные группы».

Народность – «у нас дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Православие: «если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?» Для Самодержавия формулу русской классики я пока не смог найти.

Народный язык (volgare) У А. Егунова (Николева) есть рассказ о петербургском митрополите, который будто бы для привлечения слушателей стал в Казанском соборе служить литургию по-французски, был сослан на Камчатку и там проповедью по-камчадалски («Если любви не имею...») поднял рождаемость в вымиравшем населении. Но в 1845 году действительно был проект при одной из церквей Бер-

дичева учредить православную службу на идише для привлечения прозелитов; отложили, потому что накладно было обучить попов языку и перевести молитвенники («Совр. записки»).

Нарцисс «Шершеневичу не хватало самовлюбленности, и он ее нервно компенсировал. Вообразить его поступки у Северянина немыслимо» (разговор с О. Б. Кушлиной).

Настрой вместо *настроение*: это слово («настрой души») было уже у Анненского в статье о Бальмонте. А загадочное *никчменный* вместо никчемный – у Пяста. Ср. V, **Волнительный**.

Naturgefühl «Хороши у Господа декораторы» (В. Жаботинский. Пятеро). К красоте природы я невосприимчив, но мне всегда казалось, что если бы я мог поговорить с Богом и расспросить его, какие горы и долины было легче делать, а какие труднее, то я научился бы что-то воспринимать.

Заболоцкий ужасался, как безобразна бабочка с близкого взгляда. Дневник Пришвина: «Как трудно птицам небесным: иишки под крыльями, высиживай, таскай червей... Мы можем любить природу [с тех пор, как] мы больше ее: любим и не спрашиваем о взаимности». Так пейзаж с горами и морями вошел в моду лишь после того, как альпийские обвалы и средиземноморские бури стали безопасны новым дорогам и кораблям.

Точно так же лишь после того, как историзм отделил человека от прошлого, стало возможно это прошлое не

спокойно-связно переосмыслять, а эмоционально-прерывисто пере-переживать: появилась романтическая автобиография. Кажется, об этом страхе времени писали меньше, чем о страхе пространства. Я смотрю по сторонам на людей и вещи, как античный человек на природу: как на потенциальную угрозу.

Национализм С. П. Бобров пересказывал английский роман: кто-то умирает и чувствует, что растворяется, как сахар в воде, в потоках света; ему не хочется растворяться, он начинает мысленно ругаться и богохульствовать, и, действительно, свет отступает, — но как только он останавливается, наплывает опять и т. д. (Очень похоже на Поплавского — «не религиозный опыт, а религиозные опыты», «не просто святость, а интересная святость», — писал о нем Бердяев: он хотел сохранять индивидуальность хотя бы ценой рембообразного зла.) Так и современным культурам не хочется растворяться в мировой, и они националистически ругаются. Ср.:

Пальмстрему так хочется покоя!
Раствориться бы, как соль в стакане,
Предпочтительно перед рассветом, —
А потом, по минованьи ночи,
Выкристаллизироваться наутро,
Как Венера Анадиомена.

Хр. Моргенштерн

Начальство Статья в «Русской мысли» 1913 года, после

балканских войн: у русского солдата кроме общеизвестных его боевых качеств есть еще одно: неприхотливость к начальству. Это значит: если над французским солдатом офицер дурак, то боеспособность солдата падает до нуля, а у русского только вдвое. А. сказала: «Это относится не только к солдату».

«Не бойся, не надейся, не проси». Не просить я научился смолоду, не надеяться учусь постепенно, не бояться – не могу.

Не верь глазам своим В репинских «Пенатах» на двери, похожей на окно, была надпись «Здесь дверь» (восп. Ал. Вознесенского). А в длинном больничном коридоре на одной из стандартных белых дверей я сам видел приколотую бумажку: «Не входить, это шкаф».

Не у нас «Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны» (Пушкин, по поводу «Истории поэзии» Шевырева).

«Не судите, да не...» Притча Ремизова: во сне архангел показывает ругателю душу ругаемого: куда скажешь, туда и пойдет, в ад или в рай. «Нет казни больше, чем судить».

Негроторговец «Научиться у меня можно лишь одному: не любить свои стихи и с зоркостью негроторговца разглядывать по статьям чужие; и то и другое – штука невеселая» (письма Шенгели к Шкапской, РГАЛИ).

Нейтральный Авангардистская невнятность содержания текста и понятные пятна на непонятном фоне – это вы-

вернутая наизнанку старая практика, где фон был понятен, а наиболее важные моменты отмечались необычной приподнятостью, т. е. невняtnостью.

Необходимость «Не полная, не худая, так только, необходимого виду» (восп. Т. Чурилина, РГАЛИ).

Несостоявшийся талант великого полководца (встретил в раю капитан Стормфилд), нереализовавшийся талант великого подлеца. Стремление не быть «добровольцем оподления» (Лесков), молитва: «Дай, Боже, прежде умереть, чем...». Солон говорил: не называй никого счастливым прежде смерти; так и здесь: не называй никого порядочным прежде смерти.

Никогда Ван Гог часто вспоминал египетскую надгробную надпись: «Феба, дочь Тмуи, жрица Осириса, никогда ни на кого не жаловавшаяся».

Никогда Никогда не случается неожиданного, никогда не сбываются предчувствия, никогда не верны заведомые известия (Тургенев – Полонскому, 6 сент. 1882 г., предсмертные уроки). Ср. пословицу: «Хорошее случается, а худое сбывается».

Ничего Л. Леонов справил 94-летие, его спросили, что он мог бы сказать современным писателям, он сказал: «Ничего».

Ничего Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего (будто бы Сковорода).

Ногти Адамович откуда-то помнил: Платон Зубов, уже

в 1820-х, рассказывал, что, когда шел к Екатерине, у него «ногти тряслись от отвращения». Алданов умолял найти источник, но не удалось.

Ностальгия У Гомера любовное обилие подробностей – от ностальгии по недавнему, но невозвратному прошлому, ближайшая аналогия – «Пан Тадеуш», но в нем ностальгия больше по пространству, чем по времени. В. Смирин добавил: так в I главе «Онегина» – ностальгия по петербургскому пространству, в VIII главе – по молодому времени; они перекликались темами большого света (в начале иронически, в конце уважительно, потому что за пределами «Онегина» ему уже грозит новое мещанство), темами хандры и книг.

Ночь В «Горных вершинах», несмотря на «тьму ночную», являются зрительные образы: «не пылит дорога» и, видимо, «не дрожат листы». В оригинале, наоборот, ночь складывается только из осязания (Hauch) и слуха (Schweigen), а по имени не названа.

Нужный «Не уезжаю, потому что я там не нужна; здесь я тоже не нужна, но здесь все мы не нужны, а там...»

Обезьянствовать «Француз играет, немец мечтает, англичанин живет, а русский обезьянствует» («Гоголь в письмах и воспоминаниях», 1931).

Обличать М. Салтыков-Щедрин, из писем Николая I к Поль де Коку: «Любезный статский советник Поль де Кок! Получив ваше письмо, что мне, как неограниченному повелителю миллионов, полезно по временам выслушивать об-

личения, я сейчас же послал за протоиереем Баженовым и, когда тот явился, приказал ему обличать меня. Но посмотрите, что он сказал: армия твоя наводит страх на всех твоих врагов, флоты твои по самым дальним морям разносят славу твоего имени, а чиновники с кротостью и любовью пасут вверенное им стадо. Судите сами по этим словам, как трудно управлять таким государством, как Россия!»

Обломов По нему Рильке учился русскому языку, а Цветаева потом негодовала.

Общение Яновский спросил Шестова: «Почему вы читаете лекции по писаному?» Шестов ответил: «Нет сил смотреть на лица». С. М. Соловьев тоже читал лекции, закрыв глаза.

Обязательный «За невольный грех и бог не взыскивает... Одно слово: обязательное было время» (Мамин-Сибиряк. Варнаки).

Ожидание эстетическое «Классицист вызывает читательские ожидания и удовлетворяет их, а романтик вызывает – и не удовлетворяет» (Т. Шоу). А дальше, вероятно, возникает ожидание неудовлетворения, и, чтобы обмануть его, нужно удовлетворить его и т. д. Так М. Дмитриев объяснял спор романтиков с классиками.

Озвучивать Катулл, 34, гимн Диане: «Чтоб владычицей гор была, И хребтов зеленеющих, И укрожных хребтов вдали, И озвученных речек». Переводчик – Н. Шатерников. А неверный друг у него – назван *Иуда* (РГАЛИ).

ПИСЬМО ИЗ ОКСФОРДА:

Дорогая И. Ю.,

сообщаю, что английский город Оксфорд – весь каменно-серый и травянисто-зеленый: серые циклопические стены колледжей и зеленые их дворы с лужайками: никогда не видел такой яркой зелени. Мне сказали: «Ваш колледж называется Новый, но вы не думайте, он современник Куликовской битвы». Со времен Куликовской битвы все они сто раз перестраивались, но не теряя замшелого вида. Всего этих колледжей 36, и как они складываются в университет, не знает даже мой приглашитель, который служит там двенадцать лет. Самый молодой строен перед войной, он гладенький, но тоже несокрушимо серый, острокрыший и с непрерывной колокольней, хотя церкви в нем нет. В остальных – тяжелые церкви, с входной стены тебе в спину смотрит орган, с передней вместо иконостаса – четыре яруса готических святых, тоже узких, как трубы органа. «Это, конечно, реставрация, настоящих святых повыкидывали в пуританскую революцию». И наоборот, на главной улице высокий конус из узких стрельчатых арок – памятник протестантским мученикам. А вокруг главной библиотеки – полукруглая решетка с каменными квадратными столбами, на каждом бородатая греческая голова, но выглядят они почему-то не как гермы, а как тын царя Эномая с мертвыми

черепами.

На боках колледжей – каменные доски с именами выпускников, погибших в двух войнах; на одной доске – два немецких длинных фон-имени: «они вернулись в отечество и отдали жизнь за него». Говорят, из-за этой доски был когда-то скандал. Внутри, в темном банкетном зале – портреты на стенах: темная парсуна в берете, сутана с отложным воротником, кафтан с пудренным париком, диккенсовские бакенбарды. Это попечители, к науке они не относятся. Банкет – при свечах, догорели – кончился.

За стенами (стены толстые, снаружи жарко, внутри холодно) теснятся домики без садилов, дымовые трубы гребешками, а между домиками бегают двухэтажные автобусы желтого цвета. На одном обшарпанном домике написано: «Здесь проповедовал Уэсли» (в XVIII веке), а на другом, совершенно таком же: «Здесь жил Голсуорси». Не сразу сообразишь, что из первых этажей на тебя глядят не витрины и офисы, а деревянные крашеные двери частных квартир на крепких замках. Поперек города и университета идет старая городская стена, тоже серые глыбы на сером цементе, а вокруг тоже зеленые лужайки. Но это что! Настоящая гордость – квадратная узкая башня, такая же каменно-щербатая, XI век, норманны строили, а на ней часы с новеньким голубеньким циферблатом.

У Маяковского в американских очерках раздел начинается: «Океан – дело воображения»: и в простом море не вид-

но берегов, но вот когда подумаешь, что такое безбрежье – на неделю назад и на неделю вперед, то оценишь. Так и Оксфорд: идешь мимо домов, а как считаешь, сколько веков с них смотрит, становится неуютно.

«Оксфорд» значит «бычий брод» – первое мелкое место на Темзе, где можно было перегонять коров из северной Англии в южную. Местные слависты переводят: «Скотопригоньевск». Я встретился там со старым знакомым, античником и славистом сразу. Я рассказывал, как Бродский говорил о Фросте: «для европейца за каждым деревом стоит история, а для американца пустота, ангуасс». Он спросил: «А для русского?» – «Не знаю». – «Наверное, Бродский тоже не знает».

Когда я прилетел, паспортист спросил: «Цель?» – «Научная конференция». – «Физика или что?» – «Филология». – «Что такое филология?» – «Лингвистика и тому подобное». Он с улыбкой поставил печать...

Омовение Б. Житков в письме к Бахаревой 31 сент. 1924 г.: «По поводу „Мойдодыра“ один здешний композитор говорит, что здесь все судьбы русской интеллигенции за последнее время. Умывание – это омовение от прошлой идеологии; упорствующие остались без брюк – [а] стоило пойти навстречу, как и прозодежда, и бутерброд».

-опа Шенгели в рабочей тетради набрасывает на полях рифмы: капитана Боппа, крика и вопа, прыга и гоппа, Родоппа, Эзоппа, подкопа, раскопа, окопа, скопа, копа, Перекопа, мик-

роскопа, (теле-, спектро-, стерео-, хромо-, перископа), холопа, безблочно и бесклопо, антилопа, Пенелопа, остолопа, эскалопа, галоп, циклопа, Канопа, протопопа, Партепопа, укропа, стропа, метопа, филантропа, мизантропа, оторопа, Метропа, потопа, топа, Каллиопа, гелиотропа, ослопа, салопа, салотопа, поклепа, тропа, Антропа, эфиопа, Синоп, сироп, притопа-прихлопа, Степа, растреп, питекантропа, пироп, землекопа, рудокопа, недотепа, Конотопа, губошлепа, хвостотрепа... (РГАЛИ, 2861, 1, 10, л. 87об.). У Брюсова, Багрицкого, Цветаевой тоже бывали такие заготовки рифм на полях.

Опасность «Революция толкнула С. Булгакова на опасный путь осознания происходящего».

Опиум В приютах его давали шалунам перед приходом знатных посетителей («Рус. старина», 1890).

Опояз Чуковский цитирует С. Джонсона: Ричардсон смотрит на часы и видит, как они сделаны, а Филдинг смотрит и видит, который час.

Оптимизм Агитстихи З. Гиппиус 1917–1919 годов удивительно похожи на людоедские стихи В. Князева того же времени и на «Убей его» Симонова. Если люди в войну нуждаются в таких лютых стимулах, чтобы убивать друг друга, то, право, о человечестве можно думать лучше, чем обычно думают.

Оптимизм Самая оптимистическая строчка в русской поэзии, какую я знаю и вспоминаю в трудных случаях жиз-

ни, это в «Коринфянах» Аксенова. Медея зарезала детей, сожгла соперницу, пожар по всему Коринфу, Ясон рассылает пожарников «и на Подол, и на Пересыпь», хор поет гимн огню со строчкой «укуси? укуси? укуси?», вестники браво рапортуют, что все концы выгорели дотла, – и Ясон, выслушав, начинает финальный монолог словами:

Но не в последний раз горит Коринф!

Оригинальность Девочка хочет обрезать роскошную косу, чтобы сделать «оригинальную прическу». «Оригинальная – это какая?» – спрашивают родители. «Оригинальная – это как у всех», – убежденно отвечает дочь.

*Каждый здесь проходящий
Мнит, что он – судия,
В нем весь смысл настоящий,
В нем венец бытия.
Но из сфер, где собака
Тумбы правит закон,
Выбегают из мрака
Сто таких же, как он.*

Борис Лапин

Орфография Александр I жалел о невозможности запретить указом букву *ять* (Греч). Кажется, это реминисценция из разговора императора Тиберия с грамматиком, кото-

рый сказал: «Ты пишешь законы Рима, а не законы языка».

От и До План воспоминаний Г. Шенгели: «Северянин, Волошин, Мандельштам, Дорошевич, Багрицкий, Брюсов, Бальмонт, Белый, В. Иванов, Рукавишников, Грин, Ходасевич, Цветаева, Есенин, Шершеневич, Маяковский, Пастернак, Антокольский, Аксенов, Бобров, Петников, Гатов, Кузмин, Нарбут, Ахматова, Адалис, Шишова, Олеша, Катаев, Ильф, Арго, Бурлюк, Бунин, Л. Рейснер, Рыжков, <нрзбр>, Шкловский, Шкапская, Хлебников, Глаголин, Ходотов, Мурский, Дядя Ваня, А. Литкевич, Сюсю, Француз». То же в «Ямбах»: «Он знал их всех и видел всех почти: / Валерия, Андрея, Константина, / Максимильяна, Осипа, Бориса, / Ивана, Игоря, Сергея, Анну, / Владимира, Марину, Вячеслава / И Александра: небывалый сонм, / Четырнадцатизвездное созвездье!» Велимира и Федора в стихах нет.

Отец Массон о гвардейском офицере, который в 25 лет продал всех мужиков и оставил баб, чтобы заселять поместье собственными силами.

«Отцеубийство – это воздаяние добром за зло» (записи Хаусмена). Я вспомнил начало рассказа Бирса: «Однажды я убил моего отца, и по молодости лет это произвело на меня сильное впечатление. Я пошел посоветоваться к полицейскому начальнику. Он меня понял: он и сам был отцеубийцей с большим стажем...»

Отцеубийство Александр I не любил Кутузова не только из-за Аустерлица, но и потому, что накануне 11 марта Куту-

зов с женой тоже были на ужине у Павла I.

Отцеубийство В Китае, писал Марко Поло, за все уголовные преступления можно от смертной казни откупиться деньгами, кроме трех: отцеубийства, матереубийства и не по форме вложенного в конверт казенного письма (нет, кажется, за неправильно написанный адрес императора).

Отечество «Великая всемирная Отечественная война» было написано на обложке песенника 1914 года.

Отечество Один перчаточник, изобразив на вывеске огромную ручищу, просил разрешения подписать стих из «Димитрия Донского»: *Рука Всевышнего отечество спасла*. Известно, разрешили ли (Вяземский).

Отечество С. Ав. сказал: «Не нужно думать, что за пределами отечества ты автоматически становишься пророком».

«**Отче наш**» было напечатано в конце передовицы «Биржевых ведомостей» – никто не заметил (Ясинский).

Отказ Выписка из К. Ф. Мейера в дневнике А. Е. Дорофеева (РГАЛИ): легче отказаться от желаний совсем, чем наполовину. Зощенко повторял: не так важно исполнять желания, как иметь их.

Отпуск «Все мы покойники в отпуску» – слова баварского Евг. Левинэ. До него это написала, сидя в тюрьме, Роза Люксембург. Но еще раньше был комик Алексид в «Тарентинцах» (цит. у Афиняя), только многословнее.

Оценочность Стихи делятся не на хорошие и плохие, а

на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что если ахматовский «Реквием» – такие же слабые стихи, как «Слава миру»? См. VII, **Поэзия**.

«*Gesta Romanorum*» («Римские деяния» с «прикладами» и «выкладами») мы с М. Е. Грабарь-Пассек переводили для сборника «Памятники латинской литературы XIII века», который три раза проходил через издательство «Наука», но на всякий случай так и не вышел.

33. О тщеславии. Повествует Валерий о том, что некий муж по имени Ператин сказал со слезами сыну своему и соседям: «О горе, горе мне! есть у меня в саду злосчастное дерево, на коем повесилась моя первая жена, потом на нем же вторая, а ныне третья, и посему горе мое неизмеримо». Но один человек, именуемый Аррий, сказал ему так: «Дивно мне, что ты при стольких удачах проливаешь слезы! Дай мне, прошу тебя, три отростка от этого дерева, я хочу их поделить между соседями, чтобы у каждого было дерево, на котором могла бы удавиться его жена». Так и было сделано.

Нравоучение. Любезнейшие! Сие дерево есть крест святой, на коем был распят Христос. Сие дерево должно быть посажено в саду человека, дондеже душа его сохраняет память о страстях Христовых. На сем древе повешены три жены человека, сиречь гордость, возжеление плоти и возжеление очей. Ибо человек, идя в мир, берет себе трех жен: первая – дочь плоти, именуемая «наслаждение», другая – дочь мира, именуемая «алчность», третья – дочь диаволова,

именуемая «гордость». Но если грешник по милости Божией прибегает к покаянию, то сии три жены его, не домогшись взыскуемого, удавляют себя. Алчность удавляется на верши милосердия, гордость – на верши смирения, наслаждение – на верши воздержания и чистоты. Тот, кто просит себе отростки, есть добрый христианин, который и должен домогаться и просить доброго не только для себя, но и для ближних своих. Тот же, кто плачет, есть человек несчастный, возлюбивший плоть и все плотское паче, нежели то, что от Духа Святого. Однакоже и его человек добрый часто может наставлением повести по верному пути, и войдет он в жизнь вечную.

68. О том, что не должно умалчивать правду даже под угрозою смерти. В царствование Гордианово был в его державе некий благородный рыцарь, имевший красавицу жену, которая почасти изменяла в верности мужу своему. Однажды пустился супруг ее в долгое странствие, а она немедленно призвала к себе своего любовника. А была у нее служанка, разумевшая язык птиц. И когда тот любовник пришел, в то время были во дворе три петуха. В полночь, когда любовник возлежал с госпожою, пропел первый петух, и, услышав это, госпожа спросила служанку: «Скажи мне, дражайшая, что сказал петух своим криком?» Та ответила: «Сказал он, что ты дурно поступаешь пред господином своим». Госпожа сказала: «Пусть зарежут того петуха!» Так и сделали. В положенный срок пропел второй петух, и спросила госпо-

жа служанку: «Что сказал петух своей песнею?» Та ответила: «Сотоварищ мой умер за правду, и я готов смерть принять за правду его». Госпожа сказала: «Пусть зарежут петуха!» Так и сделали. А потом запел и третий петух, и спросила госпожа служанку: «Что сказал петух своим голосом?» Та ответила: «Слушай, смотри, но ни слова, чтоб жить подобру-поздорову!» И сказала госпожа: «Этого петуха не убивать!» Так и сделали.

Нравоучение. Любезнейшие! Сей царь есть Отец наш небесный; сей рыцарь – Христос; супруга его – душа, с кою он вступил в брак чрез крещение; соблазнитель же ее – диавол, завлекший ее обманами мирскими; почему всякий раз, как мы уступаем греху, мы изменяем Христу. Служанка же есть твоя совесть, ибо она негодует на грех и непрестанно побуждает человека к добру. Первый пропевший петух есть Христос, ибо Он первый поборол грех; видя сие, иудеи его убили, как и мы ежесечно убиваем его подобным образом, когда предаемся греху. Под вторым пропевшим петухом разумеются святые мученики и иные многие, проповедавшие Его путь и учение; и они тоже ради имени Христова были убиты. Под третьим же петухом, сказавшим «Слушай, смотри...» и прочее, можно разумеет проповедника, которому должно печься о возвещении истины, но в сии дни он не осмеливается ее гласить. Потщимся же паки страшиться Господа и возвещать истину, да приидем мы ко Христу, который есть истина.

106. О том, что следует бдительно противостоять козням диавольским. Жили некогда три товарища, и пустились они в странствие. Случилось так, что не оказалось у них никакого пропитания, кроме лишь хлебного ломтя, а были они весьма голодны; и сказали они друг другу: «Если разделим этот хлеб на три части, ни единый своей частью не насытится; давайте же здесь возле дороги ляжем спать, и кто из нас увидит самый удивительный сон, тот и возьмет весь хлеб». И легли. А тот, кто подал совет, встал и, пока они спали, съел весь хлеб и ни крошки товарищам не оставил. Пробудившись, сказал первый: «Дражайшие! видел я, будто с неба спустилась золотая лестница, и ангелы по ней нисходили и восходили, и душу мою на небо вознесли, и узрел я и Отца, и Сына, и Духа Святаго, и велико было в душе моей веселие». Второй же сказал: «А я видел, как демоны железными и огненными крючьями извлекли душу мою из тела и жестоко ее мучили, говоря: доколе Бог царит в небеси, доколе ты здесь будешь пребывать». Третий же сказал: «Мне же привиделось, будто некий ангел предстал и молвил: хочешь ли видеть, где суть твои спутники? И я ответил: даже очень хочу, ибо боюсь, не похитили бы они хлеб наш насыщенный. И привел он меня к вратам небесным, и по его велению просунул я голову сквозь те врата и увидел тебя восседающего на златом престоле, а пред тобой яства и вина в изобилии. А засим привел он меня к вратам преисподним, и там увидел я тебя казнимого и спросил, доколе тебе сие,

а ты мне ответил: во веки веков! поспеши же съесть наш хлеб, ибо ни меня, ни друга нашего ты более не увидишь. Тогда встал я и по слову твоему съел наш хлеб».

Нравоучение. Любезнейшие! под сими тремя спутниками надлежит понимать три рода человеков. Под первым – сарацинов и иудеев, под вторым – богатых и сильных мира сего, под третьим – людей совершенных и богобоязненных; хлеб же сей есть царство небесное, и по заслугам каждого сему дается больше, иному меньше. Первые, сиречь сарацины и иудеи, спят во грехах своих и верят, будто обладают небесами: сарацины по слову Магометову, иудеи же по закону Моисееву, но вера сия есть не более, нежели сновидение. Вторые, сиречь богатые и сильные мира сего, хоть и знают, без сомнения, от своих проповедников и исповедников, что, скончавшись во грехах без покаяния, низойдут они в геенну на муки вечные, однакоже, невзирая на сие, грехи грехами умножают, как и в Писании сказано: «Где сильные мира сего, кои с псами и соколами забавлялись? мертвы они и в преисподнюю низошли». Третий же сотоварищ, кто ни во грехах, ни в вере ложной не вкушает сна, но бдит, совершая дела добрые, совет ангела выполняя, сиречь дары Духа Святаго приемля, тот жизнь свою таким путем направляет, что хлеб, сиречь Царство небесное, обретает.

«П» Лингвистическая статистика: набравшие покойного М. П. Погодина знали, что для статей его нужно запастись в особенном обилии буквой «П» (Восп. Гилярова-Платонова).

Теперь это назвали бы гипограммой собственного имени.

Павлик Морозов Не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник. И что Христос тоже велел не иметь ни отца, ни матери. Часто вспоминают «не мир пришел я принести, но меч», но редко вспоминают зачем.

Паганель Брюсов говорил, что Бальмонт, «когда захотел переводить Ибсена, стал изучать вместо норвежского шведский язык» (восп. Ал. Вознесенского).

Память Письмо от М. Червенки: «Благодарю Вас за второй экземпляр Вашей книги и за все следующие, если Вы захотите их прислать: видимо, у нас с Вами общая не только любовь к стиху, но и забывчивость – о моей я мог бы рассказать много анекдотов, но уже их забыл».

«Панегирик – дурацкое слово, вроде пономаря» (Цветаева в письмах).

Паркет Разговор с С. Ав.: «Когда Мандельштам обзывал Ахматову паркетной столпницей за однообразие словаря, то ведь собственный его словарь в это время был едва ли не беднее...» – «Ну, это просто значило, что он перешел на другую паркетину».

Пародия А. Платонов в некрологе Архангельскому писал, что пародия – это путь к обновлению языка. Не ключ ли это к стилистике Платонова?

Пародия Всякий конспект может быть воспринят как пародия полноты: даже Пушкин – как конспект мировой культуры.

Пародия Полежаев – пародия на Овидия, как Николай I пародия на Августа.

Партийность «Пастернак по натуре был беспартийным, как Маяковский – партийным, а Мандельштам – надпартийным» (В. Марков).

*Мне позвонили из «Сов. энциклопедии» и предложили сделать однотомный словарь по поэтике, в одиночку или с кем хочу. Я задумался: про пиррихий, антиметаболу и даже ретардацию я напишу, а вот про партийность или народность? Но, задумавшись, придумал определение: партийность – верность идеологии, которую не сам выработал. Коммунистическая П. советской литературы, а еще лучше – христианская П. средневековой литературы. (Потом я нашел у Брехта обратное: «Для искусства беспартийность означает принадлежность к господствующей партии».) Словарь не вышел: в поисках соавторов я написал Жолковскому, он ответил письмом на латинской машинке, что *v skorom vremeni uvezhaet*. Это единство содержания и формы произвело на меня впечатление, и я прекратил поиски, а «Энциклопедия» скоро передумала.*

Перевод нужен отдельный не только для чтения и для сцены, но и для каждой постановки. Козинцев ставил не «Гамлета», а пастернаковский перевод: подставить под его кадры перевод Лозинского невозможно.

Перевод «Кто дает буквальный перевод Писания, тот лжет, а кто неточный, тот кощунствует» (Иехуда бен Илаи.

Цитируется в предисловии к переводу Новалиса, а оттуда взято эпиграфом к переводу Моргенштерна).

Перевод К. не мог напечатать статью против переводов Маршака; тогда он стал рассуждать: «Маршак – еврей, кто у нас против евреев?» – и напечатал ее в альманахе «Поэзия». Хотя сам был еврей с отчеством Абович.

Перевод Самая переводимая книга – Микки-Маус, затем Ленин, затем Агата Кристи; Библия отодвинулась на четвертое место (данные на 1988 год).

«Искусство тяжелая проблема вообще. А искусство перевода вообще тяжелая проблема», – пародическая речь в воспоминаниях Е. Благиной. См. **Свобода**.

Перевод Самый точный стихотворный перевод, который я сделал, – это автоэпитафия Пирона:

Ci-git Piron. Il ne fut rien:

Pas un académicien.

Здесь спит Пирон. Он был никем:

Ни даже а-ка-де-ми-кем.

Существует история, будто Пирон вдруг подал на вакансию в ненавистную ему Академию. Друзья удивлялись, он говорил: «А вот меня выберут, произнесут в честь меня речь, будут ждать ответной, а я вместо этого только скажу: „Спасибо, господа!“ – и послушаю, как они мне ответят: „Не за что“...» Л. И. Вольперт сказала: «А вы понимаете, в чем здесь пуант? Вообразить, что Пирона примут в Ака-

демию, — возможно; а вот вообразить, что, принятый, он обойдется без ответной речи, — это уже невозможно». С такой структурой есть английские анекдоты о чудаках.

«Переводы — Сибирь советской интеллигенции» (Кл. Браун в книге о Мандельштаме). Иначе: «Бежать в служенье чужому таланту из собственной пустоты» (дневн. А. И. Ромма, РГАЛИ).

Переводы Тайна русского народа была бы понятнее иностранцам, если бы они могли читать не только Достоевского, а и Щедрина. Но Достоевский переводим (как детектив и как философский трактат), а Щедрин неперево́дим, и не из-за реалий и аллюзий, а потому что стилистическое богатство его ехидства абсолютно непередаваемо. Передать исхищренную точность щедринских слов мог бы разве Набоков, но для Набокова Щедрин не существовал. (А ведь было у них общее свойство — способность уничтожить одним словом. Их сравнивал еще Бицилли.)

Е. Витковский сказал: «Передо мной положили два текста перевода Семенова-Тян-Шанского из Горация, такие, что я спросил: это разные?» Я объяснил: это я редактировал старые переводы для однотомника 1970 года, в некоторых текст совсем исчезал за правкой, и лишь, словно в окошечках, виднелись первоначальные слова. «Да, знаю; я однажды редактировал Эйхендорфа, так там и окошечек не осталось».

Когда дело дошло до верстки, я заметил, что в одном

стихотворении в окошечках уже не те слова; посмотрел в оглавление, там другая фамилия – это соредактор поставил вместо старого перевода молодой. Я рассказал об этом случае Т. Луковниковой из секции переводчиков, она сказала: «Это что! А вот у нас был переводчик – процитировал четверостишие в чужом переводе, изменив одно слово, а потом, при переиздании того перевода, потребовал подписать его двумя именами». – «Назвала?» – спросил Витковский. «Нет, я честно не интересовался». – «Это М., а правил он перевод Н.»

Перестройка «В машине есть мертвые точки, которые надо проскакивать, а не проскочишь – стоп». «Европы сразу не заведешь». «Люди лыковой культуры». «А я себя чувствую, как на корабле с течью» (Б. Житков, письма 1921 г., РГАЛИ, 2185, 1, 4). О себе: «Всех хочу сделать счастливыми, а характер аракчеевский». С Лениным он виделся, стажирясь в Копенгагене, тот расспрашивал о положении в России.

Песня Н. Я. Мандельштам пишет запевами и припевами: в конце каждого абзаца об О. М. или о чем угодно у нее следует суждение о нашей подсоветской жизни, как сентенция в конце античного монолога.

Петля «Он изобрел пуговицу, а петлю-то изобрел я». – «И вы поссорились?» – «Конечно» (А. Жид. Новая пища).

Ну уж, ладно! Коль от петли
Недалеко до петли —

Так сначала не запеть ли:

Ай, люли?

Г. Оболдуев

Пилос Есть знаменитое стихотворение: «...Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал», автор – К. Петерсон. Е. О. Путилова установила, что это был тайный советник, пасынок Тютчева, а потом уточнила, что это был другой К. Петерсон, не тайный, а титулярный советник. Так Воейков о некотором тщеславном литераторе поместил объявление: «У действ. ст. сов. такого-то пропала собака» и т. д., а в следующем номере исправление опечатки: «Следует читать: у губ. секр. такого-то»; Пушкин считал это лучшей сатирой Воейкова (Вяз., 8, 505). Я вспомнил греческую пословицу: «Есть кроме Пилоса Пилос, но есть еще Пилос и третий».

Пляж Цветаева считала, что «пляж» вместо «плаж» – вульгаризм (письма Шаховскому). Это понятно, «плаж» – архаичнее: при Мятлеве рифмовали «par là – орла», в XX веке «voilà – земля». У Брюсова есть стихотворение «На плаже»; напрасно издатели, очень бережные даже к брюсовской пунктуации, все-таки переделали его в «На пляже».

Плюрализм – против чего? Против сингуляризма? Русский плюрализм с дитей без глазу.

Подлинность С. Аверинцев в интервью («Огонек», 1986, № 32) призывал уважать старину и ценить подлинность. Мне, не имея отца и деда, трудно понять первое и,

будучи переводчиком (как и С. Ав.), трудно понять второе. Подлинность подлинна только тогда, когда не замечается. О. Седакова сказала: а Умберто Эко в докладе, наоборот, очень пространно и патетично рассуждал, что никакой подлинности на свете нет и быть не может. Но когда пошли обедать, он так вдумчиво вникал в меню, что я подумала: нет, кое-что подлинное для него есть.

Подтекст «Каждое честное клише мечтает кончить жизнь в знаменитых стихах» – цитируется у К. Келли.

Подтекст «Раскрывать подтексты собственной эрудиции».

Поколение Три поколения русских мужиков: косноязычные с междометиями, говоруны-краснобаи и уклончиво молчащие (Тургенев у Гонкуров, 1 февр. 1880 г.).

Политика «Политика, *жс., греч.*, – наука гос. управления; виды, намеренья и цели государя, немногим известные, и образ его действий при сем, нередко скрывающий первые. *Политика – тухлое яйцо* (Суворов). Вообще уклончивый и самотный образ действий. Политик, *м.*, – умный и тонкий (не всегда честный) гос. деятель, вообще скрытный и хитрый человек, умеющий наклонять дела в свою пользу, кстати молвить и вовремя смолчать» (Словарь Даля).

Политики В начале перестройки главной радостью была мысль: «Как много у нас, оказывается, есть политиков!» А теперь, глядя на общую борьбу, мучишься мыслью: как мало у нас политиков для такого большого народа.

«Политиколепная Апофеозис» назывался панегирический сборник в честь Петра I в 1709 году. Ср. «Царь Максимилиан, зверолепный и богометный».

Понимание «Все простить значит ничего не понять» (Степун. Из писем прапорщика).

Понимание «Ты пойми нас, а не то мы тебя поймем!» – говорят у А. Платонова: общество разговаривает с человеком так, как до него разговаривала природа.

Понимание Анкета в «Аргументах и фактах»: кто, по-вашему, лучше всех поймет вас в несчастье? Сдвиги после 2000 года: реже упоминаются *мать-отец, муж-жена, сын-дочь*, наравне – *брат-сестра, человек в похожем положении*, чаще – *случайный встречный, собака, кошка*.

Понимание *Понимание* – это то, что можешь пересказать, *восприятие* – то, чего и не можешь; принимать одно за другое опасно. Из хасидских притч: «Вы мою проповедь не поймете, но все равно слушайте, потому что, когда придет Мессия, вы его тоже не поймете, поэтому привыкайте».

Рассказывал Ю. Шичалин. На вступительном экзамене девочка изумительно прочла «Пророка». «А кто такой серафим?» – «Херувим». (Я бы удовлетворился.) «А что такое зеница? десница?» Не знает. Ш. обращается к ожидающим очереди: «Есть ли кто-нибудь, кто знает, что такое десница?» Мрачное молчание и из угла унылый голос: «Я знаю, только объяснить не могу».

Понимание «Деструктивизм учит нас не понимать при-

вычных классиков». — «Не надо, мы и так их не понимаем!» — «Вы неинтересно не понимаете, а мы учим интересно не понимать».

Попыхи «Признаться, самому до смерти / Мне надоели попыхи: / Куда тебя ни сунут черти, / Весь мир исполнен чепухи» (Фет).

Порнография Лев Толстой порицал за порнографию «Последнюю любовь» Тютчева (Н. Гусев). А у Брюсова «Ennuï de vivre» понравилось ему больше «Каменщика».

Порядок Воспоминания дочери о Шолом-Алейхеме: «Когда все у него на столе расставлено в порядке, он не пишет: сидит и любитесь на порядок».

Пошлость «Что такое *poshlost*? — подражания подражаниям, фрейдистские символы, траченные мифологии, „момент истины“, „харисма“, абстракционизм роршаховских пятен, рекламные плакаты и „Смерть в Венеции“. Когда мне станут подражать, я тоже стану пошлостью, но еще не знаю, в каком контексте» (Набоков. Strong opinions).

Поэзия — «исповедь водного животного, которое живет на суше, а хотело бы в воздухе» (К. Сандберг, цит. в словаре Роже).

Правда «Говорить всегда правду — это тоже эстетская прихоть», — говорил Олейников (в тех самых разговорах, в которых Заболоцкий сказал, что хочет взять фамилию Попов-Попов, вероятно вспомнив генерала Май-Маевского). А Аксенов говорил: «На всякий вопрос можно ответить так,

чтобы это было правдой» (Благородный металл).

Права «В связи с посмертной реабилитацией восстановить тов. Введенского А. И. в правах члена СП СССР с 27 сентября 1941». Подлинный документ от 19.6.1964. А то еще было постановление: в уважение к заслугам посмертно принять М. Кульчицкого, П. Когана и др. в члены Союза писателей. Какое самоуважение нужно для такого почета!

Предки «Истинный мистик, как истинный джентльмен, никогда не теряется: ряд перевоплощений так же бодрит, как ряд предков» (Биография Йейтса; транскрибировать ирландскую фамилию биографа не могу).

Предки «Кто твой отец?» – спросили мула. «Я от кобылы-одиночки», – ответил мул. Нынешнему возрождению русского дворянства следовало бы взять девизом «Наши предки Рим спасли». Генеалогическое дерево, генеалогический пень.

Предки «Старец Шварец» Саша Черного был правнуком знаменитого масонского святого.

Предки У Белинского прадед неизвестен, дед – сельский священник, отец – военный лекарь с репутацией вольнодумца, мать – мелкая дворянка. Как у всех русских пишущих людей, замечает Михайловский: «немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства» (А. Волынский).

Пришельцы З. Гиппиус, как и А. Белый, была пришельцей, только с неуютной планеты.

Прогресс В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я и уверовал в прогресс.

Прогресс Для вас прогресс банальность? Но только благодаря прогрессу мы с вами и разговариваем: тысячу лет назад мы бы оба умерли во младенчестве. Цитируя трогательные слова Достоевского о слезинке ребенка, забывают, что столетием раньше они не имели бы никакого смысла: детская смертность была такова, что жалость к ребенку была противоестественна. В середине XVIII века в Англии, а затем во всей Европе начался демографический взрыв (одни говорят – от успехов медицины, другие – от улучшившегося питания), и чувства переменялись. Ср. **Романтизм**.

Прогресс Читатели нового времени удивлялись: почему Эдип, получив пророчество, что убьет отца, не стал избегать любого убийства или хотя бы столкновения с любым стариком, а вместо этого сразу подрался с незнакомым Лаием? Ответ: просто в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убивши, хотя бы ополченцем в будничной межевой войне. Вот что такое прогресс.

«**Прогресс** не выдумка, потому что для позднего человека открыта возможность общения с гораздо более широким кругом „вечных спутников“» (Бицилли).

Проза «Мужчинам Цветаеву нужно начинать с прозы», – сказала при мне веская писательница. Я долго думал почему, но ничего не придумал.

Проза «Что такое проза?» – спросили известную детскую

писательницу на встрече с юными читателями. Она ответила: «Вот однажды я потеряла страницу рукописи, пришлось восстанавливать несколько дней, потом нашла прежнюю, и оказалось – слово в слово».

Профессионализм «Профессиональная красавица» – хочется сказать о С. Андрониковой или Глебовой-Судейкиной. А об Андрее Вознесенском – «профессионально молодой».

Профиль «Вы говорите в профиль», – сказал Волконский Цветаевой.

В университете под большим портретом Ломоносова в фойе неизвестный человек меня спросил: «А почему он всегда изображается в таком повороте? нет ли профилей?» Я объяснил. «А то я пишу фигурные стихи, на машинке, цветными лентами (так трудно достать!) – и в профиль получается узнаваемо, а в фас – вот я только что делал Горбачева – очень трудно!»

Психоанализ Его формула: «стоит ли мучиться, что ты хуже других, только оттого, что это правда?» На вопрос, что тебе дала философия, стоик отвечал: «С ней я делаю добровольно то, что без нее делал бы подневольно».

Публицистика «Чехов относился к России как врач, а на больного не кричат» (Ремизов. Петерб. буерак).

Расстрел Курочкин сказал о Плещееве, что с 1848 года он так и ходит недорасстрелянный (Скабичевский).

Революция В «Литературной учебе» была статья о том,

что Николай II был прав даже в 1914 году, потому что для искупления Россия нуждалась в войне. «Может быть, и в революции?» – «Пожалуй, но чтобы во главе ее были истинно православные» – «А-а, это как в Иране».

Революция Каменную старуху Веру Фигнер робко спросили: «А если бы вам удалось победить – что тогда?» Она ответила: «Созвали бы земский собор, учредительное собрание, оно приняло бы конституцию – убогую, скаредную, мешанскую; и мы бы поклонились и отошли прочь, потому что это и была бы народная воля». Щедрин, отвечая благодарностью на известную аллегорическую картинку, поднесенную студентами к юбилею, писал: «Только вот на горизонте у вас просвет виднеется; я понимаю, что это по жанру так положено, но мы-то с вами знаем, что на самом деле никакого просвета нет». Если не помнить об этом чувстве обреченности, нельзя понять русскую революцию.

Редактор «По редакторскому опыту я могу по переводу сказать, добрый переводчик или злой», – говорила Ольга Логинова.

Религия Пятница так объяснял Робинзону, какая религия у его племени: надо взобраться на самую высокую гору и крикнуть: «О-о-о!»

Ремарка «Нынешняя революционная поэзия – это ремарка поведения статистов революции, а высоких зрелищ зритель молчит и думает про себя» (А. Ромм. Поэзия ремарки – РГАЛИ, 1525, 1, 128, в «Гиперборее», рядом со ст. Б.

Грифцова «О необязательности литературы»).

Ритм Два главных гимнических ритма, Aeternae rerum conditor и Pange, lingua, gloriosi, в точности соответствуют двум русским: «Идет коза рогатая» и «Прилетели две тетери, поклевали, улетели».

Риторика Напрасно думают, что это – умение говорить то, чего на самом деле не думаешь. Это – умение сказать именно то, что ты думаешь, но так, чтобы не удивлялись и не возмущались. Умение сказать свое чужими словами – именно то, чем всю жизнь занимался ненавистник риторики Бахтин. Музы в прологе к «Феогонии» говорят:

Мы знаем, как сказать много неправд
Похожими на правду,
Но и знаем, как выговорить правду,
Когда хотим.

Издавали «Историю всемирной литературы», я писал введение к античному разделу. Н. из редколлегии в яркой речи потребовал приписать, что Греция создала тип прометеевского человека, который стал светочем для прогрессивного человечества всех времен. Я выслушал, промолчал и написал противоположное – что Греция создала понятие закона, мирового и человеческого, который выше всего и т. д., – но пользуясь лексикой, свойственной Н-у. И Н. и все в редколлегии остались совершенно довольны. Кто хочет, может прочитать в I томе «Истории всемирной литературы».

Родительного падежа Открытка 1964 года, с картинкой: «Наилучших пожеланий в Новом году!» (в архиве Квятковского).

Романтизм был последствием демографического взрыва, который начался в середине XVIII века в Англии, а потом волнами разошелся по Европе. До этих пор человечество много тысяч лет боролось с природой за выживание, и большие эпидемии или неурожай могли уничтожить его даже не вполовину, а целиком. Чтобы выстоять, оно спланивалось в общество. Ситуации борьбы были однообразные, важно было копить опыт и хранить традиции. В XVIII веке стало ясно, что победа одержана, человечество спаслось от вымирания. Борьба с природой из оборонительной превратилась в наступательную, ситуации ее сразу сделались гораздо менее предсказуемыми, коллективного опыта для них было уже недостаточно.

Говорят, в звериных стаях есть особи-маргиналы с нестандартным поведением: их держат в унижении и пренебрежении, однако не убивают. А когда стая оказывается в нестандартной опасной ситуации, их выпускают вперед: если погибнут – не жалко, а если не погибнут, то, может быть, отыщут выход. Вероятно, в человеческой стае тоже есть такие маргиналы с таким отношением к ним; теперь спрос на них вырос, они и стали романтическими героями. От них требовалась только нестандартность поведения – любая: можно было быть святым или злодеем, в новом мире мог при-

годиться и тот и другой. Двоемирие и проч. было обоснованием постфактум; житейское поведение, «романтизм и нравы», бравада необычностью ради необычности и т. д. были следствиями. Романтизм начала XIX века и модернизм начала XX века были двумя волнами («почему я должен рассуждать как отцы?» – «почему я должен рассуждать как профессора химии?»). Все очень стройно, лишь одно заставляет сомневаться: в середине XVIII века был не один, а два демографических взрыва, второй – в Китае, и ни индивидуализма, ни романтизма там не произошло. Почему бы это?

Рубик В принстонской библиотеке старая часть расставлена по одной классификации, новая – по другой, и кусочки этих частей растасованы по шести этажам в непредсказуемом расположении: больше всего похоже на кубик Рубика.

Рынды В Китае XVII–XVIII веков для безопасности государя его телохранители при троне были вооружены деревянным оружием.

ПИСЬМО ИЗ РИМА:

...В Риме самое пугающее – автомобили, вдвое быстрее наших, и полчища мотороллеров, быстрее автомобилей. Перейти улицу – подвиг. У тротуаров парковка в два ряда – не знаю, как они выезжают. Всюду ремонтные леса и пыль – отстраиваются к 2000-летнему юбилею Господа Христа. В Колизее среди обглоданных временем арок светлыми пят-

нами глядят гладенькие новоотстроенные стены и своды – вдруг его тоже решили восстановить? Перед Колизеем – статисты в псевдолегионерских одеждах (золотой шлем, красный плащ), можно сняться рядом; говорят, это с тех пор, как зачастили японские туристы. В прошлый раз я смотрел на форум сверху и ничего не мог разобрать в его кирпичной каше – теперь прошел понизу, как будто между зернами этой каши, но все равно ничего не мог разобрать. Дома с садиками называются виллами, в такой вилле Монтефьори была наша конференция; раньше там жила любовница первого всеитальянского короля, а потом был женский монастырь, и чугунные перила до сих пор украшены крестами...

Сам «НН слишком рано пошел своим путем, пренебрегая сделанным другими» (слова А. Н. Колмогорова).

Само «Раздел 7. Нечто о средствах к устранению самоповешения у народов финского племени» («Вестн. Импер. Рос. геогр. об-ва», 1853).

Сахара Гумилев говорил Г. Иванову: я ее не заметил, я сидел на верблюде и читал Ронсара. Так Кусиков, когда его устыдили, что нехорошо жить в Париже и не видать Версаля, поехал в Версаль, просидел полный день в трактире и вернулся в Париж.

Сверху Александр I в 1814 году в Лондоне просил у вига Грея доклад о средствах создания в России оппозиции.

«Свобода нужна не для блага народа, а для развлечения

ния», – говорил Б. Шоу.

Свобода Гиппиус – Берберовой, 27 авг. 1926 г.: свобода ни с чем не считаться – «это, скорее, рабство и покорность желанию собственной левой ноги»; Ходасевичу, 22 сент. 1926 г.: «Пишущий должен знать, что ему предоставлена свобода самому ограничивать свою свободу, а достоин ли он такой свободы – это редактор, конечно, решает...».

Свобода В чукотском языке нет слова *свободный*, есть *сорвавшийся с цепи*; так писали в местной газете про Кубу. Поэт М. Тейф говорил переводчикам: «Даю вам полную свободу, только чтобы перевод был лучше оригинала» (восп. Л. Друскина).

Свобода собраний Петровский указ – «фендриков разгонять фухтелями, понеже что фендрик фендрику может сказать умного?» (Письма Шенгели к Шкапской, РГАЛИ).

Здесь каждый охотно встретить готов
Свободу мышей при свободе котов.

И. Сельвинский

Связность текста (*лингв.*). У А. М. Топорова, «Крестьяне о писателях», 1930 год, о поэме Пастернака говорится: «Связанных слов нисколько нетути. Добрый человек скажет одно слово, потом завяжет его, еще скажет, опять завяжет. Передние, средние и задние – все завяжет в одно. А в этом стиху слова, как скрозь решето, сыпятся и разделяются друг от дружки». (Книга очень похожая на «Народ на войне» Фе-

дорченко.)

Святой На вечере памяти М. Е. Грабарь-Пассек С. Аверинцев начал так: «Лесков говорил, что в России легче найти святого, чем честного человека, – так же можно сказать, что легче найти гения, чем человека со здравым смыслом и твердым вкусом...» и т. д.

Селянка Мережковский приставал к Чехову с вечными вопросами, а тот говорил: «Не забудьте, что у Тестова к селянке большая водка нужна». Ср. в «Даме с собачкой»: «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!» – «А давеча вы были правы, осетрина-то с душком».

Алданов: «Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, чтобы понять, как он был прав, когда молчал». Это А. Лютер сказал, что у Достоевского люди не едят, чтобы говорить о Боге, а у Чехова обедают, чтобы не говорить о Боге.

Середина «Итак, немного о себе. Я родился около середины века, в 1932 году...» (В. Цыбин. О своем. Избр. произв., 1989, т. 1, с. 5).

Середина странствия земного «В 35 плюс-минус два года люди или умирают, или меняют жизнь: бросают работу, жен и т. д.», – объясняли мне. Даже Высоцкий сочинил про это песню. У Петра I в этом возрасте была Полтава, у Цветаевой – ее звездный 1926 год, когда она лихорадочно дирижировала двумя великими поэтами. Блок весной 1918-го

часто повторял, что ему 37 лет (восп. Книпович). А Жуковский, верный себе, в 37 лет написал: «Победителю-ученику от побежденного учителя».

Синоним В. Марков комментирует стих Бальмонта из «Зарева зорь»: *Твой поцелуй – воистину лобзание* – «строка, которую должны бы цитировать специалисты (но не цитируют)».

Ситуация В. Холшевников сидел, ждал электричку, подошел пьяный: «Вы интеллигентный человек, и я интеллигентный человек, вы меня поймете: я артист, мой отец у Соколова перед Распутиным пел, а теперь от нас образованности требуют. Ну скажите, зачем интеллигентному человеку образованность? артисту не образованность, а талант нужен!» и т. д., а в конце сказал загадочную фразу: «Ситуация превосмогает сибординацию!!»

Скверное «Как о человеке обо мне может рассказать Экстер, как о собеседнике – Бердяев, а все самое скверное – это тоже бывает нужно – Эльснер», – писал Аксенов Боброву.

Об Эльснере рассказывал А. Е. Парнис. Эльснер был с Аксеновым шафером на киевской свадьбе Гумилева и Ахматовой и уверял, что это он научил Ахматову писать стихи. (Аксенов потом собирался писать параллельный анализ сочинений Ахматовой и Вербицкой под заглавием «Писарство и чистописание».) Почему не эмигрировал? – «Хотел посмотреть, чем кончится». В Тифлисе имел хобби: женить-

ся и отсылать жен за границу (как?). Зарабатывал сочинением диссертаций для грузин. Последняя вдова настаивала, чтобы его похоронили на Мтацминде – но пока грузины об этом советовались, перевезла прах в Москву и похоронила... (в кремлевской стене? подымай выше!) в Переделкине рядом с Пастернаком.

Скелет Емельянов-Коханский, автор «Обнаженных нервов», хотел выпустить и вторую книгу, «Песни мертвеца», с новым своим портретом в виде скелета, но встретились цензурные трудности (Белоусов).

Слава Бальмонт об автобиографии Брюсова: «дело-производитель собственной славы» (из письма Е. Архиппова Альвингу, РГАЛИ, 21, 1, 11). Твардовский о Маршаке: «крохобор собственной славы» («Знамя», 1989, № 8). А потом – юбилейная речь.

Слава Флобер восхвалял «Войну и мир» (это цитируется), но признавался, что не дочитал до конца ее философию. Мировая слава пришла к Толстому, когда он начал тачать сапоги (Алданов).

Славянство «День святителей Кирилла и Мефодия был отпразднован обедом, данным в залах Дворянского собрания. Против царской ложи была водружена хоругвь, принесенная в дар слепцом-писателем Ширяевым. Меню было составлено из одних исключительно славянских названий. Посреди него была изображена географическая карта славянских земель с надписью: «Одним бы солнцем греться

нам» (Неведенский).

Слово «Теперь я буду говорить не для того, чтобы нечто сказать, но дабы не умолчать», – сказал протоирей Сергиевский, приступая к догмату Святой Троицы.

Сложность А. И. Ромм о Пастернаке: «...и у него сложные отношения с женой, которая любит музыку Прокофьева и такие слова, как „яркое переживание“» (РГАЛИ, 1495, 1, 80).

Слон В Париже в 1945 году выходила русская газета «Честный слон». «Отчего такое веселое название?» – спросил я. «Ну все-таки война кончилась...» – ответил Л. Флейшман.

Служба М. Ф. Андреева спросила Муромцеву-Бунину: «Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?» Муромцева, однако, обиделась. Е. Архиппов писал Альвингу: «Чем живете, чему поклоняетесь? Какое имя владеет Вами?» (РГАЛИ).

Служба Юродивый Никитушка за вызов к Александру I получил чин 14-го класса (Мельгунов).

Смерть «Просить Господа Бога, чтобы снял меня с иждивения» (Цветаева – Пастернаку). «Умер как большая, отслужившая вещь» (она же).

Совесть «Впрочем, попы стыдились таких проповедей, но не совестились» (Гиляров-Платонов). Я вспомнил знаменитую статью В. Н. Ярхо «Была ли у древних греков совесть?».

Сократ «Познай самого себя»: гусеница, которая познает себя, никогда не станет бабочкой (А. Жид).

Сократин Сын моей сотрудницы мечтал изобрести лекарство «сократин», чтобы можно было не болеть, но сократить жизнь с конца за счет невыполненных болезней.

Спарта «Способность относиться к себе со спартанской суровостью умиляла его до слез» (Ходасевич об Александре I).

Спонтанный «Вы не позволяете себе спонтанных движений». Мои спонтанные движения всегда кого-нибудь ушибают. Самое безобидное мое спонтанное движение – считать рифмы Мариенгофа.

Сталин «В Европе XV века власть почти повсюду принадлежала Сталиным» (Алданов).

Старое и новое Ларошфуко: «Многие борются против нового не оттого, что привержены к старому, а оттого, что первые ряды поборников нового уже заняты, а быть во вторых они не хотят». – «Это о нашем НН.», – сказала И. Ю. Подгаецкая.

Стиль «Ввиду моего стиля, который мне противен, но от меня не зависит...» (письма И. Аксенова к С. Боброву). «Стиль мове гу» из «Бани» Маяковского – шутка, записанная еще Д. Философовым: «стиль мове гу, как выразился один столяр».

Стиль «По сторонам от дороги, вправо и влево, волочились горемычные облака; исподволь угнетали душу убогие

ужасы предместья; ныли телеграфные столбы, и качался, ту-
жился против ветра, виляясь в педалях, упрямец велосипе-
дист... Но тут, буравя мозги, заверещал мстительный – за
вчерашнее с кряком ковыряние в его спине – будильник, к
нему тупо подтопали, цапнули за глотку, он брызнул по паль-
цам душителя предсмертным клекотом и затих. В одеяльное
шерстяным рупором ущельице гляделось скудное утро. Я ду-
мал тихо: умереть бы». Кто это? Набоков? Нет. – Мало кому
известный Иванников.

Стиль И. Тронский говорил В. Ярхо: нельзя ради сти-
ля переводить коров Гелиоса быками Гелиоса – какой дурак
станет держать быков стадами?

«Странно, право, что эти люди ничего не понимают, но
гораздо страннее, что это для меня странно» (Фет Л. Толсто-
му, 21.01.1879).

Страховование «Нигде высшую церковную иерархию не
встречали в качестве преемников языческих волхвов с б́ль-
шим страхованием, как в России, и нигде она не разыгры-
вала себя в таких торжественных скоморохов, как там же.
В оперном облачении с трикирием и дикирием в храме, в
карете четверней с благословляющим кукишем на улице...
со смиренно-наглым и внутрь смеющимся подобострастием
перед светской властью, она, эта клобучная иерархия, всегда
была тунеядной молью всякой тряпичной совести русского
православного слюнтяя» (Ключевский, Письма, 1968 г.).

Сон сына , самый главный. Книга в серии сказок изда-

тельства восточной литературы: «Эскимосский Христос – Фрол Иванович Дрохва-Тетерников: местные сказки и предания. К 150-летию со дня рождения». Вначале – запись автобиографии. Ему смолоду было предсказано погубить девять душ. Впрямь был буен, секом, еще при крепостном праве убил деревенского соседа, сдан в солдаты, убил шестерых горцев, за храбрость взят в денщики сибирским губернатором, зарезал его восьмым и бежал к эскимосам вместе с другим денщиком, Петрушкою, взяв лишь Библию и букварь, а был неграмотен. Перекамлал насмерть главного шамана, женился на Белой куропатке, его вдове, воспевался под именем тетерева на разных диалектах («взлетел на ветку и стал гласить Нагорную проповедь...»), переложил Библию на эскимосский язык: «Царь Соломон ушел от дел, эхой! и тогда пришли тулы, эхой! и опережали зайцев, эхой! и прыгали через костры, эхой!» Когда приехала ревизия, назвался миссионером, стал читать попу свою Библию; на П кн. Царств поп сказал: «А ведь это ересь!» – но эскимосы Тетерникова отстояли. Друг его Петрушка, записывавший его учение, вдруг объявил, что Фрол – это Бог Отец, а Христос – он сам; Фрол распял его на льдине, это был девятый. Женившись на оленухе и на нерпе, объединил тундровых и приморских эскимосов; укрывал беглых политкаторжан, и они через год были неотличимы от местных. Когда на его девятом десятке случилась революция и пришли комиссары, то политкаторжане вышли навстречу с бубнами и дудка-

*ми. Фрола как героя отвезли в Ленинград консультантом при Институте народов Севера, но Библию, как дурман, изъ-
яли и сожгли, все цитаты из нее – по американскому изда-
нию. Умер в 1930 году, дети его попытались явиться в Ле-
нинград, но скоро были отправлены под конвоем обратно.*

Структурализм Интервью с дизайнером А. Логвином:
«Только ясность оправдывает провокацию, ясность на уров-
не структуры, а не на уровне вкуса. Как с женщиной: приво-
дишь, она вроде вся офигительная. Ложишься в постель и
понимаешь, что на самом деле она вся совершенно деструк-
турная. Чего-то много или мало. Что-то тебя обламывает, и
понимаешь, что надо уходить из койки». – «Можно это оста-
вить в тексте?» – «Конечно. У меня как раз очень структур-
ная жена» («Итоги», 1996, № 26).

Стул «Нашествие французов и за ним последовавшее на-
шествие крестьян на ту же Москву с целью грабежа» впервые
вынесло в провинцию стулья вместо лавок (Гиляров-Плато-
нов).

Судьба «На Олимпе было решено, что греки и троянцы
взаимоистребятся, но не было решено, кто кого; поэтому бо-
ги разделились в поддержках» и т. д. А Троя потом продол-
жала существовать незримо, как град Китеж.

Суздаль «Ударя с тыла в табор их / с дружиной суздаль-
цев своих» – но суздальцы, как и нижегородцы, на Кулико-
вом поле не были, а держали тылы. Москва пересилила Тверь
денежной помощью Новгорода, который дружил через сосе-

да.

Сурков Стенич говорил о Гумилеве: если бы был жив, перестроился бы и сейчас был бы видным деятелем ЛОКАФа (восп. Н. Чуковского).

Суффикс «А. Н. Толстой очень любит слово *задница* и сетует о его запретности: прекрасные исконно русские слова – *горница, горлица, задница*...» (записи Л. Я. Гинзбург). По-японски эта часть тела называется «ваша северная сторона».

Счастье Филологический анекдот из сб. Азимова. Отплывает пароход, в последнюю минуту по трапу вносят старшего помощника, мертвецки пьяного. Проспавшись, он читает в судовом журнале: «К сожалению, старший помощник был пьян весь день». Бежит к капитану, просит не портить ему карьеру. «Поправки в журнале не допускаются, но сделаю что могу». На завтра читает: «К счастью, старший помощник был трезв весь день».

Счастье «Подумайте, нет ли у вас садомазохизма», – сказал психотерапевт. «Конечно, Поликратов комплекс: за счастье нужно платить». – «А вы уверены, что вы счастливы?»

Свеж металлический ветер осенью.

Росинки нефритовы и жемчужно круглы.

Светлый месяц чист и ясен.

Красная акация душиста и ароматна.

Надеемся, что вы процветаете в постоянном благополучии...

Вы думаете, это стихи? Нет, это китайское деловое

письмо.

Там «А у вас там, под Москвой, говорят, война идет?» – спрашивали архангельские мужики Н. Я. Брюсову в 1904 году.

Тезаурус В 4-язычном разговорнике Сольмана самые общие категории – размер, форма, вес, вид – оказываются под рубриками раздела «Одежда».

Температура «Каковы ваши жгучие несчастья?» – спрашивало доброе письмо из-за границы. А у меня нет жгучих, у меня холодные.

Тень «У Алданова слова не отбрасывают тени», – вежливо выражался Набоков.

Тень Д. Н. Бразуль, зав. худотделом «Рабочей газеты», пил только пиво, но так, что пытался открывать дверь редакции, хватаясь за тень от ручки. Кожебаткин (уже в изд-ве МТП), грузный и беззубо улыбающийся орел-стервятник в пенсне, носил женские чулки, потому что в них теплее, а в портфеле имел любые книги, серебряный набалдашник без трости, подвязки и всегда бутылку вина. В. А. Попов, редактор «Вокруг света» и «Следопыта», вылечился от запоя новым способом, «электричеством через женщин», но как – не говорил (Восп. Д. Дарана, РГАЛИ, 2436, 1, 42).

Техника «Акмеизм обрек себя на поощрение бездарности, ибо всякая школа, желающая сделать поэзию трудной, делает ее легкодоступной» (Мирский).

Тот «Если есть тот свет, то там только наслаждаются при-

родой и искусством, а кто не натренирован к этому и больше любил выпить, покурить да в кино, тому скушно, вот и все наказание» (И. С. Ефимов). Похожим образом Эриугена истолковывал ад.

Totentanz Из Триция Апината, XVI век (найденно в цитате):

Если мертвый приходит к живым – он приходит с улыбкой,
Мертвый может быть добр – даже добрее живых.

«**Трагедия** есть лишь недоудавшаяся комедия» – эпиграф у К. Келли к главе о Тэффи.

Традиция «Искусство Г. Адамовича и Г. Иванова – аптекарское: смешивают в новых дозировках и комбинациях влияния старых поэтов» (восп. Н. Чуковского).

Традиция М. Пруст серьезно называл себя последователем Дж. Эллиот (упом. у Алданова).

«**Традиций** не рвать, идей не водить, святынь не топтать» – из С. Кржижановского (там, где дальше про Словарь умолчаний).

Тринадцать: дурная слава этого числа – недавняя, от контрреформации XVII века, по месту Иуды среди апостолов (В. Марков).

Тютчев «Для служилого дворянства Россия была государством, и пейзажи могли быть европейские; для отстраненного – помещьем, и природа в них – только собственного

имения. Как непохоже на пейзажное западничество Тютчева и Пушкина цветущее евразийство поэта петровской индустриализации Ломоносова и поэта тропически-агрессивного екатерининского крепостничества Державина» (Д. Мирский).

Тюфяк Мандельштамовское «Страшен чиновник: лицо как тюфяк» английский переводчик перевел «the face like a gun» и сделал примечание про «тюфяк» по-турецки и по-гречески.

Убийство «Нам с ней не котят крестить», выражение Ремизова («Петерб. буерак»). Из жалости топить котят в теплой воде – это не выдумка «Записей Ковякина», это было и в мемуарах (не у Шкловского ли?). Топившая хозяйка могла ответить на попреки: «А если б вас самих топили, вам все равно было бы, да?»

Угадайка Литературные премии, эта игра в угадайку с будущим. Или благодарность живым за то, что им уже некуда меняться.

Уже В Енисейске хозяйка спрашивала: «Убил, что ли, кого?» – «Нет». – «Украл?» – «Нет». – «Так за что же это тебя?» – «Я поляк». – «Такой молодой, а уже поляк!» Так Федор Сологуб говорил дочке Кривича: «Такая маленькая, а уже внучка Анненского!» Анненского он не любил.

Упругий нрав находил Ермолов у адмирала Чичагова. Ср. «с верною супругой / Под бременем судьбы упругой» (эвфемизм вместо *упрямый*). «Упругая литературная карьера

Набокова».

Упругость Показатель моральной упругости армии – при каком проценте потерь она ощущает свое поражение? У турок в Плевне – 20%, у итальянцев при Кустоцце – 4%.

Утешение

Изменил и признаюсь,
Виноват перед тобой.
Но утешься, я влюблюся,
Изменю еще и той.

Стихи Магницкого-душителя из «Аонид» (цит. у Вяземского).

Ушлый Опустя пору учиться, что по ушлому гнать (Даль).

Учение Мандраит сказал Фалесу: «Проси чего хочешь за то, что научил меня этому расчету». – «Прошу: когда будешь учить ему других, не приписывай его себе, а назови меня» (Апулей).

Сон. Дом престарелых актеров. Морицинистый старик представляет меня величавой паралитической старухе: «Он молодой, но все знает про наше время». От такой гиперболы я замираю, но старуха только спрашивает: «А он не еврей?»

Фамилия Полковник Чеботарев в «Игроках» в цензуре стал Чемодановым, а то фамилия не дворянская (С. Аксаков Гоголю, 6 февр. 1843 г.).

Фамилия Приснилось, что меня зовут: Михаил Леоно-

вич *Рава-Русская*.

Фанатик «Я за всю жизнь не встречал ни одного фанатика – таково уж было невезение» (Алданов в очерке об убийце Троцкого).

Феминизм в литературе мог бы быть полезнее всего, если бы взялся переписывать мировую литературу с женской точки зрения, в переводе на женский язык: «Подлинная Анна Каренина» и проч. В таком случае первым феминистом мог бы оказаться Овидий в «Героинях»: Троянская война с точки зрения Бризеиды. Что говорят феминистки об Овидии? приветствуют или разоблачают?

«„Анна Каренина“, может, уже была, – сказал А. Осповат. – Митчелл написала „Унесенных ветром“ после того, как в 1932 году вышел новый перевод „Карениной“, и ее включили в колледжную программу. Я просил студентов поискать, не обыгрывается ли у нее поезд, – кажется, нет. В Америке читать лекцию о „Карениной“ идешь как на убой: тут тебе не позволят рассуждать о поэтике, а потребуют однозначно оценить ее поступок».

Философия У НН талант исследовательский, а душевный склад творческий: не филолог помогает философу, а философ давит филолога.

Флот В «Русском вестнике», 1902, № 2, с. 185, в исторической статье была фраза: «Главным врагом русского военного флота всегда было море».

Формализм «Типот подарил трехлетней дочери книжку

о животных, она равнодушно перелистала львов и тигров, а о зебре спросила: это еще что за ерунда?» (записи Л. Гинзбург).

«**Функционирование** государства отвратительно, но не более, чем функционирование человеческого организма» (Е. Лундберг).

Школьный вечер в Принстоне, дети сочиняли истории и рассказывали родителям. «Жили и дружили девочка Дженни и мальчик Альфред. У Дженни на шее всегда был зеленый бантик; Альфред спрашивал: „Почему?“, а Дженни отвечала: „Не скажу“. Они выросли, поженились, состарились, и Альфред все спрашивал, а Дженни отвечала: „Не скажу“. А когда Дженни стало совсем плохо, она сказала Альфреду: „Вот теперь развяжи мне бантик, и ты кое-что поймешь“. Он развязал, и у Дженни отвалилась голова». Идиллическая страшилка.

Хелефеи и фелефеи Я раскрыл Библию, открылась Вторая книга Царств, 20:7: «И вышли за ним люди Иоавовы, и хелефеи и фелефеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри». Я обрадовался и написал открытку В. П. Григорьеву: вот какой хлебниковский (или хармсовский) язык я нашел в Писании. Он ответил: «Хармсовский, но не хлебниковский, потому что звука **ф** в „звездном языке“ не было».

Ходить «Розанов входил, семена и перебирая руками; Мережковский как гроб; Гиппиус – на костях и пружинках;

Вяч. Иванов танцует, а Горький урчит» (Ремизов. Петерб. буерак).

Хорей 5-стопный: «Выхожу один я на дорогу...» и т. п. Гумилев объяснял ученикам, что всегда, когда поэту нечего сказать, он пишет: «Я иду...» (восп. Н. Чуковского). Тогда считалось, что самоед, везя этнографа на нартах, поет: «Я еду...».

Хорошо «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» (Лук. 6:26). Ср. VII, **Все**.

Хорошо Старик в деревне учил: «Ты делай хорошо, а плохо само получится».

Хотеть «Все можно сделать, если захотеть, только захотеть нельзя, если не хочется» (Дневн. А. И. Ромма, РГАЛИ). Ср. **Отказ**.

Храбрость «За два года стали храбрее в смысле способности все перенести и трусливее в смысле нежелания что-либо переносить» (Ф. Степун. Из писем прапорщика).

Цветаев И. В. был хорошим ученым, автором свода италийских диалектных надписей, но отказался от большого научного будущего ради просветительского дела. Дочь прославляла его, но этого – главного! – поступка его жизни она не заметила. Потому что амплуа в ее воспоминаниях были расписаны твердой рукой и вся жертвенническая часть была отведена матери.

Чай «Константин и Николай в 1825 году подносили друг другу Россию, как чай, от которого из вежливости отказыва-

ются».

Чайник Когда начиналась I Мировая война и Германия уже объявила войну России, был момент: а вдруг Франция дрогнет и не вступится за Россию? Мольтке пришел в ужас, сказал, что план войны разработан на два фронта и менять его на ходу – смерти подобно. Тогда в ноте Франции написали, что если и не будет воевать, то пусть для гарантии впустит в Туль и Верден немецкие гарнизоны, и война пошла своим чередом (Лиддл-Харт). Это напоминает анекдот о математике: «Как вскипятить чайник? – Налить воды, зажечь газ и поставить чайник на огонь. – А как вскипятить уже налитый чайник? – Вылить воду, погасить газ, и тогда задача сводится к предыдущей». Психологи говорят, что мы всю жизнь сводим новые задачи к предыдущим именно таким образом. Когда Фоменко начинает с «предположим, что мы не знаем того, что знаем» о древней истории, то мы тоже присутствуем при энергичном вылинии воды из исторического чайника.

Человек И. М. Брюсова сказала Д. Е. Максимова, выслушав об Андрее Белом: «Я его знаю, он может быть и человеком». В. П. Григорьев говорил: «Я как лингвист ручаюсь: написать такую книгу, как „Мастерство Гоголя“, не имея словаря языка Гоголя, невозможно; а Белый написал. Могу только предположить, что, когда он писал, он помнил собрание сочинений Гоголя наизусть от переплета до переплета». Я ответил: «А я как стиховед ручаюсь: написать за два месяца

словарь рифм на -ар-, не имея обратного словаря русского языка, невозможно; а Белый написал».

Честь «Всем людям свойственно, потерпев крушение, вспоминать о требованиях долга и чести» (Плутарх. Антоний).

Честь «Из чести лишь одной я в доме сем служу», – говорит девка в «Опасном соседе». «Теперь бы сказали: на общественных началах», – догадалась А.

Чихнуть «Только славянофилы сидели в позе человека, который собрался чихнуть, да никак не чихнет» (Энгельгардт о 1868 годе).

*Имуций злато век робеет,
Боится ближних и всего;
Но тот, кто злата не имеет,
Еще несчастнее того.
Во злате ищем мы спокойства;
Имеv его, страдаем век;
Коль чудного на свете свойства,
Коль странных мыслей человек!*

Херасков.

«**Что делать?**» была последняя книга, которую читал Маяковский перед самоубийством.

Шаг вправо, шаг влево Орвеллом трудно восхищаться не потому, что его антиутопия для нас привычный быт (так Вересаев, побывавший на войне, не мог восхищаться «Крас-

ным смехом»: «Андреев забыл, что есть такая вещь – привычка»), а еще и потому, что его и наш быт мало чем отличается от всеевропейской казармы. Просто там дан приказ: «Шаг вправо, шаг влево – обязательны, за неисполнение – моральный расстрел», и все засуетились. Когда был отдан такой приказ? Наверное, при Руссо.

Школа О школах, «где учат технике страдания», мечтал Ал. Вознесенский (РГАЛИ, 2247, 1, 22). «И, грозный вождь на многолюдьи, ты так направил все мечи, что палачей не судят судьи, а судей судят палачи».

Штука Что Россия – шестая часть света (в смысле: шестой континент), сказал еще Краевский, а «Эта штука сильнее „Фауста“ Гете» – Гоголь, по поводу пушкинской сцены из Фауста.

Сон сына. *Фейерверк в 75 залпов к юбилею Ленинской библиотеки и вислосый пиротехник из Лихтенштейна, который говорил: «Ваша держава слишком велика, чтобы быть счастливой», а потом, напившись прохладительных напитков: «...слишком велика, чтобы быть великой».*

ЭА и АИ «Будь счастлива» по-марсиански будет *Evai divine* («Вест. иностр. лит-ры», 1900, № 4, с. 283, о швейцарской галлюцинатке). У Гумилева это из фантазий Руссо, будто первоначальные языки были пением гласных и лишь потом в них вторглись артикулирующие согласные.

Экзамены Лисы-оборотни в Китае тоже сдают экзамены; за 500 лет успешной практики они получают вечное блажен-

СТВО.

Экология Когда осуждают хорошего писателя за то, что он нехороший человек, — это все равно, что осуждать завод за то, что он дымит и лязгает.

Экономика Всякая дешевизна — перед дороготнею (Пословицы Симони, 87).

Элита (*животноводч.*). Стихи из радиопьесы А. Володина: «Между сытыми, мытыми / извиваюсь элитами, / свою линию гну: / не попасть ни в одну».

Эпиграфика С. Ав. рассказывал: в клозетах библиотеки Британского музея он впервые увидел надписи со ссылками на источники. Несмотря на обильные надписи, чтобы не делать надписей.

Этика Эйхенбаум был не менее этически озабочен, чем Бахтин, но Бахтин решал свои этические проблемы на поступках литературных героев («это живые люди...»), а Эйхенбаум — на поступках их авторов.

Этика борьбы. Муж поэтессы Марины Цветаевой, благороднейший человек, в эмиграции стал агентом советской разведки: получал деньги от НКВД, участвовал в политическом убийстве. Как он мог? Те, кто недоумевают, забывают, что он был офицер, он знал, что на войне обманывать и убивать своих неэтично, а врагов — этично: иначе не выживешь ни сам, ни твои «свои». А «своих» он выбирал по одному принципу — за слабых против сильных. В 1918-м он не разделял идей белой гвардии, но примкнул к ней, потому что

она была слабее, чем красные; в 1930-м он не разделял идей коммунистов, но примкнул к ним, потому что Россия была слабее, а капиталистическое окружение сильнее (об этом тоже забывают).

Эфир Из письма Н. В. Завадской: «Не упоминается ли у Локса Эсфирь Шуб? Он был в нее влюблен и говорил, что поведение у нее было трудное и приходилось иногда бить мокрым полотенцем. Наверное, была наркоманкой. Локс тоже склонялся и мне тоже предлагал эфир: говорил, что будут очень интересные цветные видения. Но я дольше двух минут не выдержала, банку выбросила за окно, а ему сказала, что лучше сама выдумаю все цветные видения, чем нюхать такую гадость. И он перестал, даже с некоторым облегчением. Что он Станевич не любит – понятно: была страшна собой и умна и остра для компенсации. А Анисимов был бедный и вызывал жалость».

Юбилей Был опрос к 200-летию, какие стихи Пушкина знают люди. На первом месте оказалось «Ты жива еще, моя старушка?», во втором «Выхожу один я на дорогу», на третьем «У лукоморья дуб зеленый». «Помните рассказ Толстого о саратовском мещанине, помешавшемся на том, что не мог понять, чем так знаменит и славен Пушкин?» (Адамович).

Что сказал бы об этом юбилее сам Пушкин? Сказал бы: «И ведь даже не извинятся».

Я «Мое физическое „я“ оказывается ненужным и неудоб-

ным приложением к моей работе. Между тем без него обойтись нельзя» (из письма О. Мандельштама Н. Тихонову, март 1937).

Я «Что б я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между истиной и мною: это нечто – сам я; истина сокрыта мне одним мною. Есть одно средство увидеть истину – удалить себя, почаще говорить себе, как Диоген Александру: отойди, не засти солнца» (Чаадаев).

Я Восп. Н. Русанова начинаются: «У Паскаля сказано: „Я – вещь ненавистная“...»

Язык «Как хорошо было бы перевести Бодлера на церковнославянский язык, как бы он зазвучал!» – говорил Ю. Сидоров Локсу.

Язык Знание французского языка развивает самонадеянность, а греческого – скромность, – доказывали Николаю I члены ученого комитета, вырабатывавшего гимназическую программу; но Уваров понимал нереальность, а Пушкин писал о ненужности, и греческий не ввели.

Язык Уваров послал Гете свою немецкую статью, тот написал: «Пользуйтесь незнанием грамматики: я сам 30 лет работаю над тем, как бы ее забыть» (опять из Алданова).

Языкознание После смерти Ланского Екатерина в свои 50 с лишним лет была в таком горе, что излечилась только попыткой составить сравнительный словарь всех языков по Кур де Жебелену, исписала гору бумаги без всякой научной пользы, однако исцелилась.

Ять В. Виноградов: «Убирайся ты к матери на *ять* голубей гонять» – загадочный источник фразеологизма.

II

*И ко всему, что будете вспоминать,
мысленно прибавляйте: «а надо было б выть».*
М.-Л. Б.

МОЯ МАТЬ

По-английски говорят: self-made man. Тургеневский Базаров переводил это: «самоломный человек». Моя мать была self-made man; сказать self-made woman было бы уже неточно.

Я не люблю называть себя интеллигентом, но иногда приходится говорить: «интеллигент во втором поколении». В первом была она. Ее мать, моя бабушка, была из крепких мещан заволжской Шуи; в церкви из их семьи поминали «рабов божиих Терентия, Лаврентия, Федора, Вассу, Харлампия...». Эту кондовую Шую она ненавидела всей душой. Чтобы выбраться оттуда, она вышла замуж за моего деда – шляпа-котелок, усы колечками, непутевый шолом-алейхемовский тип, побывал в Америке, работал гладильщиком в прачечной, не понравилось. До революции служил коммивояжером (дорожные открытки с видами самых захолустных российских городов кипами распирали старый альбом), после революции – аптекарем или провизором по таким же

городам, вроде Решмы и Вичуги. Если первым предметом ненависти для бабушки была Шуя, то вторым был он. Когда в 70 лет он приехал передохнуть в Москву, бабушка сказала матери: «Покупай ему билет куда угодно, или я натолку стекла ему в кашу». «И натолкла бы», – говорила мать.

Бабушка не работала, от деда помощи было мало, мать начала зарабатывать в старших классах школы: брала править корректуры. В Москве было два университета, на всякий случай она подала заявления в оба, сдала экзамены и в оба прошла. В 1926 году для человека из нерабочей семьи это было почти невысказано. Филологических факультетов не было, был «факультет общественных наук», там изучали все на свете, в том числе узбекский язык и артиллерию. Потом пошла мелким сотрудником в газету «Безбожник», орган Союза воинствующих безбожников под началом Емельяна Ярославского. Подшивки «Безбожника» я листал в детстве – о мракобесии и растленных нравах церковников, со свирепыми карикатурами. Душевных сомнений ни у кого не было: даже бабушка на моей памяти ни разу не вспоминала о церкви. Здесь, в «Безбожнике», мать встретила моего отца.

Семейная жизнь детей часто складывается по образцу родителей: бабушка прогнала своего мужа, мать – своего. Она была замужем за горным инженером Лео Гаспаровым из Нагорного Карабаха. «Карабах – это вверх по степи от Баку, а потом плоскогорье, как гриб, а на нем, как в осаде, оди-

чалые армяне». Знакомый журналист отыскал даже остатки деревни, откуда Гаспаров был родом, у Шуши. Гаспаров возил туда мать показывать родным: они не понимали по-русски, она по-армянски. Она сбежала через неделю. Всю жизнь они жили врозь; я не удивлялся, горный инженер – значит, в разъездах. Только в первую зиму войны мы жили у него в Забайкалье, и мать каждую неделю ходила по битой дороге за несколько верст на почту за письмами от моего отца.

После войны она работала редактором на радио и ненавидела его так, что радио дома всегда было выключено. Потом, много лет, редактором в Ленинской библиотеке. Нужно было зарабатывать на бабушку и меня. Днем на службе, вечером под зеленой лампой за пишущей машинкой; каждый вечер я засыпал под ее стук. Я видел ее только работающей. За мною присматривала бабушка. О бабушке я ничего не скажу: она умерла, когда мне было четырнадцать, но на месте памяти о ней у меня сразу осталось белое пятно. Лицо ее я помню не вживе, а по фотографиям: на довоенной – круглое и деловитое, над чашкой чая, на послевоенной – изможденное, волосы клочьями и взгляд в пространство. Маленьким, над книжкой про летчиков, я спросил ее, что такое «хладнокровный». Она ответила: «Вот мать твоя хладнокровная, а я нет».

Мне до сих пор трудно понять, что такое эдиповский комплекс: отец и мать для меня слились в ее лице. Жизнь сделала ее решительной: она всегда знала, что нужно сделать, а об-

думать можно будет потом. Она любила меня, но по принципу: «застегнись, мне холодно». Когда я познакомился с моей женой, я сказал о матери: «Если бы она захотела, чтобы я убил человека, я убил бы: помучился, но убил». Жена не поняла. Потом перевела на свой язык и сказала: «Да, если бы она сказала, чтобы ты на мне не женился, ты помучился бы, но не женился».

Я никогда не видел ее смеющейся.

Ей было тридцать семь, когда оказалось, что в нашей стране нет науки советской психологии. Учредили Институт психологии и объявили прием в аспирантуру без ограничения возраста. Она пришла и сказала: «Я никогда в жизни не занималась психологией, но я умею работать; попробуйте меня». Институтом заведовал С. Л. Рубинштейн, в молодости философ, учившийся в Марбурге с Пастернаком. Он понял ее, дал пробную работу и принял в аспирантуру. Диссертация была о борьбе физиолога Сеченова в 1860-х годах за материалистическую психологию. Она вышла книгой, стиль правил мой отец. Потом мать перешла на работу в институт, защитила докторскую, выпустила еще две книги по истории русской психологии. В них все было по-марксистски прямо, материализм против идеализма, идеализм чуть-чуть что не назывался поповщиной и мракобесием. «Иначе уже не могу», – говорила она. Но Рубинштейна она любила безоговорочно всю жизнь. После смерти отца смерть Рубинштейна была для нее самым тяжелым ударом.

Наступала усталость: сын, который молчал, невестка, которую приходилось терпеть, внучка, а потом и правнучка, на которых приходилось кричать. Я уже не боялся ее, я жалел ее, но так же молча и бездеятельно. Когда я с удивлением стал членом-корреспондентом, мне сказали: «Если бы вы знали, какая это радость для вашей матери». Она тяжелела и слабела. Стала изредка говорить о прошлом (но никогда – об отце): чаще о дедовом семействе, чем о бабушкином. («Жили в городе Бердичеве два брата Ниренберги, оба лавочники, Исай богатый, а Абрам бедный...» – сродни Исаевичам были художник Нюренберг и писатель Шаров, из Абрамовичей вышел только мой дед.) Больше всего врезалось в память, как в десять лет в южном городке Ейске, где было посытнее, но нечего читать, она нарочно читала держа книгу вверх ногами, чтобы на подольше хватило: это был «Фрегат „Паллада“» Гончарова. Потом я узнал, что при Христе так умели читать тору, потому что учились, сидя на полу со всех сторон.

У нее был рак горла, но оперироваться она не хотела. Сперва вспухла шея, потом пропал голос, остался только свистящий шепот, потом стало невозможно дышать. В больнице она металась тяжелым телом по постели, раскрывая красный рот и умоляя об обезболивающем. Когда она умерла, тело ее, как полагалось, выставили в морге, чтобы собравшиеся сослуживцы и родственники сказали добрые слова. Служитель в белом халате спросил: «Партийная?» Я отве-

тил: «Нет». Тогда он, не спрашивая, накрыл ее не красным, а белым покрывалом с вышитыми черными крестами и молитвенной вязью по краям. В газете «Безбожник» это называлось мракобесием, но уже начинались годы, когда на такие вещи перестали обращать внимание.

МОЙ ОТЕЦ

На моей памяти он работал редактором в издательстве Академии наук. Когда он умер, византинисты из Института истории выпустили свою очередную книгу – перевод византийской хроники – с посвящением ему на отдельном листе: светлой памяти такого-то. Он не был византинистом, просто он был очень хорошим редактором.

О том, что он мой отец, мать сказала мне, только узнав о его смерти, – высохшим голосом и глядя в пространство. Я ответил: «Да, хорошо».

В сочинениях Пушкина печатается портрет Дельвига: мягкое лицо, гладкие волосы, спокойный взгляд из-под маленьких очков. Однажды я сказал бабушке: «как он похож на Д. Е.» Она ответила: «Что ты вздор несешь, это на тебя он похож». Наверное, чтобы задуматься, чей я сын, было достаточно и этого. Или прислушаться к женщинам во дворе («К вам отец приходил, никого не застал и ушел»). Но я не то чтобы ни о чем не догадывался, а просто запретил себе об этом думать, если мать, по-видимому, не хочет, чтобы я

думал.

Он был не «наш знакомый», а «ее знакомый». Приходил несколько раз в неделю, медленный и мягкий, здоровался с бабушкой и со мной, закрывалась дверь в комнату матери, и за дверью было тихо. Иногда подолгу звучал рояль, это играл он. Возле рояля лежали ноты: сонаты Бетховена, романсы Рахманинова, советские песни («Вышел в степь Донецкую...» и др.). Мать потом сказала, что в этом подборе все имело свой, понятный им смысл.

Я рос с ощущением, что отца у меня нет. Таких семей было много вокруг: те разошлись, а те погибли. У меня было твердое представление, что отец в семье – нечто избыточное, вроде опорного согласного при рифме. Для самоутверждения я привык думать, что наследственность – вещь если не выдуманная, то сильно преувеличенная. Генетика в то памятное время была лженаукой. Только теперь, оглядываясь, я вижу в себе по крайней мере три вещи, которые мог от него унаследовать. Три и еще одну.

Первое – это редакторские способности. Я видел правленные им рукописи моей матери. Это была ювелирная работа: почти ничего не вписывалось и не зачеркивалось, а только заменялось и перестраивалось, и тяжелая связь мыслей вдруг становилась легкой и ясной. Когда я редактировал переводы моего старого шефа Ф. А. Петровского из Цицерона и Овидия, превращать их из черновиков в беловики приходилось мне. Кажется, моя правка имела такой же вид. Одна-

жды в разговоре с одним философом я сказал: «Я хотел бы, чтобы на моей могиле написали: он был хорошим редактором». Собеседник очень не любил меня, но тут он посмотрел на меня ошалело и почти с сочувствием – как на сумасшедшего.

Второе – это вкус к стилизаторству. Еще до войны, служа в «Безбожнике», отец сочинял роман XVIII века «Похождения кавалера де Монроза, сочинение маркиза Г**, с французского переведены студентом И. Е., часть осьмая, Санкт-Петербург, 1787». Это была действительно часть осьмая, без начала и конца, поэтому появления лиц (Одноглазой, дюк Бургонской...), свидания, поединки, похищения, погони были сугубо загадочны. Язык был изумительный, каждая машинописная строчка была унижена поправками от руки, на оборотах выписывались слова и сочетания для дальнейшего использования: «Ласкосердой читатель!..» В шкафу у нас долго лежали грудой отработанные им книжки: «Омаровы наставления», «Князь тьмы», «Золотая цепь» – до войны они были недороги. «Письмовник» Курганова я читал и помнил страницами, как Иван Петрович Белкин. Я вспоминал об этом, став переводчиком.

Другой его стилизацией был роман «Сокровище тамплиеров, в трех частях с эпилогом, сочинение сэра А. Конан-Дойля, 1913» – с Шерлоком Холмсом, индийской бабочкой «мертвая голова», убийством на Риджент-стрит, чучелом русского медведя, лондонским денди, шагреновым перепле-

том и иззубренным кинжалом. Его он сочинял в эвакуации и посылал по несколько страниц в письмах к моей матери («песни в письмах, чтобы не скучала»). Военная цензура удивлялась, но пропускала.

Третье, что я от него унаследовал, – это вкус ко второму сорту, уважение к малым и забытым, на фоне которых выделяются знаменитые. Не только к советским песням рядом с Бетховеном: моя мать была воспитана на Бахе и Моцарте, а он, познакомившись с ней, осторожно учил ее любить и Чайковского и Верди, на которых тоже полагалось смотреть свысока. Это не было эстетской причудой, это был разночинский демократизм: все в культуре делают общее дело. Я много занимался второстепенными поэтами: мне хотелось, чтобы первостепенные не отбивали у них нашей благодарности. Когда сейчас не любят Брюсова или Маяковского (или Карла Маркса), мне тоже хочется, любя или не любя, за них заступиться – просто как за обижаемых.

Я не знаю, почему они с моей матерью не были женаты, не знаю, кто были жена и сын моего отца. Когда нам с А. сказали, что он умер (ночью был сердечный приступ, вызывали «скорую», запретили вставать, а утром он все-таки встал, чтобы поехать за город к двум Еленам – было 3 июня, и умер), мать вместе с названной в честь нее трехлетней внучкой была на даче. Прежде чем сообщить ей, нужно было проверить, не ошибка ли это. Мы метались в издательство, в справочное бюро, по полученному домашнему адресу, –

дверь на темную лестничную площадку приоткрылась, в щели мелькнул молодой человек и сказал нам: «Да». Он был моих лет.

Самые, наверное, точные слова о нем написала мне много лет спустя старая женщина Н. Вс. Завадская, приятельница молодого Пастернака, знавшая моих отца и мать еще по «Безбожнику» («Когда он сказал мне: „У Елены Александровны родился сын“, – у него было такое лицо, какого я никогда не видела...»). Она написала: «В нем была доброжелательность к людям без внимания к их жизни». Доброжелательность без доброты – таким помню его и я. Таким, к сожалению, чувствую и себя.

Н. Вс. пишет об отце: любил Гейне, читал Бёрне, берёт «Красное и черное», но больше всего им владел один роман Золя – о машинисте на поезде, который потерял управление и мчится неизвестно куда. Этот паровоз из «Человека-зверя» помнят все читавшие. О том, что его спокойствие, медлительность, мягкость были не от природы, а от самоукрощения, я, конечно, не знал; думаю, что знали немногие.

Откуда он родом, мать не знала сама. Отец его служил в провинциальном банке и ездил по Южной России. Украинский язык он знал хорошо; мать говорила, что в нем была то ли сербская, то ли болгарская кровь; еврейскую отрицала, но я не очень этому верю. В Москву он приехал в двадцать лет из города Ромны. Высшего образования у него никогда не было (и он всегда чувствовал эту ущербность): всему, что

знал, он научился сам. Мне предлагали навести справки о его однофамильцах, но мне он понятнее таким: без роду, без племени. Когда он умер, ему было 53 года. Я сейчас старше.

МОЕ ДЕТСТВО

«Ваше первое воспоминание?» – спросили меня. Я ответил: «Лето, дача, терраса, ступеньки вверх на террасу. Серые, потрескавшиеся, залитые солнцем. На верхней ступеньке стоит женщина, я вижу только ее босые толстые ступни. А перед террасой слева направо опрометью бежит рябая курица». (При желании, наверное, из этого можно сразу вычитать многое. Например, страх перед женщиной: я боюсь поднять глаза на ее лицо. А из этого вывести многое другое в моей жизни. Не знаю только, что бы здесь означала курица.)

Перед террасой была хозяйская клумба. Однажды я сорвал на ней цветок. Этого делать было нельзя. Мать спросила меня: «Какая у тебя любимая игрушка?» Я показал на лошадь-качалку. Она подошла и оторвала ей хвост.

Говорят, когда меня оставляли одного в комнате, то, чтобы я ничего не повредил, меня привязывали на длинную ниточку к ножке стула. Я этого не помню: вероятно, это было слишком неприятно. Моя взрослая дочь, детский психолог, узнавши об этом, всплеснула руками и воскликнула: «И они еще думали, что у них вырастет нормальный ребенок!» Мне кажется, я с тех пор всю жизнь чувствовал себя несвободным

– не на цепи, а вот на такой длинной ниточке.

Мне в первый раз дали в руки ножницы: вырезать фигурки. Это было интересно. Захотелось попробовать, можно ли так же резать и материю. Я разрезал край скатерти, и сразу стало страшно. Когда это увидела мать, она отобрала у меня ножницы, оттянула пальцами джемпер у меня на груди и одним взмахом вырезала в нем дыру размером с пятак: «Вот теперь всю жизнь будешь так ходить!» Самое ужасное было, что всю жизнь. Я помню этот джемпер как сейчас: со спины голубой, спереди полосатый, черный с желтым, как брюшко насекомого. Он был крепкий, его потом зашили и носили еще лет десять. Мне казалось, я грудью чувствую то место, где была дыра.

Когда я делал что-нибудь не так, мне говорили: «Что о тебе люди подумают!» и «На тебя смотреть противно!» Первого я не понимал: не все ли равно, что подумают чужие люди, если так плохо думают свои – те, которые могут сделать со мной что хотят? А что на меня смотреть противно, я запомнил на всю жизнь. Я сказал, что любимой игрушкой моей была лошадь-качалка, кажется черная. Но я ее почти не помню, не помню и других игрушек. Помню только кубики с буквами. Не те, большие, где при **А** был нарисован арбуз, а при **Б** – барабан, а другие, маленькие, серые с черными буквами, где ничто не отвлекало внимания. Было интересно, что **А-М** – это одно, а **М-А** – это совсем другое. Бабушка вспоминала, как я позвал ее: «Посмотри, что получилось!» Вы-

ложилось слово «Хвалы́нск». Это из советской сказки: жил в городе Хвалынске старик, и послал он трех своих сыновей узнать, что на свете самое прекрасное. Один стал танкистом, другой летчиком, третий моряком, и все трое сказали, что самое прекрасное на свете – наша Советская страна.

Я играю с кубиками в углу, косой пыльный свет падает из окна, бабушка у стола что-то произносит, я переспрашиваю: «Кто это – Пушкин?» – «Как, ты не знаешь, кто такой Пушкин?!» Через несколько месяцев я твердил Пушкина часами наизусть: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...» Недавно прошел тридцать седьмой год, год больших расправ и пушкинского юбилея. О расправах я не знал, а от юбилея остались книжки с картинками, конфетные коробочки в виде томиков с бакенбардами на обложке, лото «Сказки Пушкина». Будь я старше, это могло бы погубить для меня любую поэзию, но мне было четыре года.

Мы жили в двух комнатах коммунальной квартиры, в коридор меня не выпускали, соседей я даже не знал в лицо. Я рос при бабушке. Чтобы ей было легче, меня отдали в детскую группу: утром отвести, вечером привести, днем десятков детей из средних семей играет и занимается под присмотром пожилой степенной женщины с румяными щеками. Я в первый раз оказался среди детей – я забился в угол, под рояль, и ревел целый день. Больше меня туда не отводили.

Во второй детской группе, куда я попал, было легче. Это там, за игрой в песок, я вдруг понял, что все, что мы дела-

ем, может быть уложено в слова и фразы, закругленные, как в книге. Опираясь животом на перила, я говорил: «Опираясь животом на перила, он говорил: „Несомненно, людоед не смог бы ворваться в замок...“»

Солнце бьет сквозь деревья, мы играем во дворе, один мальчик принес модель аэроплана, сколоченную из дощечек вкривь и вкось, она не летает, я с азартом ее ругаю. Меня окликают, я бегу к скамейке, где сидят взрослые, мне говорят: «А ты не критикуй, а посоветуй, как лучше». Я мчусь обратно и с ходу кричу: «А лучше попробовать поставить крыло вот так...» Слышу за спиною смех и удивляюсь старшим: сами велели и сами смеются?.. Но запомнил. Потом началась война.

ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ

В витрине соседнего магазина среди волн лиловых тканей стояли две большие японские вазы с изогнутыми красавицами. Бабушка, остановившись, сказала: «Война с Японией – это еще ничего, а вот с Германией!..» Ночью я проснулся с криком, сбежались взрослые, желтый свет. «Боюсь войны с Германией!» Меня успокаивали: войны не будет, а если и будет, то наша армия сильная и т. д.

Война началась через несколько месяцев. Небо было серое, мы шли с матерью по дачной тропе через кустистый луг, навстречу бежала молодая незнакомая женщина, голова за-

кинута, волосы по ветру: «Вы еще не знаете? Война! Молоотов выступал по радио!» И мы заспешили домой.

Стали шуршать газеты. Была фотография первого немецкого перебежчика и бодрый разговор с ним. «Мама, кто такой Гитлер?» В Москву меня перевезли за два дня до отъезда; улицы глядели ослепшими окнами в косых бумажных крестах, чтоб не сыпались стекла. «Если будет воздушная тревога, не пугайся и не плачь, спокойно пойдем в бомбоубежище». Но в эти два дня тревоги не было. День отъезда был 6 июля, на отрывном детском календаре – шуточная картинка с мальчиком в панамке, заблудившимся в лесу: «мама, где я?» Бескрайний асфальт предвокзальной паперти, тесные кучки ждущих на чемоданах и узлах. Это здесь мне показалось, что подменили мать: будто она отошла на десять минут, а вернулась чужая женщина, похожая на нее. Такой она и осталась для меня на всю жизнь.

Первый переезд – провал в памяти. Только конец его: высадка, ночь, тьма, путаница станционных рельсов под ногами, непровеянный сон в голове; потом серое утро в чужой квартире и, с высоты откоса, серая Волга до горизонта – город Горький.

Зной, пыльная, медленная дорога, мы в телеге, лошадиный хвост качается как маятник, а по сторонам – пустые поля.

Вокзальные залы, бескрайние, низкие, с тусклым, душным воздухом, плотно усиженные тесными семьями на куч-

ках узлов или в оградах чемоданов. «Не ходи туда, тот мальчик очень грязный!» Оттого что нельзя было перейти через зал, он казался еще больше.

Поезда, медленные и тряские, где трудно повернуться среди сидящих и лежащих, а по проходу пробирается молодой хрипящий и трясущийся нищий, из розового обрубка руки торчит белая кость. («Только бы не теплушка!» – говорила бабушка.) Бесконечно-гулкий мост над серой ширию за окном, это Обь. По вагону ходит мятая газетная вырезка, два мелких столбца стихов с картинкой сверху, и пожилой сосед серьезно передает ее шестилетнему мне. Это «Жди меня», и запоминаются непонятные «желтые дожди».

Забайкалье: складки холмов, щетинящихся хвоями, окаменелые глиняные колеи и колдобины на дороге, бревенчатые избы по сторонам, в одной живем мы. Это называется Шахтама́, ударение на последнем слоге. Мерзлые стекла, в раскрытую дверь входит пар, а потом человек в ватнике. «Товарищ...» – обращается к нему заискивающе мать. «Я гражданин, а не товарищ», – поправляет он.

Канторская комната набита народом, светло от законного снега и лилово от махорочного дыма. Мать наклоняется ко мне: «По радио будет Сталин, сейчас ты услышишь его голос», – и голос сквозь треск, спокойный и со странным выговором. Это ноябрь 1941-го. Через месяц, ночью (я уже в постели) из-за беленой перегородки доносится едва слышимое радио: «Освобожден Можайск», – и я облегченно вздыхаю в

подушку: о Можайске взрослые тревожно говорили каждый день.

Опять поезд и холмистые скаты за окном, бурые лбы скал под вздыбленными елками и соснами – Урал; и я у окна ловлю в них декорации сцен бесконечной сказки, которую я сочиняю, засыпая.

Тесная комната, дотемна разгороженная шкафами, – это Свердловск; белый квадратный фасад ввысь – это под Свердловском Асбест; до неба – горы мелких сухих камней, пересыпающихся под ногами, по ним лезешь-лезешь вверх, а все ни с места, – это отвалы шахт, это под Асбестом поселок Изумруды. (Правда изумруды: соседкина дочь показывает мне камешек с блестящей зеленой крупинкой, найденный там, в отвале.) Сперва низкий барак, почти пустая комната, кровать поперек, бурьян за окном; потом – единственное в поселке двухэтажное здание, внизу контора (там машинисткой работает моя мать), перед домом на солнце чертежные доски с листами, где калька превращается в синьку. В жилой комнате бочка с черной водой, воду носят ведрами. Отломи на стене кусок штукатурки – под ним казарменно-ровными рядами коричневые спины ждущих своей ночи клопов.

За углом двухэтажки – желтая глиняная яма среди мокрой густо-зеленой травы. Стоя у стены, я разминаю тугой комок глины и вдруг впервые понимаю, что этот комок – одно, а цвет его – другое, а тугое ощущение в пальцах – третье. Этот момент понимания запомнился тревогой на всю жизнь. Гли-

на была желтая и резалась перочинным ножом.

Самое частое слово в разговорах – Сталинград. «Так немцы взяли Сталинград?» – «Нет, они воюют и воюют в городе». Когда началось победное наступление, учредили новые мундиры с погонами, фотографии их были напечатаны на непривычных к тому газетных листах. (А в учебнике русского языка еще писалось: «суффикс -ёё вороньё, офицерьё».) Это было уже зимой, и слепящий снег был так тверд, что из него можно было не лепить, а высекать.

Я был тихий, местные в насмешку спрашивали в Забайкалье: «Ты девчонка или парнишка?»; на Урале: «Ты девка или парень?». Соседка по бараку, тяжелая и твердая, сказала матери: «Он у вас все фразы до конца договаривает».

ШКОЛА

До войны в школу шли с восьми лет, в войну стали идти с семи. В первом классе я не учился, а когда возвратились из эвакуации в Москву, пошел сразу во второй: непривычный среди привычных.

Школа обдала шквалом многоголовья, многоголосья, людоворота по трем этажам – в вихрях пыли, исполосованной рыжим солнцем сквозь тусклые стекла. Было тесно и бедно. Потертые куртки, заплатанные локти, осунувшиеся лица, хваткие глаза: все разные, и все на одно лицо. Все движения быстрые, все слова непонятные, все порядки неизвестные.

Все мои ответы невпопад, а за это бьют. Бьют по правилам, и этих правил они всегда знают больше, чем я. Штукатурка сыплется с отсырелых стен на пол, и когда падаешь, то видишь, какой он грязный и затоптанный.

Между переменами были уроки. Сидели по трое на двухместных партах, крашенных черным по изрезанному дереву; в дырке – одна на троих жестяная чернильница с лиловатой водицей. Впереди – серая от старости, исцарапанная доска, на которой почти не виден бледный мел. Накануне на фронте взяли четыре города, их названия нужно было записать в тетрадку. Я пишу: Ельня, Глухов, Севск, Рыльск – так радиоголос перечислял их в приказе. На меня посмотрели странно: на доске они были названы в другом порядке. Оказалось, что я близорук: все видят доску, а я не вижу. Через месяц я стал носить очки: «Очкарик! четырехглазый!» На перемену нужно было их снимать: собьют.

Потом хаос теснящихся лиц стал рассыпаться на роли: мрачный силач, вертлявый крикун, забияка, блатной, увалень, шут. Когда через год перевелся в другую школу, я увидел вокруг те же маски, и между ними было уже легче найти себе место.

Я бреду из школы по слякотному переулку, меня нагоняют ражие и зычные старшеклассники. Один уже заносит руку меня ударить. Другой говорит: «Не тронь, я его знаю, он хороший парень: вот я ему скажу, и он у меня наземь сядет, – а ну сядь!» Я подсовываю под себя в грязь облупленный порт-

фель и сажусь на него, думая только об одном: как бы он не сказал: «Чего жульничаешь? не на портфель, а на тротуар!» – а на тротуаре липкая, черная грязь. Но нет, сегодня он не злой, и парни, хохоча, проходят мимо.

Уроки, тесные и душные, были передышками между драчливой толчеей перемен; болезни – передышками между обреченностями на школу. Ветрянка, краснуха, свинка: не поворотить шею, не почесаться под повязками. Тетка на работе, троюродный брат до поры в школе; придет злой, начнет командовать, будет плохо. Но пока можно долго лежать под комковатым одеялом и читать Жюль Верна в старой книжке с узким газетным шрифтом и с ятями. Тихо. Краем глаза я вижу под столом черный комочек с хвостиком; не успел я подумать «мышь», он уже мелькнул и исчез.

Наше разоренное жилье в Замоскворечье привели в порядок: в окнах уже не фанера, и в щелях не свистит ветер. В третий класс я иду уже в другую школу. Здесь спокойнее, и я уже привык. Но все так же тесно, занятия идут в две смены, и когда мы во второй, то на уроках сумерки, а на лицах усталость. В голове пусто, слова учительницы шелестят мимо слуха, взгляд бродит по карте мира на стене, где среди лиловой и серой Африки одиноко надписан город Мурзук. Возвращаюсь домой по переулкам, от фонаря к фонарю, и вдруг понимаю: вот сейчас я вспоминаю Жюль Верна, а на прошлом углу я думал о чем-то другом, уже не помню о чем, но мысль не прерывалась; наверное, если ее всю, от утра до

вечера, вытянуть и записать, то это и буду настоящий я, а остальное неважно.

Тяжелей всего было в пятом классе. Начинается созревание, в ребятах бродят темные гормоны, у всех чешутся кулаки подраться. Я ухожу в болезнь: у меня что-то вроде суставного ревматизма, колени и локти как будто скрипят без смазки. Врачи говорят: это от быстрого роста. Больно, но не очень; однако я притворяюсь, что не могу ходить, и восемь месяцев лежу на спине, не шевеля ногами. Изредка из школы приходят учителя, и я отвечаю им про Карла Великого, водоросль вольвокс и лермонтовские «Три пальмы». Видимо, я хорошо выбрал время: когда кончился этот год и я пошел в седьмой класс, то меня уже не били. Возрастной перевал остался позади.

Моего школьного товарища звали Володя Смирнов; он утонул на Рижском взморье, когда нам было по двадцать лет. Он был сыном Веры Васильевны Смирновой, критика, и Ивана Игнатьевича Халтурина, детского писателя (того, который сделал книгу В. К. Арсеньева «Дерсу Узала»). Я сказал: «Нас не очень сильно били: нас было неинтересно бить», Ив. Игн. откликнулся: «Ты всю жизнь себе так построил, чтобы тебя было неинтересно бить». Наверное, правда.

Потом, на четвертом курсе университета, у нас была педагогическая практика: по два урока русского языка и словесности в средней школе. Это было несерьезно: постоянная учительница сидела на задней парте, под ее взглядом ребята

смирно и нехотя слушали неумелых практикантов. Но мне не повезло: нам с напарницей достался как раз пятый класс, в котором как раз заболела учительница, и мы должны были целый месяц управляться одни. Это было адом: я словно опять тонул в кипящем буйстве гормонального возраста. Потом по ночам мне долго снились кричащие головы на грядах парт.

Это были дети 1945 года рождения; потом мне было забавно думать, что самые близкие мои товарищи по науке – тоже 45-го года рождения и могли быть среди них.

А вообще школа была хорошая.

Я сказал Нине Брагинской: от меня требуют воспоминаний, а они мне мучительно не даются. Она ответила: «И понятно: как ученый, вы стараетесь быть прозрачным стеклом, чтобы видно было не вас, а только ваш предмет; а мемуарист, о чем бы ни писал, всегда в конечном счете пишет о себе». Я сказал: я не помню и не люблю моего детства, а в воспоминаниях возвращаюсь именно к нему. Она ответила: «И это понятно: воспоминания о детстве никто не может проверить, а в воспоминаниях о зрелом возрасте всегда приходится оглядываться, что об этом написали или напишут другие. Посмотрите мемуары НН: интересный человек, необычная жизнь, но так скован образом русского интеллигента, что в толстой книге нечего читать». Я вспомнил, как Веру Васильевну Смирнову уговаривали написать воспоминания о Пастернаке, а она весело отговаривалась: «Спер-

ва покажите мне воспоминания Зинаиды Николаевны». Она тоже жила в Ирпени летом 1930-го, и З. Н., стоя у плиты, радостно рассказывала ей, как Борис Леонидович только что в лесу стал перед нею на колени в хвою и объяснился в любви, и шутила, не передать ли ей Генриха Густавовича (Нейгауза, ее первого мужа) Вере Васильевне, как котенка в хорошие руки? Но у Веры Вас. была своя трудная жизнь, и было не до того. Воспоминаний Зинаиды Николаевны ей не показали, и поэтому своих она не написала.

Здесь мне нужно написать о моем товарище, который утонул. Мы с женой, ничего не зная, приехали в Дубулты, стали искать Веру Васильевну, нам сказали: «А-а, это у которой несчастье!» – не «с которой», а «у которой», и все стало ясно. Но я не могу этого сделать: об очень хороших людях писать слишком трудно. Пусть вместо этого здесь будет перевод чужих стихов. Мы с ним любили английские стихи и греческие мифы.

Джон Мильтон

Ликид⁹

В этой монодии сочинитель оплакивает ученого друга,

⁹ В настоящем издании см. также т. V, с. 36–41. – Прим. ред.

несчастливым образом утонувшего в плавании из Честера чрез Ирландское море в год 1637. По сему случаю предсказывается конечное крушение развращенного клира, бывшего тогда в силе.

Вновь, о лавры,
Вновь, о темные мирты
И ты, неопалимый плющ,
Я срываю плоды ваши, терпкие и горькие,
И негнущимися пальцами
До срока отрясаю вашу листву.
Едкая нужда,
Драгоценная мне скорбь
Не в пору гонит меня смять ваш расцвет:
Умер Ликид,
До полудня своего умер юный Ликид,
Умер, не оставив подобных себе,
И как мне о нем не петь?
Он сам был певец, он высокий строил стих,
Он не смеет уплыть на водном ложе своем,
Не оплаканный певучею слезою.

Начните же, сестры,
Чей источник звенит от Юпитерова трона,
Начните, скользните по гулким струнам!
Мнимо-уклончиво, женски-отговорчиво —
Так да осенит удавшимся словом
Нежная Муза
Урну, назначенную и мне!

Пусть оглянется он в своем пути
И овеет миром черный мой покров,
Ибо вскормлены мы с ним на одном холме,
И одно у нас было стадо, и ручей, и сень, и ключ.
С ним вдвоем, когда вышние пажити
Открывались разомкнутым векам солнца,
Шли мы в поля и слышали вдвоем
Знойный рог кружащего шмеля
И свежую росой нагуливали стада
Подчас до поры, когда вечернюю звезду
Вносил поворот убегающих небес,
А в сверленном стволе
Не молкли луговые напевы,
И сатир шел в пляс, и двухкопытный фавн
На ликующий тянулся звук,
И старик Дамет любил наши песни.

Но все уже не так. Тебя нет, тебя нет,
И больше не будет никогда.
О тебе пастухи, о тебе леса, о тебе
Опустелые пещеры, заросшие тимьяном и лозой,
Плачут глухими отголосками.
Ива и зеленый орешник
Больше твоим
Не повеют нежным песням радостными листьями.
Как розе тля,
Как ягненку на пастбище язвящий клещ,
Как мороз цветам в наряде их красы
Той порой, когда белеет боярышник, —

Такова, Ликид,
Пришлась пастухам твоя утрата.

Где вы были, нимфы, когда невнемлющая глубь
Обомкнула любимого Ликида?
Не играли вы на той крутизне,
Где покоятся бывшие барды и друиды,
Ни на вздыбленных высях Моны,
Ни у Дэвы, плещущей вещей волной, —
Но к чему мечта?
Разве были бы вы сильны помочь ему?
Нет, – как Муза, как Орфеева мать,
Не сильна была чародеющему сыну
В час вселенского плача природы,
Когда с черным ревом неистовый сонм
Бросил вплавь окровавленный его лик
Вниз по Гебру и к Лесбийскому берегу.

Зачем он неутомимо
Правил пастушью свою недолю,
Острый ум устремляя к нещедрым Музам,
А не так, как все,
Под сенью резвился с Амариллидою
Или с прядями кудрявой Неэры?
Слава,
Последняя слабость возвышенного ума,
Шпорит ввысь благородный дух
От услад к трудам,
Но когда уже светлая награда впереди

Ждет взорваться стремительным сиянием, —
Слепая Фурия постылым резакom
Рассекает тонкую пряжу жизни.
Но нет —
(Это Феб звучит в трепетном слухе моем) —
Слава – цветок не для смертных почв:
Не в мишуре идет она в мир, не в молве она стелется
вширь,
А живет в выси
В знаке ясных очей всерассудного Юпитера,
И каков его последний обо всем приговор,
Такова и слава ждет тебя в небесной мзде.

Верь, чтимая Аретуза
И тихий Минций в венце певчих тростников:
Это высочайшая прозвенела мне струна!
Но дальше, моя свирель!
Вот морской трубач предстал во имя Нептуново
Вопросить волны, спросить преступные ветры:
Что за невзгода
Нежному была погибелью пастуху?
И каждый из крутокрылых,
Дующих с каждого острия суши,
Ответил ему: «Не знаем!»
Мудрый Гиппотад
Принес их ответ, что ни единый порыв
Не вырвался из его узилища,
Что тих был воздух
И скользкая Панопея

С сестрами играла на кромке песка.
Это челн,
Роковой и вероломный,
В час затмения сколоченный, черными проклятиями
снащенный,
В бездну погрузил священное твое чело.

Следом медленной стопой притекает чтимый Кэм,
Плащ его космат, из осоки его колпак,
Смутные образы на нем, а по краям
Выписана скорбь, как на том кровавом цветке;
«Кто отнял, – воззывает он, – лучшую надежду мою?»
И последним шел и пришел
Галилейский кормчий,
Ключарь о двух мощных ключах
(Отворяет золотой, замыкает железный);
Он сотряс свои увенчанные кудри,
Он сказал:
«Рад бы я сберечь тебе юного,
Видя тех, кто чрева ради вкрадывается в стадо,
Кто рвется к пиру стригущих,
Оттирая званых и достойных,
Чьи губы слепы,
Кто не знает ни держать пастуший посох,
Ни иного, что довлеет верному пастырю!
Что нужды им и до чего нужда им?
Песни их, скудные и нарядные,
Чуть скребутся сквозь кривые их свирели,
Овцы их, голодные, смотрят в небо,

Пухнут от ветра и гнилого тумана,
И зараза, выедаю их, расходится вширь,
А черный волк о скрытых когтях
Походя пожирает их день за днем,
И двурукое оружие у двери
Готово разить, но никого не разит!»

Воротись, Алфей,
Грозный глас, претивший тебе, умолк.
Воротись, Сицилийская Муза:
Воззови к долинам, и пусть они принесут
Цветы в стоцветных венчиках лепестков.
Вы, низины, нежным полные шепотом
Листьев, непутевых ветров, льющихся ручьев,
Свежих, редко зримых смуглой звезде, —
Бросьте сюда
Ваши очи, яркие, как финифть,
Из зеленой травы пьющие медовый дождь,
Вешним цветом обагряющие землю:
Торопливый первоцвет, умирающий забытым,
Хохлатый лютик и бледный ясмин,
Белую гвоздику и сияющую фьялку,
В черной ряби анютиных глазок,
Душистую розу и нарядную жимолость,
Томные буквицы с поникшей головой,
Каждый цветик в своем пестром трауре.
Пусть померкнет амарант,
Пусть наполнится слезами нарцисс,
Устилая лавровое ложе Ликида,

Пока тщетная наша мысль
Меж неверных отдыхает догадок:
Где прах твой,
Дальними омываемый морями, гремящими в берега?
У бурных ли Гебрид
В обымающей волне
Нисшел ты к глубинным чудам?
Спишь ли, неподвластный слезным зовам,
Под древним сказочным Беллером,
Где мощный лик с хранимой им горы
Взирает туда, где Наманка и Байонна?
О архангел, оборотись и тронься!
О дельфины, вынесите злополучного на свет!

Не плачьте, скорбные пастыри, не плачьте!
Он не умер, Ликид, наша горечь,
Он скрылся под гладью вод,
Как солнце скрывается в океане,
Чтобы вскинуть вновь поникшую голову,
Просветлеть лучами и в новом золоте
Запылать на челе заревых небес, —
Так и Ликид
Доброй мощью Грядущего по волнам,
Опустясь на дно, вознеся в ту высь,
Где иные рощи, иные реки,
Где чистый нектар смоет ил с его кудрей,
И невыразимо зазвучит ему брачная песнь
Во блаженном царстве радости и любви.
Там приветил его чтимый строй угодников,

Там певучие сонмы движутся во славе своей,
И в очах навек высыхают слезы.
Не плачьте же, пастыри, о Ликиде:
Щедрая тебе мзда,
Дух твой отныне
Будет блюсти этот берег,
Осенья странников опасных пучин.
Так пел неумелый пастух
Дубам и ручьям
В час, когда рассвет шел ввысь в седых сандалиях.
На тонких скважинах свирельных стволов
Страстной думой ладил он дорийский лад;
И вот солнце простерлось по холмам,
И вот кануло в западные моря,
И он встал, окинувшись в синий плащ:
С новым утром к новым рощам и новым пажитям.

УНИВЕРСИТЕТ

Вступительных экзаменов в МГУ я не сдавал: у меня была серебряная медаль, с которой тогда принимали по собеседованию. Спросили, что я читал из античной литературы, я долго перечислял, на полперечне вспомнил: «Ах да, Гомер». Больше вопросов не задавали.

Сейчас классическое отделение на филологическом факультете МГУ – одно из самых престижных. В 1952 году, наоборот, туда загоняли силою. Сталин под конец жизни захо-

тел наряду со многим прочим возродить классические гимназии: ввел раздельное обучение и школьную форму, а потом стал вводить латинский язык. Для этого нужно было очень много латинских учителей, их должны были дать классические отделения, а на классические отделения никто не шел: молодые люди рвались ближе к жизни. Поэтому тем, кто не набрал проходной балл на русское или романо-германское отделение, говорили: или забирайте документы, или зачисляйтесь на классическое. На первом курсе набралось 25 человек, из них по доброй воле – двое; как все остальные ненавидели свою античную специальность, объяснять не надо. Прошло три года, Сталин умер, стало ясно, что классических гимназий не будет, и деканат нехотя предложил: пусть кто хочет переходит на русское, им даже дадут лишний год, чтобы досдать предметы русской программы. Перешла только половина; двенадцать человек остались на классическом до конца, хорошо понимая, что с работой им будет трудно. И, окончив курс, почти все остались так или иначе при античной специальности: преподавали в «пед» или в «меде». Кроме тех, кого увело в сторону осязаемое призвание – как В. Непомнящего, который сделался пушкинистом. Это значит, что на классическом отделении были очень хорошие преподаватели: они учили так, что студенты полюбили ненавистную античность.

Нас было две группы: в нашей греческий вел А. Н. Попов, латынь – К. Ф. Мейер, в параллельной латынь вел Попов,

греческий – Ж. С. Покровская. С. И. Радциг читал историю литературы.

Заведующим кафедрой был Н. Ф. Дератани – партийный человек, высокий, сухой, выцветший; когда-то перед революцией он даже напечатал диссертацию об Овидии на настоящей латыни, в которой, однако, вместо *in Tristibus* всюду было написано *in Tristiis*. (Это правда.) Он уже был именем нарицательным: «Дератани» называлась хрестоматия по античной литературе, по которой учились сорок лет. Читал он нам историю латинского языка и авторов, очень скучно. Горацием я занимался у К. П. Полонской, однако на пятом курсе Дератани перечислил меня к себе, потому что предполагалось, что диплом я напишу хорошо.

Самым популярным был С. И. Радциг – белоснежная голова над черным пиджаком, розовое лицо, сутулые плечи и гулкий голос, которым он пел над замороженными первокурсниками строчки Гомера по-гречески и пересказы всего остального. Все фразы у него, и не только в лекциях, а и в разговорах, выгибали спины интонационными дугами и кончались гулкими ударами – никто из учившихся у него не мог этого забыть. Он читал общий курс античной литературы на всех отделениях филфака и даже на факультете журналистики, и когда выпускники при встрече обменивались воспоминаниями, то паролем было: «А Радциг!...» Но глубже, чем для первого курса, он не рассказывал никогда и ничего.

Больше всего мне дали преподаватели языков.

А. Н. Попов (тоже нарицательный: «Попов и Шендяпин» назывался учебник латинского языка) – с седой бородкой, круглый, быстрый, дирижирующий указкой, со вкусом выговаривал интонационную дугу протасиса и аподосиса. Ни на секунду не дававший отвлечься, он был особенно хорош, когда изредка отвлекался сам: прижмуривал глаза и диктовал для перевода на греческий стихи А. К. Толстого (условные предложения: «И если б – курган-твой-высокий – сравнялся бы! с полем пустым – то сла-ава – разлившись-далеко – была-бы-курганом-твоим») или приводил примеры из семантики, старой, понятной, по Бреалю («по-русски *клеветать* – от *клевать*, а по-гречески *диабаллейн* – *разбрасывать* худую молву, отсюда – сам *диавол* —*клеветник*»). Я бывал у него изредка и после университета и любовался его твердой и умной законченностью, но ничего нового в этих разговорах мне не открылось.

К. Ф. Мейер, медленный, усталый, с больной ногой, тяжело опиравшийся на палку с набалдашником в виде белого горбуна, не отвлекался никогда; но латинские склонения и спряжения выстраивались у него побатальонно с такой несокрушимой дисциплиной, что следить за ними было интереснее, чем за любыми отвлечениями. Я до сих пор не перестаю восхищаться его педагогическим талантом.

Все они были дореволюционной формации, все они переживали двадцать пореволюционных лет кто как мог: Дератани писал предисловия к античным книжкам «Акаде-

мии» (выводя всех поэтов из товарно-денежных отношений, это было как заклинание), Попов, кажется, работал юрисконсультom, Мейер преподавал математику в артиллерийском училище. Когда перед войной филологию возобновили и С. И. Соболевский стал собирать преподавателей, Мейер сказал было: «Да мы, наверное, все забыли...» – но Соболевский ответил: «Не так мы вас учили, чтобы за какие-то двадцать лет все забыть!» – и Мейер смолк.

Знали мы о своих учителях мало. Когда во время хрущевской оттепели Кремль открыли для посетителей, кто-то из нас спросил Радцига: «Сергей Иванович, а вы бывали в Кремле?» – «Я там жил!» (это было, когда в незапамятные времена он проходил военную службу, но когда и как, сказано было невнятно). Такие проговорки были редки, по-человечески мы представляли себе наших преподавателей плохо и по молодой бесчувственности интересовались ими мало, хотя и бывали группами у них дома на предэкзаменационных консультациях.

Что такое наука, они не задумывались: наука – это то, чему их учили в молодости и чему они в том же виде должны были учить нас в старости. Древние языки нужно было знать, чтобы читать античных авторов, а читать авторов – чтобы знать языки. Изредка Попов, отвлекаясь, вспоминал хорошие книги, которые читал в молодости: того же Бреалея или «Тацита» Буассье. Или Радциг бранил переводы Вячеслава Иванова из Эсхила. Темы курсовых и дипломных работ бы-

ли тоже на гимназическом уровне: условные предложения в «Меморабилиях» или образ Креонта в «Антигоне». До них не добиралась даже советская идеология. Самостоятельным интересам было взяться неоткуда. О том, что в науке бывают нерешенные вопросы, мы не задумывались. Только однажды худенький А. С. Ахманов, рассказывавший нам историю греческой философии, мимоходом бросил: «Прежде чем спорить, что такое реализм, нужно договориться, что такое *res*». А в 1955 году В. Звегинцев, читая нам, второсортным отделениям – славистам, восточникам, античникам, – краткий курс общей лингвистики, сказал: по такому-то вопросу такие-то думают так-то, такие-то так-то, а общего мнения нет. Это было ошеломляюще: до того нам с кафедры объявлялись только истины в последней инстанции.

Можно было дожить до диплома, не прочитав ни одной иностранной книги по своему предмету. Тем более что новые языки мы знали неважно: один язык на первых двух курсах, а потом недолгие попытки факультативов или самоученичество. О том, что существует библиографический ежегодник «L'Année philologique», без которого не может существовать античник, мы не слышали ни разу: я узнал о нем случайно, в предисловии к какой-то английской книге было написано «сокращения в сносках – по АР», я подумал: «вот какой еще, оказывается, есть журнал», пошел искать, а меня направили в справочный отдел. Эта старозаветность переменилась уже после нас – когда заведовать кафедрой ста-

ла Тахо-Годи, а среди студентов оказался Аверинцев. «Когда К. П. Полонская вслед за Аверинцевым вместо „новая комедия“ стала говорить *неа*, мы поняли, что началась другая эпоха», – сказала мне Т. Васильева.

На первом курсе курсовые писали по русскому языку, на втором (когда праздновался 2400-летний юбилей Аристофана как борца за мир) я писал сопоставление, по-нынешнему выражаясь, структурных особенностей «Мистерии-буфф» Маяковского и комедий Аристофана, которые знал, конечно, только по переводам. Потом, вплоть до диплома, писал о литературных сатирах и посланиях Горация: пробовал увязать их с общественной и политической борьбой при Августе. Вот и влияние советской идеологии: ему ничуть не мешал мой интерес к русским формалистам, которые были совсем не в моде.

Способностей к языкам у меня не было, поэтому я сразу уклонился не в языки, а в литературу. По-латыни читать было легче, чем по-гречески, поэтому латинской литературой я занимался больше – читал сверх программы Светония и Валерия Максима. История языков преподавалась скучно, Эрну и Нидерман были сухи, а общее языкознание нам дали только поздно и кратко – жаль. Трудно ли было учиться? Интересному – нетрудно, а скучному труднее, как всегда. Интересов, кроме учебы, у меня не было (ходил на лекции Бонди по стиховедению, но это тоже учеба), характер у меня необщительный (с одноклассниками два года оставался на

«вы»), поэтому о студенческой жизни рассказывать не решаюсь. Курсом старше нас на классическом училось только три человека, а перед этим три года приема на отделение вообще не было, так что и тут – ни общения, ни преемственности. Легенд на кафедре не было, а если и были, то до нас не доходили. Им неоткуда было взяться: классическая филология всего пятнадцать лет назад была восстановлена как наука, а до этого пятнадцать лет не существовала. При нас на подоконниках стояли коробки с кучами старых бумаг – это были аккуратно написанные от руки программы курсов, распланированных еще в войну в Ашхабаде, где воссоединялся факультет.

Учился я главным образом по книгам и потом объяснял молодым студентам: «Университет – это пять лет самообразования на государственный счет, с некоторыми помехами вроде посещения лекций, но преодолимыми».

ИМЛИ

В Институте мировой литературы – на Поварской, бывшей Воровского, бывшей опять же Поварской, – я прослужил тридцать лет и три года. До мировой литературы в этом доме было управление коннозаводства, а до коннозаводства – дворянский особняк: желтые стены, белые колонны, в бельэтаже – музей Горького, свет и блеск, в тесном и темном нижнем этаже – институт.

Актальный зал – бывший балльный, с хорошей акустикой. Но концы поменялись: где был оркестр, там рядки стульев, а где танцевали, там зеленый стол президиума и кафедра с капризным микрофоном. Шепот в зале хорошо слышен в президиуме, а речи из президиума плохо слышны в зале.

Над президиумом огромный черный бюст Горького. Когда, скучая на заседаниях, смотришь на него, то видишь, что он противоестественно похож на Ленина: как будто Ленину надели косматые волосы и усы Буревестника. По стенам были витрины про мировое значение Горького: обложки по-арабски, афиши по-венгерски, фотографии «На дне» по-китайски. Потом витрины убрали, а в углу под потолком повесили строем фотографии директоров института за сорок лет: от Луппола до Сучкова.

Когда реабилитировали Луппола, в стенгазете напечатали статью «Первый директор нашего института». Перед газетой стояли Егоров и Наркирьер. Один сказал: «Ну вот, уже можно писать историю института». Другой ответил: «Нет, знаете, лучше подождать: ведь Луппол был не первым директором, первым был Каменев».

Когда я поступал в институт, директором был старый рапповец Анисимов: большой, рыхлый, побрякивающий, покрикивающий. Когда молодой Палиевский, либерально призывая свежим взглядом взглянуть на советскую литературу, спешил оговориться: «...нет, конечно, Авербах был злым гением РАППа», – то Анисимов, раскинувшись в кресле, бла-

годушно ворчал: «Ну какой же Леопольд гений? помните, Яков Ефимович?..»

(Яков Ефимович, Жорж Эльсберг, тучное туловище, гладкая голова и глаза как пули. У него припечатанная слава доносчика и губителя. Выжившие возвращались и даже пытались шуметь, но он все так же величаво управлял сектором теории. О разоблаченном Эльсберге кто-то сказал: зачем бить лежащего? Столович ответил: «Он не лежащий, он ползучий». Я не был с ним знаком, но однажды он остановил меня в коридоре, сказал: «Ваша статья о Горации мне понравилась», – и пожал руку. Когда буду писать «мои встречи со знаменитыми людьми», напишу: видел в подворотне Пастернака, чокнулся с Игорем Ильинским, на военном деле меня учил маршировать Зализняк, а Эльсберг пожал мне руку.)

Читать статьи Анисимова никто не мог. И все-таки старая М. Е. Грабарь-Пассек смотрела на него снисходительно. «Вы не думайте, я много преподавала на рабфаках, знаю эту породу из низов, они хорошо рвались к науке. Ну а потом, конечно, каждый делал свою жизнь по-своему».

Самый громкий из рапповцев, Ермилов, демагог всех литературных режимов, тоже кончал век в ИМЛИ. Я его не видел, а только слышал: общеинститутские собрания были многолюдны, не вместившиеся в зал слушали из-за дверей, с широкой балюстрады над мраморной лестницей. У Юрия Олеши в «Трех толстяках» был такой капитан Цереп, от голоса которого возникало ощущение выбитого зуба. Вот та-

кой голос был у Ермилова. О чем он говорил, я не помню.

В этом же зале, в красном и черном, говорились гражданские слова над умершими, и с балюстрады было видно, как по лестнице сплывал в толпе гроб с Анисимовым. Лицо в гробу было похоже на кучу теста.

Здесь же выдвигали на большую премию воспоминания генерального секретаря товарища Брежнева: «Малая земля», «Возрождение», «Целина». Д. Д. Благой, ветеран идеологической пушкинистики, – круглая голова в тюрбете, розовая улыбка и незрячие глаза за очками – с ликующим звоном в голосе восклицал, что это классика исторической прозы, достойная стоять рядом с «Капитанской дочкой» и «Тарасом Бульбой». Зачем он это делал? – спрашивала потом Л. Я. Гинзбург, – членом-корреспондентом он уже был, а полным академиком все равно не стал бы. Значит, бескорыстно, по велению души.

(В молодости Благой писал стихи. В журнальную страницу с его стихотворением в рамочке из розочек была завернута греческая грамматика из библиотеки С. И. Соболевского, которую нам пришлось разбирать; а на обороте начиналась научно-фантастическая повесть: «Ясным весенним утром 1951 года от Кронштадта отплывал ледокол „Святой Георгий“ под командой графа такого-то, направлявшийся исследовать Северный полюс...».)

Однажды дирекция захотела от нашего античного сектора какой-то срочной внеочередной работы. Я с наслаждением

сказал: «Никак нельзя, не запланировано». Директор – почти просительно: «Ну, на энтузиазме – как Возрождение». – «Возрождение было индивидуалистическое, а у нас труды коллективные». Лица окружающих стали непроницаемыми, а мне объяснили, что речь идет о «Возрождении» товарища Брежнева. «В таком случае прошу считать сказанное игрой слов». Это было уже при директоре Бердникове – том, который когда-то, в 1949-м, был деканом в Ленинграде и делал там погром космополитов, а помощником его был Ф. Абрамов, позже – уважаемый писатель.

При директорах были заместители, ученые секретари, парторги. Заместителем был В. Р. Щербина («Ленин и русская литература»). Директора сменялись, а он сидел: бурый, деревянный, поскрипывающий, с бесцветными глазами, как будто пустивший корни в своем кресле. Почерк у него был похож на неровную кардиограмму. Мы спрашивали институтских машинисток, как они с такого почерка печатают, они сказали: «Наизусть».

(А мне хочется помянуть его добром за то, что я слышал от него запомнившийся рассказ – в застолье, после защиты одного грузинского диссертанта. Ездил он по делам Союза писателей в Тбилиси к их начальнику Григорию Леонидзе. Кончили дела, пошли в ресторан, отдыхают. Подходит официант, говорит: «В соседней комнате пирует бригада рабочих, сдавших постройку, они узнали, что здесь поэт Леонидзе, и хотели бы его приветствовать». Пошли в соседнюю ком-

нату. И там каждый из этих рабочих поднял тост за поэта Леонидзе, и каждый прочитал на память что-то из его стихов, и ни один не повторился. Но это уже не относится к Институту мировой литературы.)

Когда Щербина кончился, заместителем директоров стал П. Палиевский. На одной конференции в этом же зале он мне сказал: «Я всегда восхищаюсь, как четко вы формулируете все то, что для меня неприемлемо». Я ответил: «Моя специальность – быть адвокатом дьявола».

Здесь устраивались историко-литературные юбилеи. Каждый сектор подавал план на будущий год: будут круглые даты со дня рождения и смерти таких-то писателей. Вольтер и Руссо умерли в один год, их чествовали вместе. «Всю жизнь не могли терпеть друг друга, а у нас – рядом!» – сказал Аверинцев.

«Ну, у вас, античников, как всегда, никаких юбилеев?» – устало спросил, составляя план, секретарь западного отдела старый циник Ф. С. Наркирьер с отстреленным пальцем. «Есть! – вдруг вспомнил я. – Ровно 1900 лет назад репрессированы Нероном сразу Сенека, Петроний и Лукан». – «Репрессированы? – проницательно посмотрел он. – Знаете, дата какая-то некруглая: давайте подождем еще сто лет».

Юбилейные заседания были очень скучные, явка обязательна. На пушкинском юбилее рядом тосковала Е. В. Ермилова – та, у которой в статьях даже Кузмин получался елейным и богоугодным. Когда в третий раз с кафедры проци-

тировали «На свете счастья нет, но есть покой и воля», она вздохнула: «А что же такое счастье, как не покой и воля?» Я подумал: «а ведь правда»...

Сучков

Считалось, что лучшим директором Института мировой литературы на нашей памяти был Б. Сучков: умный и не злой. Я тоже так думаю. Но моя приязнь к нему – скорее за одно-единственное слово, сказанное с неположенной для директора интонацией.

Он был сытый, важный, вальяжный, барственный. Когда-то начинал делать большую карьеру при ЦК, вызвал зависть, попал на каторгу, после возвращения был в редколлегии «Знамени», а потом стал директором ИМЛИ. Говорил по-немецки, а это в Институте мировой литературы уметь не каждый. Переводил на официальный язык Фейхтвангера, Манна и Кафку, и оказывалось: да, в их мыслях ничего опасного нет, их можно спокойно печатать по-русски. А роман Достоевского «Бесы» нужно не замалчивать, а изучать, потому что это – предупреждение о китайской культурной революции. Тогда, в 1971-м, только такая логика и допускалась.

К институтским ученым он относился с откровенным презрением. На расширенном заседании дирекции говорил: «Ну вот пишете вы о революционных демократах, а кто из вас читал Бокля? Поднимите руки!» Ни один маститый не под-

нял. Мне стало так стыдно, что я поднял руку, — хоть и не имел на это права: я читал не Бокля, а Дрэпера.

Наш античный сектор готовил сборники «Памятники средневековой латинской литературы». До этого о такой поповской литературе вообще не полагалось говорить. В 1970-м вышел первый том, в 1972-м второй. Мы, конечно, отбирали тексты самые светские и просветительские, но все равно в них на каждой странице были и *Бог Отец*, и *Сын*, и *Дух Святой*, все с большой буквы. Кто-то заметил и обратил на это внимание высокого начальства. Высоким начальством был вице-президент Академии Федосеев, имя его было нарицательным еще со сталинских времен.

Мне позвонили из института: в 10 часов явиться к директору. Я пришел, его еще нет, жду у него в кабинете. Размашисто входит Сучков; снимая пальто, вполоборота говорит: «Ну что, неприятности из-за вас?!» Я не успел поставить голос и спросил по-обыкновенному просто: «От кого?» И он, шагая от дверей к столу, так же, по-разговорному просто ответил: «От Федосеева». А потом сел за директорский стол и начал говорить по-положенному — официально и властно. Вот эту человеческую интонацию одного только слова я и запомнил, потому что больше ни при каких обстоятельствах, никогда и ни от кого из начальства я таких не слышал.

Официальных разговоров было еще много. Весь сектор вызывали к директору, и он объяснял нам, какая была мракобесная средневековая культура. Мы говорили «понима-

ем», но, видимо, недостаточно убежденно, и Сучков усиливал гиперболы. Когда он сказал, что в европейских монастырях процветало людоедство, я заволновался и раскрыл рот. Аверинцев, сидевший рядом, меня удержал. Потом он сказал мне: «Вы хотели выйти из роли».

Венцом события должно было быть осуждение работы на заседании Отделения литературы и языка под председательством командующего филологией, академика М. Б. Храпченко. Я написал признание ошибок по всем требованиям этого жанра и прочитал его по бумажке. Бумажка у меня сохранилась.

Сосредоточившись на историко-литературных проблемах, мы упустили из виду близкие цели нашей науки в условиях современной идеологической борьбы вообще и антирелигиозной пропаганды в частности. Показ и разбор памятников отодвинул на второй план их прямую оценку с точки зрения сегодняшнего дня. За выявлением гуманистических тенденций в культуре средневековья утратилась критическая характеристика средневекового религиозного обскурантизма в целом, крайне актуальная в современной идеологической обстановке. Ошибки такого рода привели к объективизму, к потере идейно-политического прицела, к идеологической близорукости в работе. Предложенный в книге подбор текстов (одну пятую часть которого составляют тексты с религиозной тематикой) может быть ложно понят массовым читателем. Руководящие высказывания Маркса

и Энгельса о средневековье и средневековой культуре не использованы в должной мере. Коллектив античного сектора признает указанные критикой ошибки «Памятников средневековой латинской литературы» и примет меры к тому, чтобы полностью изжить их в дальнейшей работе.

После такого отчета обсуждение на отделении стало вялым. Взбодрить его попробовал Р. А. Будагов, академик по романской филологии (когда-то элегантно читавший нам, первокурсникам, введение в языкознание по товарищу Сталину). Какой у него был интерес, я не знаю. Вот тут Сучков взметнулся громохочущим голосом: «Мы признаем свои ошибки, но мы не допустим, чтобы ошибки идеологические выдавались за политические. Книга прошла советскую цензуру и была признана пригодной для издания; те, кто в этом сомневаются, слишком много на себя берут...» и т. д. Конечно, он защищал собственную репутацию, но делал это не за наш счет — и на том ему спасибо.

Третий том «Памятников средневековой латинской литературы» был уже готов к печати; его вернули на доработку под надежным надзором Самарина. Дорабатывали его трижды, всякий раз применительно к новым идеологическим веяниям. Один раз он даже попал в издательство, два месяца редактировался до идеального состояния и все-таки был возвращен — на всякий случай. Так он и не вышел за тридцать лет.

Через год после того заседания Аверинцев летел на кон-

ференцию в Венгрию: дальше тогда не пускали. В самолете ему случилось сидеть рядом с Храпченко. Храпченко посмотрел на него проницательно и сказал: «А ведь неискренно покаялся тогда Гаспаров! неискренно!»

Я почти уверен: причиной всему было то, что в «Памятниках латинской литературы» слово «Бог» было напечатано с большой буквы. Это раздражало глаз Федосеева и других. Но теперь, кажется, наоборот, слово «Бог» полагается писать с большой буквы даже у Маяковского.

Самарин

Так наказывают власти
Неумеренные страсти.

П. Потемкин

В институте умер очередной директор, наступило междоусобице. Все имена возможных кандидатов были какие-то слишком бледные. «А почему не Самарин?» – спросил меня знакомый историк. «Он не член партии». – «Странно, – задумчиво сказал мой собеседник, – его нужно бы принять в партию *honoris causa*». Позже я узнал, что Самарин все-таки был членом партии, но, кажется, вскоре после войны его исключили (не по политическим, а по морально-бытовым мотивам), чем, видимо, и объяснялась его сверхосторожность

во всем – избегал любого риска.

Роман Михайлович Самарин заведовал в университете романо-германской кафедрой, а в институте мировой литературы зарубежным отделом. Круглый живот, круглая голова, круглые очки, гладкие волосы. Круглые движения и круглые слова. Западную литературу нам, античникам, изучать было необязательно, но на Самарина мы ходили: читал он красиво. «И вот Боэций с друзьями, сидя в саду, обсуждал диалоги Платона, а из-за ограды виллы слышались песни проходивших солдат на непонятном готском языке. Последний римлянин старался их не замечать; но за ними было будущее». О Боэции в это время мало кто знал даже понаслышке. Но писал Самарин очень мало и очень блекло. Он был карьерист, но осторожнее многих: помнил, что слова – серебро, а молчание – золото. Он много знал не только о Боэции. В наш античный сектор хотел поступить Г. С. Кнабе – античник, он служил на кафедре немецкого языка во ВГИКе. Самарин возражал. Мы думали, что по антисемитству (Кнабе евреем не был, но это неважно). Оказалось, нет. М. Е. Грабарь-Пассек пришла вместе с Кнабе к Самарину, я был при них как секретарь сектора. Сели за тесный стол, и Самарин спросил: «Ну-с, так что с вами было такого-то июня 1944 года?» Выяснилось, что в этот день Кнабе поссорился с воксовским начальством и взял назад уже поданное заявление в партию. Дальнейший разговор стал уже ненужным.

В самаринском отделе работал тогда еще молодой Г. Га-

чев; его отец только что был посмертно реабилитирован. Гачев писал о различном образе космоса в различных национальных сознаниях. «Как будто взбесившаяся газета заговорила языком Андрея Белого!» – тоскливо заметил С. Аверинцев. Но Самарин не любил Гачева за что-то другое. Обсуждалась его работа «Индийский космос глазами древних греков»: если ее не утвердят, то его уволят. Позвали меня как античника, спросили первым. Я сказал: по-видимому, хорошо и утверждения заслуживает, но, конечно, я не специалист и т. д. Самарин стал направлять дальнейшие прения: «Видите, так как античник не считает себя специалистом, то будем осторожны...» Когда он повторил это в третий раз, я сказал: «Еще раз: считаю, что заслуживает утверждения». Работу утвердили, но Гачева все равно уволили. В нашем античном секторе не было тогда заведующего, я больше года числился исполняющим обязанности. Мне сказали: «Директор давно хочет сделать вас заведующим, но Самарин против: он не прощает вам того гачевского заседания». Я не поверил. Но, видимо, это было так: когда меня наконец объявили заведующим, Самарин вызвал меня, встал из-за стола и зычно спросил: «Ну как, будем дисциплинированными?» Я сделал соответственное лицо и ответил: «Так точно!»

Он был родом из Харькова. В начале 1920-х годов там был хороший культурный центр, оттуда вышел А. И. Белецкий, друг моего шефа Ф. А. Петровского: украинский академик, мемориальный бюст у подъезда. Лет через десять после са-

маринской смерти я познакомился в писательском Доме отдыха со старой, доброй и умной переводчицей А. Андрес (письма Флобера и проч.). Она тоже была из Харькова, хорошо знала отца Самарина – гимназический, а потом школьный учитель, это он сделал людьми всех, кто вышел из Харькова. О сыне она говорить избегала. Однажды она упомянула Белецкого. Я ничего не сказал, но она перебила себя: «Вы, верно, слышали, будто Роман Михайлович – незаконный сын Белецкого? Нет? Этот слух пустил сам Роман Михайлович уже после войны – потому что старый Самарин в 1942-м не успел эвакуироваться, оставался в Харькове при немцах и Роман Михайлович боялся, что ему, сыну, это испортит карьеру. А Белецкий появился в самаринском доме, когда Роману было уже лет четырнадцать». После этого я стараюсь о Самарине не вспоминать.

Соболевский

Античным сектором в институте заведовал Сергей Иванович Соболевский. Когда я поступил под его начальство, ему шел девяносто второй год. Когда он умер, ему шел девяносто девятый. Было два самых старых античника: историк Виппер и филолог Соболевский. Молодые с непристойным интересом спорили, который из них доживет до ста лет. Виппер умер раньше, не дожив до девяноста восьми. Он был хороший ученый, я люблю его старый курс греческой исто-

рии. Зато Соболевский знал греческий язык лучше всех в России, а может быть, и не только в России.

Он уже не выходил из дому, сектор собирался у него в квартире. Стол был черный, вроде кухонного, и покрыт газетами. Стены комнаты – как будто закопченные: ремонта здесь не было с дореволюционных времен. У Соболевского было разрешение от Моссовета не делать ремонта, потому что от перекладки книг с его полок может потерять равновесие и разрушиться весь четырехэтажный дом в Кисловском переулке.

Над столом с высочайшего потолка на проводе свисала лампочка в казенном жестяном раструбе. Соболевский говорил: «А я помню, как появились первые керосиновые лампы. Тогда еще на небе была большая комета, и все говорили, что это к войне. И правда, началась франко-прусская война».

Чехов для него был писатель непонятный. «Почему у него архиерей умирает, не дожив до Пасхи? жалко ведь!» «Анна Каренина» была чем-то вроде текущей литературы, о которой еще рано судить. Вот Сергей Тимофеевич Аксаков – это классик.

Он был медленный, мягкий, как мешок, с близорукими светлыми глазками; рука при пожатии – как ватная. Почерк тоже медленный, мелкий и правильный, как в прописях. Подпись – с двумя инициалами и до последней буквы с точкой на конце: *С. И. Соболевский*. Иначе – невежливо. Семидесятилетний Ф. А. Петровский расписывался быстрым

иероглифом, похожим на бантик с фитой в середине, но что с него взять? – молодой.

«Никогда не начинайте писем „уважаемый такой-то“, только „многоуважаемый“. Это дворнику я могу сказать: „уважаемый“».

Античных авторов он читал, чтобы знать древние языки. Когда нужен был комментарий о чем-то кроме языка, он писал в примечании к Аристофану: «Удод – такая птица». О переходе Александра Македонского через снежные горы: «Нам это странно, потому что мы привыкли представлять себе Индию жаркой страной, но в горах, наверное, и в Индии бывает снег». О «Германии» Тацита: «Одни ученые считают, что Тацит написал „Германию“, чтобы предупредить римлян, какие опасные враги есть на севере; другие – что он хотел показать им образец нравственной жизни; но, скорее всего, он написал ее просто потому, что ему захотелось». Две последние фразы – из «Истории римской литературы», которую мне дали редактировать, когда я поступил в античный сектор; я указал на них Ф. А. Петровскому, он позволил их вычеркнуть.

«Вот Соломон Яковлевич Лурье пишет, что Евангелие похоже на речь Гая Гракха: „У птиц – гнезды, у зверей – норы, а человеку нет приюта“. Ну и что? Случайное совпадение. Если Евангелие на что и похоже, то на Меморабилии Ксенофонта», – говорил он. И правда.

Из античных авторов он выписывал фразы на граммати-

ческие правила, из фраз составлял свои учебники греческого и латинского языка – один многотомный, два одготомных. Фразы выписывались безукоризненным почерком на клочках: на оборотах рукописей, изнанках конвертов, аптечных рецептах, конфетных обертках. Клочки хранились в коробках из-под печенья, из-под ботинок, из-под утюга – умятые, как стружки. Он был скуп.

«Какая сложная вещь язык, какие тонкие правила, а кто выдумал? Мужики греческие и латинские!»

Библиотеку свою, от которой мог разрушиться дом, он завещал Академии наук. У Академии она заняла три сырых подвала с тесными полками. Составлять ее каталог вчетвером, по два дня в неделю, пришлось два года. Среди полных собраний Платона ютились пачки опереточных либретто 1900 года – оказывается, был любителем. В книгах попадались листки с русскими фразами для латинского перевода. Некоторые я запомнил: *Недавно в нашем городе была революция. Люди на улицах убивали друг друга оружием. Мы сидели по домам и боялись выходить, чтобы нас не убили.*

«Преподавательское дело очень нелегкое, – говорил он. – Какая у тебя ни беда, а ты изволь быть спокойным и умным».

Была там и мелко исписанная тетрадка, начинавшаяся: «Аа – река в Лифляндии... Абак... Аббат...» Нам рассказывали: когда-то к нему пришел неизвестный человек и сказал: я хочу издать энциклопедию, напишите мне статьи по древности, я заплачу. – «А кто будет писать другие разделы?» –

«Я еще не нашел авторов». – «Давайте я напишу вам все разделы, а вы платите». Так и договорились: Соболевский писал, пока заказчик платил, – кажется, до слова «азалия».

Когда ему исполнилось девяносто пять, университет подарил ему огромную голову Зевса Отриколийского. «И зачем? Лучше бы уж Сократа». За здоровье его чокались виноградным соком. От Академии пришел с поздравлением сам Виноградов, он жил в соседнем доме. Оказалось, кроме славянской филологии в духовной академии Виноградов слушал и античность у старого Зелинского на семинарах-privatissima и помнил, как Зелинский брызгал слезами оттого, что не мог найти слов объяснить, почему так прекрасна строка Горация. С Соболевским они говорили о том, что фамилию Суворов, вероятно, нужно произносить Сýворов, Souwaroff: «сувор» – мелкий вор, как «сукровица» – жидкая кровь.

«А Сергей Михайлович Соловьев мне так и не смог сдать экзамен по греческому языку». Это тот Соловьев, поэт, который дружил с Белым, писал образцово-античные стихотворения и умирал в мании преследования; врач говорил: «Посмотрите мне в глаза. Разве мы хотим вам дурного?» – а он отвечал: «Мне больно смотреть людям в глаза».

Работал Соболевский по ночам под той самой лампой с жестяным абажуром. В предисловии к переводу Эпикура он писал: «К сожалению, я не мог воспользоваться комментированным изданием Гассенди 1649 года. ... В Москве он есть только в Ленинской библиотеке, для занятия дома оттуда

книг не выдают, а заниматься переводом мне приходилось главным образом в вечерние и ночные часы, имея под рукой все мои книги... Впрочем, я утешаю себя той мыслью, что Гассенди был плохой эллинист...» и т. д.

В институте полагалось каждому составлять планы работы на пятилетку вперед. Соболевский говорил: «А я, вероятно, помру». Когда он слег и не мог больше работать, то хотел подать в отставку, чтобы не получать незаслуженную зарплату. Петровский успокаивал его: «У вас, Сергей Иванович, наработано на несколько пятилеток вперед».

Он жил неженатым. Уверяли, будто он собирался жениться, но невеста перед свадьбой сказала: «Надели бы вы, Сергей Иванович, чистую рубашку», – а он ответил: «Я, Машенька, меняю рубашки не по вторникам, а по четвергам», – и свадьба разладилась. Ухаживала за ним экономка, старенькая и чистенькая. Мы ее почти не видели. Лет за десять до смерти он на ней женился, чтобы она за свои заботы получила наследство. Когда он умер, она попросила сотрудников сектора взять на память по ручке с пером из его запасов: он любил писчие принадлежности. Мне досталась стеклянная, витая жгутом, с узким перышком. Я ее потерял. Правда, потом, после публикации этих воспоминаний, мне специально привезли такую же из Венеции.

СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ

Есть такая награда – Государственная премия Российской Федерации: отдельно за литературу и искусство и отдельно, кажется, за науку и технику. При Сталине она называлась Сталинской премией (и выплачивалась не из бюджета, а из гонораров за переиздания его трудов), после Сталина – Государственной премией СССР, а после СССР все запутались и уже не помнили, откуда она взялась и что значит. Получали ее идейно выдержанные писатели и артисты, иногда хорошие, иногда плохие.

Было «общество независимой интеллигенции» под названием «Мир культуры». В нем числились писатели Фазиль Искандер, Андрей Битов, композитор Шнитке, режиссер Любимов, Аверинцев, академик Лихачев, митрополит Питирим, а дела делали люди менее знаменитые и мало мне знакомые. Я думал, что оно давно развалилось, а оказалось, оно еще существовало. Когда я был в американской командировке, мне позвонила жена и сказала, что «Мир культуры» выдвинул меня на Государственную премию. Я сказал: «С ума они сошли». Выдвигать можно было работы последних лет, а у меня таких работ было всего лишь научно-популярная книжка по занимательному стихосложению и перевод с латинского стихов Авсония со статьей и комментарием; кто такой Авсоний, об этом даже среди филологов знал не вся-

кий.

Кто присуждал премии, я не знаю. Список награжденных оказался пестрым. Там были эстрадная звезда Алла Пугачева, руководитель иконописной школы архимандрит Зинон, старый фронтовой поэт Юрий Левитанский, православный композитор Свиридов и Лидия Чуковская (за «Записки об Ахматовой» – бывшая Сталинская премия!); там же оказался и я. Позвонили по телефону, сказали жене: 7 мая будут торжественно вручать аттестаты. «Где?» – «В Георгиевском зале». – «Где это?» С презрением в голосе объяснили: в Кремле. «У вас, конечно, есть машина?» – «Нет». – «Тогда за вами заедут».

Приехала широкая расседистая машина, в ней сопровождающая дама. При въезде в Кремль – вдали видны огромные буквы «Россия»: это на гостинице в Зарядье. При входе в зал – картина во всю стену, вроде очень пестрой гигантомахии: кони, кольчуги и луки, видимо Ледовое побоище или Куликовская битва. В зале скамьи обтянуты георгиевскими цветами, рыжим и черным, чтобы сидеть на них задом. «Вон – три микрофона, средний с орлом – президентский, когда вызовут – подойдите туда, а для ответного слова – к правому». От мысли об ответном слове («две-три фразы!») мне стало нехорошо. Постепенно набирался народ: мешковатый седой Левитанский; режиссер Покровский с носом как хобот; «вон в первом ряду кудрявые затылки: рыжий – это Пугачева, а черный – Киркоров».

Полный свет, музыка-туш, входит Ельцин с калашной улыбкой, все встают, как перед учителем. Перед орленным микрофоном он читает одобрителные слова: сперва обо всех («почтить высший смысл жизни и ее предназначение...»), потом о каждом. Поэт Владимир Соколов – съезженный, с палочкой и бабочкой – получает Пушкинскую премию и говорит ответные слова: «Пушкин с нами всегда...». За Чуковскую получает премию ее дочь и говорит за нее речь: «В своих записках я старалась создать образ Ахматовой...». Каждому – красный диплом, коробка с орлом, рукопожатие сверху вниз, цветы, поворот в фас, вспышка фото, музыка-туш, аплодисменты. Ельцин – крупный и тяжелый, лауреаты рядом кажутся маленькими (у Гоголя о Собакевиче сказано: «похож на средней величины медведя»). Запнулся на удареии: «икѡнопись? иконописъ?» – из публики подсказывают, но неправильно. К дамам наклоняется и целует в щечку. Кругленькая архитекторша, возвращаясь на свое место, удовлетворенно говорит: «Теперь неделю не буду умываться». Маленькая высохшая Юлия Борисова, которая играла Клеопатру, роняет медаль и падает, путаясь в длинном платье: она больна, ее недавно избили хулиганы на улице. Толстая Пугачева, лицо – как розовая маска, мини-юбка и легионерские ремни по голням, говорит: «Эта премия – олицетворение народной любви...» – и жертвует ее пострадавшим от сахалинского землетрясения. Только Левитанский сказал неположенное: «Я был на двух войнах, и мне горько, что эту

премию мне дают, когда идет третья...» Третья – это чеченская.

Заключительное слово Ельцина: «Вы должны возрождать великую духовность России...» Я записал.

Когда меня поставили к микрофону, я сказал: «Когда я начинал, моя отрасль филологии была несуществующей – идейно подозрительной. Теперь, как я понял, стиховедение получило государственное признание: я благодарен от лица всех ученых, которые им занимаются. Премию получила книга переводов из латинской поэзии. Пушкин сказал: переводчики – почтовые лошади просвещения; я чувствую себя вот такой лошадью, которой после очень большого перегона засыпали овса». Кроме пушкинского у меня на уме был другой подтекст, из Гумилева: «Мой биограф будет очень счастлив, будет улыбаться два часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса...» – но я его не подчеркивал. Так как это была единственная шутка за всю церемонию, то ее показали в «последних известиях» по телевизору; потом меня поздравляли с фразой про овес. А когда говорили «поздравляем с премией!», я отвечал: «Со Сталинской!» – и поздравлявшие смущались.

Премии я был рад по двум причинам: во-первых, деньги всегда нужны, а во-вторых, вторым кандидатом на премию по литературоведению был Никита Струве с книгами «Мандельштам» и «Литература и православие»; если премирующие предпочли не его – значит, критерий «православие – са-

модержавие – народность» еще не стал определяющим для нашего начальства. Не знаю, надолго ли.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БОБРОВЕ

Когда мне было двенадцать лет, я гостил летом в писательском Переделкине у моего школьного товарища. Он был сыном критика Веры Смирновой, это о нем упоминал Борис Пастернак в записях Л. Чуковской: «Это человеческий детеныш среди бегемотов». Он утонул, когда нам было по двадцать лет. Тогда, в детское лето, у Веры Васильевны была рукопись, которая называлась «Мальчик». Автором рукописи был седой человек, большой, крепкий, громкий, с палкой в размашистых руках. Он бранился на неизвестных мне людей, бросался шишками, собаку Шарика звал Трехосным Эллипсоидом, играл в шахматы, не глядя на доску, читал Тютчева так, что я до сих пор слышу «Итальянскую виллу» его голосом, и уничтожал меня за недостаточный интерес к математическим наукам. Его звали Сергей Павлович Бобров; имя это ничего нам не говорило.

Через два года вышла его книга «Волшебный двурог» – вроде «Алисы в стране математических чудес», где главы назывались схолиями, отступления были интереснее сюжета, шутки – лихие, картинки – Конашевичевы, а заглавная геометрическая фигура с полумесяцем не имела никакого отно-

шения к действию. За непедagogическую яркость книгу тотчас разгромила твердая газета «Культура и жизнь». Следующая «занимательная математика» Боброва появилась через несколько лет и была надсадно-бледная. Но мы уже знали, что Бобров был поэтом, и читали в старых альманахах «Центрифуги» («такой-то турбогод») его малопонятные стихи и хлесткие рецензии: «Ну что же, дорогой читатель, наденем калоши и двинемся вглубь по канализационным тропам „Первого журнала русских футуристов“...»¹⁰. Видели давний силуэт работы Кругликовой – усы торчат, губы надуты, над грудой бумаг размахивается рука с папиросой, сходство – как будто тридцати лет и не бывало. Это была невозвратная история. Когда потом в оттепельной «Литературной Москве» вдруг появились два стихотворения Боброва, филологи с изумлением говорили друг другу: «А Бобров-то!...»

Когда мне было двадцать пять лет, в Институте мировой литературы начала собираться стиховедческая группа. Ее можно было назвать клубом неудачников. Все старшие участники помнили, как наука стиховедения была отменена почти на тридцать лет, а их собственные работы в лучшем случае устаревали на корню. Председательствовал Л. И. Тимофеев, приходили Бонди, Квятковский, Никонов, Стеллецкий, один раз появился Голенищев-Кутузов. У Бонди была книга о стихе, зарезанная в корректуре. Штокмар в де-

¹⁰ Все цитаты – по памяти, кроме немногих обозначенных. Прошу прощения у филологов.

прессии сжег полную картотеку рифм Маяковского. Нищий Квятковский был принят в Союз писателей за считанные годы до смерти и представляемые в комиссию несколько экземпляров своего «Поэтического словаря» 1940 года собирал по одному у знакомых. Квятковский отбыл свой срок в 1930-х на Онеге, Никонов в 1940-х – в Сибири, Голенищев в 1950-х – в Югославии: там, в тюрьме у Тито, он сочинял свою роспись словоразделов в русском стихе (все примеры – по памяти), вряд ли подумав, что это давно уже сделал Шенгели.

Бобров появился на первом же заседании. Он был похож на большую шину, из которой наполовину вышел воздух: такой же зычный, но уже замедленный. После заседания я одолел робость и подошел к нему: «Вы меня не помните, а я вас помню: я тот, который с Володей Смирновым...» – «Аа, да, конечно, Володя Смирнов, бедный мальчик...» – и он позвал прийти к нему домой. Дал для испытания два своих непечатавшихся этюда, «Ритмолог» и «Ритор в тюльпане», и один рассказ. В рассказе при каждой главе был эпиграф из Пушкина (А. П.), всякий раз прекрасный и забытый до неузнаваемости («Летит испуганная птица, услыша близкий шум весла» – откуда это?). В «Риторе» мимоходом было сказано: «Говорят, Достоевский предсказал большевиков, – помилуйте, да был ли такой илот, который не предсказал бы большевиков?» «Илот» мне понравился.

Я стал бывать у него почти каждую неделю. Это продолжалось десять лет. Когда я потом говорил о таком сроке

людям, знавшим Боброва, они посматривали на меня снизу вверх: Бобров славился скверным характером. Но ему хотелось иметь собеседника для стиховедческих разговоров, и я оказался подходящим.

Как всякий писатель, а особенно вытесненный из литературы, он нуждался в самоутверждении. Первым русским поэтом нашего века был, конечно, он сам, а вторым – Пастернак. Особенно Пастернак тех времен, когда он, Бобров, издавал его в «Центрифуге». «Как он потом испортил „Марбург!“ Только одну строфу не тронул, да и то потому, что ее процитировал Маяковский и сказал: „гениальная“». Уверял, что в молодости Пастернак был нетверд в русском языке: «Бобров, почему вы меня не поправили: „падет, главою очертя“, „а вправь пойдет Евфрат“? – а теперь критики говорят: неправильно». – «А я думал, вы нарочно». С очень большим уважением говорил об отце Пастернака: «Художники знают цену работе, крепкий был человек, Борису по струнке приходилось ходить. Однажды спросил меня: у Бориса настоящие стихи или так? Я ответил». *Ответил* – было, конечно, главное. Посмертно опубликованную автобиографию Пастернака «Люди и положения», где о Боброве было упомянуто мимоходом и неласково, он очень не любил и называл не иначе как «апокриф». К роману «Доктор Живаго» был равнодушен, считал его славу раздутой. Но выделял какие-то подробности предреволюционного быта, особенно душевного быта: «очень точно». Доброй памяти об этом вре-

мении у него не было. «На нас подействовал не столько 1905 год, сколько потом реакция – когда каждый день раскрываешь газету и читаешь: повешено столько-то, повешено столько-то».

Об Асееве говорилось: «Какой талант! И какой был легкомысленный: ничего ведь не осталось. Впрочем, вот теперь премию получил, кто его знает? Однажды мы от него уходили в недоумении, а Оксана выходит за нами в переднюю и тихо говорит: вы не думайте, ему теперь нельзя иначе, он ведь лауреат». Пастернак умирал гонимым, Асеев признанным, это уязвляло Боброва. Однажды, когда он очень долго жаловался на свою судьбу со словами «А вот Асеев...», я спросил: «А вы захотели бы поменяться жизнью с Асеевым?» Он посмотрел так, как будто никогда об этом не задумывался, и сказал: «А ведь нет».

«Какой был слух у Асеева! Он был игрок, а у игроков свои суеверия: когда идешь играть, нельзя думать ни о чем божественном, иначе – проигрыш. Приходит проигравшийся Асеев, сердитый, говорит: „Шел – все церкви за версту обходил, а на Смоленской площади вдруг – извозчичья биржа и огромная вывеска ‘Продажа овса и сена’, не прочесть нельзя, а это ведь все равно, что ‘Отца и Сына!’“ А работать не любил, разбрасывался. Всю „Оксану“ я за него составил. У него была – для заработка – древнерусская повесть для детей в „Проталинке“, я повынимал оттуда вставные стихи, и кто теперь помнит, откуда они? „Под копыта казака – грянь!

брань! гинь! вран!“»

Читал стихи Бобров хорошо, громко подчеркивая не мелодию, а ритм, – стиховедческое чтение. Я просил его показать, как «пел» Северянин, – он отказался. А как вбивал в слушателей свои стихи Брюсов, показал – «Демон самоубийства», то чтение, о котором говорится в автобиографическом «Мальчике»: «Своей – улыбкой, – странно – длительной, – глубокой – тенью – черных – глаз – он часто, – юноша – пленительный, – обворожает – скорбных – нас...» («А интонация Белого записана: Метнер написал один романс на его стихи, где нарочно воспроизвел все движения его голоса, какой, не помню». Я стал расспрашивать о Белом – он дал мне главу из «Мальчика» с ночным разговором, очень хорошую, но ничего не добавил.)

«Брюсов не только сам все знал напоказ, но и домашних держал так же. Мы сидим у него, говорим о стихах, а он: „Жанночка, принеси нам тот том Верлена, где аллитерация на л!“ – и Жанна Матвеевна приносит том, раскрытый на нужной странице». Кажется, об этом вспоминали и другие: видимо, у Брюсова это был дежурный прием. «Мы его спрашивали: Валерий Яковлевич, как же это вы не отстояли „Петербург“ Белого для „Русской мысли“? Он разводит руками: „Прихожу я спорить к Струве, он выносит рукопись: „А вы видели, что тут целая страница – о том, как блестит паркетина в полу. По-вашему, можно это печатать?“ Смотрю – и верно, целая страница. Как тут поспоришь?» «Умирал – за-

травленный. Эпиграмму Бори Лапина знаете: „И вот уж воет лира над тростью этих лет“? Тогда всем так казалось. Когда он умер, Жанна Матвеевна бросилась к профессору Кончаловскому (брат художника, врач): „Доктор, ну как же это?“ А он буркнул: „Не хотел бы – не помер бы“».

«А Северянина мы всерьез не принимали. Его сделал Федор Сологуб. Есть ведь такое эстетство – наслаждаться плохими стихами. Сологуб взял все эти его брошюрки, их было под тридцать, и прочитал от первой до последней. Отобрал из них что получше, добавил последние его стихи – и получился „Громокипящий кубок“. А в следующие свои сборники Северянин стал брать все, что Сологуб забраковал, и понятно, что они получались один другого хуже. Однажды он вернулся из Ялты, потратившись в пух и прах. Там жил царь, – так вот, когда Северянин ездил в такси, ему устраивали овации громче, чем царю. Понятно, что Северянин только и делал, что ездил в такси. А народ тоже понимал что к чему: к царю относились – известно как, вот и усердствовали для Северянина».

Одно неизданное асеевское стихотворение я запомнил в бобровском чтении с первого раза. «Сидел Асеев у меня вечером, чай пили, о стихах разговаривали. Ушел – забыл у меня пальто. Наутро пришел, нянька ему открыла, он берет пальто и видит, что на окне стоит непочатая бутылка водки. Он ужасно обижен, что вчера эта бутылка не была употреблена по назначению, и пишет мне записку. Прихожу – читаю

(двенадцать строчек – одна фраза): „У его могущества, / кавалера Этны, / мнил поять имущество, / ожидая тщетно, – / но, как на покойника, / с горнего удела / (сиречь, с подоконника) / на меня глядела – / та, завидев коюю / (о, друзья, спасайтесь!), / ввергнут в меланхолию / Юргис Балтрушайтис“». Следовало пояснение об уединенных запоях Балтрушайтиса. «Почему „кавалера Этны“?» – «Это наши тогдашние игры в Гофмана». – «И „Песенка таракана Пимрома“ – тоже?» – «Тоже». Но точнее ничего не сказал.

Бобров несколько раз начинал писать воспоминания или надиктовывать их на магнитофон; отрывки сохранились в архиве. Я прошу прощения, если что-то из этого уже известно. «Но, – говорил Бобров, – помните, пожалуйста, что Аристотель сказал: „известное известно немногим“». – «Где?» – «Сказал – и все тут». Я остался в убеждении, что эту сентенцию Бобров приписал Аристотелю от себя, – за ним такое водилось. Но много лет спустя, переводя «Поэтику» Аристотеля (которую я читал по-русски не раз и не пять), я вдруг на самом видном месте наткнулся, словно впервые, на слышанные от Боброва слова: «Известное известно немногим». Аристотель и Бобров оказались правы.

О Маяковском он упоминал редко, но с тяжелым уважением, называл его Маяк. Рассказывал, как однажды сидели в СОПО (Союзе поэтов), пора вставать из-за столиков, Маяковский говорит: «Что ж, скажем словами Надсона: „Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа“ и

т. д.» Бобров поправил: «Пожелаем, только это не Надсон, а Некрасов». Маяковский помрачнел: «Аксенов, он правду говорит?» – «Правду». – «Вот сволочи, я по десяти городам кончал этим свои выступления – и хоть бы одна душа заметила».

Хлебников пришел к Боброву, не зная адреса. Бобров вернулся домой, нянька ему говорит: «Вас ждет какой-то странный». – «Как вы меня нашли?» Хлебников поглядел, не понимая, сказал: «Я – шел – к Боброву». Входила в моду эйнштейновская теория относительности, Хлебников попросил Боброва ему ее объяснить. Бобров с энтузиазмом начал и вдруг заметил, что Хлебников смотрит беспросветно-скучно. «В чем дело?» – «Бобров, ну что за пустяки вы мне рассказываете: скорость света, скорость света. Значит, это относится только к таким мирам, где есть свет; а как же там, где света нет?» Я спросил Боброва, а каковы хлебниковские математические работы. Он сказал, что их носили к такому-то большому математику (я забыл к какому), он читал их неделю и вернул со словами: «Лучше никому не показывайте». Кажется, их потом показывали и другим большим математикам и те отзывались с восторгом, но как-то уклонялись от ответственности за этот восторг.

«Хлебников терпеть не мог умыться: просто не понимал, зачем это нужно. Поэтому всегда был невероятно грязен. Оттого у него и с женщинами не было никаких романов».

По складу своего характера Бобров обо всех говорил что-нибудь неприятное.

«И Аксенова женщины не любили. Он был тяжелый человек, замкнутый, его в румынском плену на дыбе пытали, как при царе Алексее Михайловиче. Книгу его „Неуважительные основания“ видели? Огромная, роскошная; он принес рукопись в „Центрифугу“, сказал: „издайте за мой счет и поставьте вашу марку, мне ваши издания нравятся; я написал книгу стихов ‘Кенотаф’, а потом увидел, что у вас стихи интереснее, и сжег ее“. [Не ошибка ли это? Судя по письмам Аксенова, они в это время были знакомы лишь заочно.] Так вот, „Основания“ он написал для Александры Экстер, художницы, а она его так и не полюбила. А потом для Любови Поповой, художницы, он устроил у Мейерхольда постановку „Великодушного рогоносца“, ее конструкции к „Рогоносцу“ теперь во всех мировых книгах по театру, а она его тоже так и не полюбила». Мария Павловна, жена Боброва, переводчица (ее прозвище было Белка, Лапин ей когда-то посвятил стихи с геральдикой: «Луну грызет противобелка с герба неложной красоты; но ты фарфор, луны тарелка, хоть и орех для белки ты...»), попробовала вступить за Аксенова; Бобров набросился на нее: «А ты могла бы?» – «Нет, не могла бы».

Поэт Иван Рукавишников, Дон Кихот русского триолета, «был алкоголик последней степени: с одной рюмки пьян вдребезги, а через полчаса чист как стеклышко».

Наталья Бенар (та, которая, когда умер Блок и все поэтессы писали грустные стихи, как у них был роман с Блоком, одна писала грустные стихи, как у нее не было романа с Блоком) «носила огромные шестиугольные очки – чтобы скрыть шрамы: какой-то любовник разбил об нее бутылку». («Спилась из застенчивости», – прочитал я потом о ней у О. Мочаловой.)

«Борис Лапин (какой талантливый молодой человек!), кажется, был вначале кокаинистом».

«Вадим Шершеневич обращался с молоденькой женой как мерзавец, а стоило ей сказать полслова поперек, он устраивал такие сцены, что она начинала просить прощения. Тогда он говорил: „Проси прощения не у меня, а у этой электрической лампочки!“ – и она должна была поворачиваться к лампочке и говорить: „Лампочка, прости меня, я больше не буду“, – и горе ей, если это получалось недостаточно истово, – тогда все начиналось сначала».

«Борис Садовской, чтобы подразнить Эллиса, в номерах „Дон“ натянул на бюст чтимого Данте презерватив. Эллис, чтобы подразнить Садовского – лютого антисемита, который больше всего на свете благоговел перед Фетом и Николаем I, – показывал ему фотографию Фета и говорил: „Боря, твой Фет ведь и вправду еврей, посмотри, какие у него губы!“ Садовской сатанел, бил кулаком по столу и кричал: „Врешь, он – поэт!“»

«Сергей Павлович, – спросил я, – а это Садовского вы

анонсировали в „Центрифуге“: „...сотрудничество кусательнейшего Птикса: берегитесь, меднолобцы“?» – «Садовского». – «Как же он к вам пошел, он же ненавидел футуризм?» – «А вот так».

«Левкий Жевержеев, который давал деньги футуристам на „Союз молодежи“, был библиофил. Это особенная порода, вы ее не знаете. Был я у него, кончился деловой разговор, встали: „Сейчас я покажу вам мои книги“. Отдергивает занавеску, там полки до потолка, книги – такие, что глаза разбегаются, и все в изумительных переплетах. Я, чтобы не ударить в грязь лицом, беру том „Полярной звезды“, говорю: „Это здесь, кажется, был не переиздававшийся вариант такого-то стихотворения Баратынского?..“ – и вдруг вижу, что том не разрезан, а на лице у Жевержеева брезгливейшее отвращение. „Почему?“ – спрашиваю. „А я, молодой человек, книг принципиально! не! читаю!“ – „Почему?“ – „Потому что книги от этого пор-тят-ся“».

«А вы знаете, что в „Центрифуге“ должен был издаваться Пушкин? „Пушкин – Центрифуге“, неизвестные страницы, подготовил Брюсов. Не потому неизвестные, что неизданные, а потому, что их никто не читает. Думаете, мало таких? целая книга! [Я вспомнил эпиграфы, подписанные А. П. Потом в архиве Брюсова я нашел этот его договор с «Центрифугой».] На Пушкине мы однажды поймали Лернера. Устроили публикацию окончания пушкинской „Юдифи“ – будто бы найдено в старых бумагах, в таком-то семействе,

где и действительно в родне были знакомые Пушкина. Лернер написал восторженную статью и не заметил, что публикация помечена, если по новому стилю, первым апреля. Этот номер „Биржевки“, где была статья Лернера, мы потом в каталогах перечисляли в списке откликов на продукцию издательства».

Говоря о стиховедении, случилось упомянуть о декламации, говоря о декламации – вспомнить конструктивиста Алексея Чьи!черина, писавшего фонетической транскрипцией. «У него была поэма без слов „Звонок к дворнику“. Почему? Потому что очень страшно. Ворота на ночь запирались, пришел поздно – звони дворнику, плати двугривенный, ничего особенного. Но если всматриваться в дощечку с надписью, и только в нее, то смысл пропадет и она залязгает чем-то жутким: „ЗъваноГГ – дворньку!“ Это как у Сартра: смотришь на дерево – и ничего, смотришь отдельно на корень – он вдруг непонятен и страшен; и готово – *ля нозе*. Чичерин анонсировал какие-то свои вещи с пометкой „пряничное издание“. Мы с женой получаем посылочку, в ней большой квадратный пряник, на нем неудобочитаемые буквы и фигуры, а сысподу приклеен ярлычок: „Последнее сочинение Алексея Чьи!черина“. Через день встречаю его на Тверской: „Ну как?“ – спрашивает. „Спасибо, очень вкусно было“. – „Это что! – говорит, – самое трудное было найти булочную, чтобы с такой доски печатать: ни одна не бралась!“»

Когда он о ком-нибудь говорил хорошо, это запоминалось

по необычности. Однажды он вдруг заступился за Демьяна Бедного: «Он очень многое умел, просто он вправду верил, что писать надо только так, разлюли-малина». Я вспомнил Пастернака: о том, что Демьян Бедный – это Ганс Сакс нашего времени.

Был поэт из «Правды» Виктор Гусев, очень много писавший дольниками, я пожаловался, что никак не кончу по ним подсчеты; Бобров сказал: «Работяга был. Знаете, как он умер? В войну: в Радиокомитете писал целый день, переутомился, сошел в буфет, выпил рюмку водки и упал. И Павел Шубин так же помер. Говорил, что проживет до семидесяти, все в роду живучие, а сам вышел утром на Театральную площадь, сел под солнышко на лавочку и не встал». Мария Павловна добавила: «В Доме писателей был швейцар Афоня, мы его спрашивали: „Ну как, Афоня, будет сегодня драка или нет?“ Он смотрел на гардероб и говорил: „Шубин – здесь, Смеляков – здесь. Будет!“»

Я не проверял этих рассказов: если они недостоверны, пусть останутся как окололитературный фольклор. Этот Афоня, кажется, уже вошел в историю словесности. Извиняясь за происходящее, он говорил: «Такая уж нынче эпошка».

Бобров закончил московский Археологический институт, но никогда о нем не вспоминал, а от вопросов уклонялся. Зато о незаконченном учении в Строгановском училище и о художниках, которых он знал, он вспоминал с удовольствием. «Они мастеровые люди: чем лучше пишут, тем косно-

язычнее говорят. Илья Машков вернулся из Италии: „Ну, ребята, Рафаэль – это совсем не то. Мы думали, он – вот, вот и вот (на лице угрюмость, руки резко рисуют в воздухе пирамиду от вершины двумя скатами к подножью), а он – вот, вот и вот (на лице бережность, две руки ладонями друг к другу плавными дугами движутся сверху вниз, как по извилистому стеблю)“». Кажется, это вошло в «Мальчика».

Наталья Гончарова иллюстрировала его первую книгу, «Вертоградари над лозами», он готов был признать, что ее рисунки лучше стихов: стихи вспоминал редко, рисунки часто. Ее птицу с обложки этой книги Мария Павловна просила потом выбить на могильной плите Боброва. Ларионова он недолюбливал, у них была какая-то ссора. Но однажды, когда Ларионов показывал ему рисунки – наклонясь над столом, руки за спину, – он удивился напряженности его лица и увидел: Гончарова сзади неслышно целовала его лапищи за спиной. «Она очень сильно его любила, я не знал, что так бывает».

«Малевич нам показывал свой квадрат, мы делали вид, что нам очень интересно. Он почувствовал это, сказал: „С ним было очень трудно: он хотел меня подчинить“. – „Как?“ – „А вот так, чтобы меня совсем не было“. – „И что же?“ – „Я его одолел. Видите: вот тут его сторона чуть-чуть скошена. Это я нарочно сделал – и он подчинился“. Тут мы поняли, какой он больной человек».

Я сказал, что люблю конструкции Родченко. «Родченко

потом был не такой. Я встретил его жену, расспрашиваю, она говорит: „Он сейчас совсем по-другому пишет“. – „Как?“ – „Да так, говорит, вроде Ренуара...“ А Федор Платов тоже по-другому пишет, только наоборот: абстрактные картины». – «Абстрактные в каком роде?» – «А вот как пришел ковер к коврихе, и стали они танцевать, а потом у них народилось много-много коврят».

Федора Платова, державшего когда-то издательство «Пета» (от *петь*), я однажды застал у Боброва. Он был маленький, лысый, худой, верткий, неумолчный и хорохорящийся, а с ним была большая, спокойная жена. Шел 400-летний юбилей Сервантеса, и чинный Институт мировой литературы устроил выставку платовских иллюстраций к «Дон Кихоту». Мельницы были изображены такими, какими они казались Дон Кихоту, – надвигались, вращались и брызгали огнем; это и вправду было страшно.

Больше всего мучился Бобров из-за одной только своей дурной славы: считалось, что это он в последний приезд Блока в Москву крикнул ему с эстрады, что он – мертвец и стихи у него – мертвецкие. Через несколько месяцев Блок умер, и в те же дни вышла «Печать и революция» с рецензией Боброва на «Седое утро», где говорилось примерно то же самое; после этого трудно было не поверить молве. Об этом и говорили, и много раз писали; С. М. Бонди, который мог обо всем знать от очевидцев, и тот этому верил. Я бы тоже поверил, не случись мне чудом увидеть в забытом журнале, не помню

каком, чуть ли не единственное тогда упоминание, что кричавшего звали Струве. (Александр Струве, большеформатная брошюра о новой хореографии с томными картинками.) Поэтому я сочувствовал Боброву чистосердечно. «А рецензия?» – «Ну что рецензия? – хмуро ответил он. – Тогда всем так казалось».

Как это получилось в Политехническом музее, для меня стало понятнее из записок О. Мочаловой, которые я прочел много позже (РГАЛИ, 272, 2, 6, л. 33). После выходки Струве «выскочил Сергей Бобров, как будто и защищая поэзию, но так кривляясь и ломаясь, что и в минуту разгоревшихся страстей этот клоунский номер вызвал общее недоумение. Председательствовал Антокольский, но был безмолвен». Кто знает тогдашний стиль Боброва, тот представит себе впечатление от этой сцены. Струве был никому не знаком, а Боброва знали, и героем недоброй памяти стал именно он.

Собственные стихи Боброва были очень непохожи на его буйное поведение: напряженно-простые и неуклюже-бестелесные. На моей памяти он очень мало писал стихов, но запас неизданных старых, 1920–1950-х годов, был велик. Мне нужно было много изобретательности, чтобы хвалить их. Но одно его позднее стихотворение я люблю: оно называется «Два голоса» (1-й – мужской, 2-й – женский), дата – 1935. На магнитофоне было записано его чтение вдвоем с Марией Павловной: получалось очень хорошо.

1	взлетать	2	он горит
2	И в легкую радугу капель	1	бежит
1	— —	2	И ветер приходит к нему волной
2	И как день золотой сиять	1	Замирает
1	Узорная ходит взлетающей тень	2	Отвечает сумрак лесной
2	убегая	1	И он говорит
1	Горит просторная лень	2	Он легкие песни поет весне
2	узорная	1	Тебе
1	И день говорит и листик	2	и тебе
2	горит	1	Тебе и мне
1	И в ветре раскинувшись	2	Тебе и мне

Проза его – «Восстание мизантропов», «Спецификация идитола», «Нашедший сокровище» («написано давно, в 1930-м я присочинил конец про мировую революцию и напечатал под псевдонимом А. Юрлов») – в молодости не нравилась мне неврастеничностью, потом стала нравиться. Мне кажется, есть что-то общее в прозе соседствовавших в «Центрифуге» поэтов: в повестях Боброва, в забытом «Санатории» Асеева, в ждущих издания «Геркулесовых столпах» Аксенова, в ставшей классикой ранней прозе Пастернака. Но что именно – не изучив, не скажу.

Одна его книга, долго анонсировавшаяся в «Центрифуге», так и не вышла, остались корректурные листы: «К. Бубера. Критика житейской философии». Где-то, по анонсам, было написано, что это был первый русский отклик на философию Мартина Бубера. Это не так: «К. Бубера» – это Кот Бубэра (так звали кота сестер Синяковых, сказал мне А. Е.

Парнис), а книга – пародия на «Кота Мурра», символизм и футуризм, со включением стихов К. Буберы (с рассеченными рифмами) и жизнеописанием автора. Последними словами умирающего Буберы были: «Не мстите убийце: это придаст односторонний характер будущему». Мне они запомнились. Таким образом, и тут вначале был Гофман. Через двадцать с лишним лет после смерти Боброва мне удалось опубликовать «К. Буберу» (с небольшим моим предисловием) в Америке, в Стэнфордском университете.

Из переводов чаще всего вспоминались Шарль ван Лерберг, которого он любил в молодости («Дождик, братик золотой...»), и Гарсиа Лорка. Если бы было место, я бы привел здесь его перевод «Романса с лагунами», о всаднике дон Педро, он очень хорош. Но больше всего он гордился стихотворным переложением «Поэмы о поэте» Сы Кун-ту, двенадцатистишия с заглавиями: «Могучий хаос», «Пресная пустота», «Погруженная сосредоточенность», «И омыто, и выплавлено», «Горестное рвется» и т. д.

«Пришел однажды Аксенов, говорит: „Бобров, я принес вам китайского Хлебникова!“ – и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В. М. Алексеева. Там был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову». В 1932 году Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный. «Пошел в „Интернациональную литературу“, там работал Эми Сяо, помните? такой полпред революционной китайской литературы, стихи

про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой, и он говорит тонким голосом на всю редакцию: „Това-ли-си, вот настоящие китайские стихи!“» После этого Бобров послал свой перевод Алексееву, тот отозвался об Эми Сяо: «профессиональный импотент», но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1969 году в «Народах Азии и Африки», стараниями С. Ю. Неклюдова.

Мария Павловна рассказывала, как они переводили вместе «Красное и черное» и «Повесть о двух городах»: она сидит, переводит вслух на разные лады и записывает, а он ходит по комнате, пересказывает это лихими словами и импровизирует, как бы это следовало сочинить на самом деле. И десятая часть этих импровизаций вправду идет в дело. «Иногда получалось так здорово, что нужно было много усилий, чтоб не впасть в соблазн и не впустить в перевод того, чего у Диккенса быть не могло». Мария Павловна преклонялась перед Бобровым безоглядно, но здесь была тверда: переводчик она была замечательный.

С наибольшим удовольствием вспоминал Бобров не о литературе, а о своей работе в Центральном статистическом управлении. Книгой «Индексы Госплана» он гордился больше, чем изданиями «Центрифуги». «Там я дослужился, можно сказать, до полковничьих чинов. Люди были выучены на земской статистике, а земские статистики, не сомневайтесь, умели знать, сколько ухватов у какого мужика. Потом все

кончилось: потребовалась статистика не такая, какая есть, а какая надобна; и ЦСУ закрыли». Закрыли с погромом: Бобров отсидел в тюрьме, потом отбыл три года в Кокчетаве, потом до самой войны жил за 101-м километром, в Александрове. Вспоминать об этом он не любил, кокчетавские акварели его – рыжая степь, голубое небо – висели в комнате не у него, а у его жены. (Фраза из воспоминаний Марии Павловны: «И я не могла ничего для него сделать, ну разве только помочь ему выжить». Я и вправду не знаю, как выжил бы он без нее.) Первую книжку после этого ему позволили выпустить лишь в войну: «Песнь о Роланде», пересказ для детей размером «Песен западных славян», Эренбург написал предисловие и помог издать – Франция считалась тогда союзником.

О стихе «Песен западных славян» Пушкина он писал еще в 1915 году, писал и все десять своих последних лет. Несколько статей были напечатаны в журнале «Русская литература». Большие, со статистическими таблицами, выглядели они там очень необычно, но редактор В. Г. Базанов (писатели-преддекабристы, северный фольклор) был человек хрущевской непредсказуемости. Бобров ему чем-то понравился, и он открыл ему зеленую улицу. Литературоведы советской формации были недовольны, есениновед С. Кошечкин напечатал в «Правде» заметку «Пушкин по диагонали» (диагональ квадрата статистического распределения – научный термин, но Кошечкин этого не знал). Сорок строчек в «Прав-

де» – не шутка, Бобров бурно нервничал, все его знакомые писали защитные письма в редакцию, даже академик А. Н. Колмогоров.

Колмогоров в это время, около 1960 года, заинтересовался стиховедением, этот интерес очень помог полузадушенной науке встать на ноги и получить признание. Еще Б. Томашевский в 1917 году предложил исследовать ритм стиха, конструируя по языковым данным вероятностные модели стиха и сравнивая их с реальным ритмом. Колмогорову, математику-вероятностнику с мировым именем, это показалось интересным. Он усовершенствовал методику Томашевского, собрал стиховедческий семинар, воспитал одного-двух учеников-стиховедов. Бобров ликовал. А дальше получился парадокс. Колмогоров, профессиональный математик, в своих статьях и докладах обходился без математической терминологии, без формул, это были тонкие наблюдения и точные описания вполне филологического склада, только с замечаниями, что такой-то ритмический ход здесь неслучаен по такому-то признаку и в такой-то мере. Математика для него была не ключом к филологическим задачам, а дисциплиной ума при их решении. А Бобров, профессиональный поэт, бросился в филологию в математическом всеоружии, его целью было найти такую формулу, такую функцию, которая разом описывала бы все ритмические особенности такого-то стиха. Томашевский и Колмогоров всматривались в расхождения между простой вероятностной моде-

лю и сложностью реального стиха, чтобы понять специфику последнего, – Бобров старался построить такую сложнейшую модель, чтобы между нею и стихом никакого расхождения бы вовсе не было. Колмогоров очень деликатно говорил ему, что именно поэтому такая модель будет совершенно бесполезна. Но Бобров был слишком увлечен.

Здесь и случился эпизод, когда Бобров едва не выгнал меня из дому.

В «Мальчике» Боброва не раз упоминается книга, которую он любил в детстве, – «Маугли» Киплинга, и всякий раз в форме «Маули»: «Мне так больше нравится». Не только я, но и преданная Мария Павловна пытались заступиться за Киплинга – Бобров только обижался: «Моя книга, как хочу, так и пишу» (дословно). Такое же личное отношение у него было и к научным терминам. Увлеченный математикой, он оставался футуристом: любил слова новые и звучные. Ритмические выделения он называл «литавридами», окончания стиха – «краезвучиями», а стих «Песен западных славян» – «хореофильным анапестоморфным трехдольным размером». Очень хотел применить к чему-нибудь греческий термин «сизигия» – красиво звучал и ассоциировался с астрономией, которую Бобров любил. Громоздкое понятие «словораздел» он еще в 1920-х годах переименовал по-советски кратко – «слор». Мне это нравилось. Но потом ему понадобилось переименовать еще более громоздкое понятие «ритмический тип слова» (двухсложное с ударением на пер-

вом слоге, трехсложное с ударением на третьем слоге и т. п.): именно после таких слов, справа от них, следовали словоразделы-слоры. Он стал называть словоразделы-слоры «правыми слорами», а ритмические типы слов (сперва устно, а потом и письменно) – «левыми слорами». Слова оказались названы словоразделами: это было противоестественно, но он уже привык.

Колмогоров предложил ему написать статью для журнала «Теория вероятностей» объемом в неполный лист. Бобров написал два листа, а сократить и отредактировать дал мне. Я переделал в ней все «левые слоры» в «ритмотипы слов», чтобы не запутать читателя. Отредактированную статью я дал Боброву. Он, прочитавши, вынес мне ее, брезгливо держа двумя пальцами за уголок: «Возьмите, пожалуйста, эту пародию и больше ее мне не показывайте». Все шло к тому, чтобы тут моим визитам пришел конец. Но статью нужно было все-таки обработать для печати. Я был позван вновь, на этот раз в паре с математиком А. А. Петровым, учеником Колмогорова, удивительно светлым человеком; он потом умер от туберкулеза. Мы быстро и согласно сделали новый вариант, сохранив все «левые слоры» и только внятно оговорив, что это не словоразделы, а слова. Бобров был не очень доволен, но работу принял, и Колмогоров ее напечатал.

От этой статьи пошла вся серия публикаций в «Русской литературе», а потом и большая книга. Книгу он сдал в издательство «Наука», но издательство не спешило, а Бобров уже

не мог остановиться в работе и делал новые и новые изменения и дополнения. Когда редактор смог взяться за рукопись, оказалось, что она уже устарела, а новый вариант ее был еще только кипящим черновиком. Работу отложили, книга так и не вышла. Материалы к ней легли в архив, но из них невозможно выделить никакую законченную редакцию: сам Бобров в последние годы уже не мог свести в них концы с концами.

Сосед Боброва по писательскому дому Ф. А. Петровский, мой шеф по античной литературе, спросил меня: «А вы заметили, в какой подробности устарел силуэт Кругликовой?» Я не знал. «Там у Боброва в руке папироса, а теперь у него в прихожей казенная вывеска: „Не курить“». При мне Бобров уже не курил, не ел сладкого – у него был диабет. Полосы бурной активности, когда он за неделю писал десятки страниц, чередовались с полосами вялого уныния. Кажется, это бывало у него всю жизнь. («Вы недовольны собой? да кто ж доволен собой, кроме Эльснера?» – писал ему еще в 1916 году Аксенов.) Однажды среди стиховедческого разговора он спросил меня: «Скажите, знаете ли вы, что такое ликантропия?» – «Кажется, оборотничество?» – «Это такая болезнь, которой страдал царь Навуходоносор». – «А-а». – «Вы ничего не имели бы против, если бы я сейчас немного постоял на четвереньках?» – «Что вы!» Он встал на коврик возле дивана, постоял минуту, встал, сел и продолжал разговор.

«Сколько вам лет?» – спросил он меня однажды. «Два-

дцать семь». — «А мне семьдесят два. Я бы очень хотел переставить цифры моего возраста так, как у вас». Он умер, когда ему шел восемьдесят второй, это было в 1971 году.

С. С. АВЕРИНЦЕВ

Из разговоров Аверинцева

Разговоры эти начались почти пятьдесят лет назад. Я учился на последнем курсе классического отделения, а он на первом. Ко мне подошел высокий застенчивый молодой человек и спросил моего мнения, почему имя такого-то пифагорейца отсутствует в списке Ямвлиха. Я честно сказал, что никакого мнения на этот счет не имею. Знакомство состоялось, рекомендации были предъявлены самые авторитетные — от Пифагора. Как этот первый разговор продолжался дальше, я не помню. Второй разговор, через несколько дней, был проще: собеседник попросил помочь перевести ему фразу с первой страницы латинского учебника. Это была строчка из «Энеиды»: *Non ignara mali, miseris succurrere disco*. Я ее очень люблю, он оказался тоже к ней неравнодушен. Думаю, что это единственный раз я в чем-то помог Аверинцеву: потом уже помощь была только от него — мне.

Когда-то мы обещали друг другу написать некрологи друг о друге. Мне очень не хотелось выступать в этом жанре. Я

хотел только пересказать кое-что из его суждений на разные темы – то, что запомнилось или записалось. Односторонний интерес к темам целиком на моей совести. Стиль – тоже: это не стенограммы, а конспекты. Сенеке случалось мимоходом пересказывать несколько фраз Цицерона (специалисты знают эти места), – так вот, стиль этих записей относится к настоящему стилю Аверинцева так, как стиль Сенеки к стилю Цицерона. Кое-что из этого вошло потом в опубликованные им работы. Но мне это лучше запомнилось в том виде, в каком проговаривалось в беседах или докладах задолго до публикаций.

«Античная пластика? Пластика – совсем не универсальный ключ к пониманию античности, скорее уж ключ – это слово. Средневековье из античной культуры усваивало именно словесность. Это теперь античность – зримая и молчащая, потому что туристов стало больше, а знающих язык – меньше».

«Романтизм насильственно отваял из античности ее рационалистичность, и осталась только козмопрутковская классика – „Древний пластический грек“, „Спор древних греческих философов об изящном“». (Теперь мне самому пришлось читать курс «Античность в русской поэзии конца XIX – начала XX века» – и начинать его именно со «Спора философов об изящном».)

«Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к образцу и как к истории, отсюда его мгновенная исключи-

тельность. Такова же и веймарская классика».

«Мы уже научились легко говорить „средневековый гуманист“; гораздо труднее научиться говорить (и представлять себе): „ренессансный аскет“, как Томас Мор».

«Риторика есть продолжение логики другими средствами». (Да, риторика – это не значит говорить не то, что думаешь; это значит: говорить то, что думаешь ты, но на языке тех, кто тебя слушает. Будем ли мы сразу подозревать в неискренности человека, который говорит по-английски? Некоторым хочется.)

«Пока похвала человеку и поношение человека розданы двум собеседникам, это риторика; когда они совмещаются в речи Гамлета, они уже не риторика».

«Верлену была нужна риторика со свернутой шеей, но все-таки риторика».

«Время выражается словами чем дальше, тем косвеннее: чем лет двадцать назад возмущались словесно, сейчас возмущаются в лучшем случае пожатием плеч». – «А в прошлом?» – «Может быть, все Просвещение, *erklärte Aufklärung*, и было попыткой высказать все словами».

«Новаторство – это традиция ломать традиции».

«В „Хулио Хуренито“ одно интеллигентное семейство в революцию оплакивает культурные ценности, в том числе такие, о которых раньше и не думали: барышня Леля – великодержавность, а гимназист Федя – промышленность и финансы. Вот так и Анна Ахматова после революции вдруг по-

чувствовала себя хранительницей дворянской культуры и таких традиций, как светский этикет <...> А у Надежды Яковлевны точно таким же образом сложился ретроспективный миф о гимназическом образовании, при котором Мандельштам даже с фрагментами Сапфо знакомился не по переводам Вяч. Иванова, а прямо на школьной скамье».

«Мне бы хотелось написать рефутацию историософии Пастернака в „Охранной грамоте“: венецианская купеческая республика осуждается человеком 1912 года, окруженным Европой 1912 года, то есть той самой разросшейся купеческой республикой, с выводом: к счастью, искусство к этому не имело никакого отношения».

«Как Пастернак был несправедлив к Венеции и буржуазии, так В. Розанов – к журналистике: не тем, что бранил ее, а тем, что бранил ее не как журналист, а как некто высший. Каждый из нас кричит, как в „Русалке“: „Я не мельник, я ворон!“ – поэтому ворон летает много, а мельница не работает».

В. С. сказал о нем: «Аверинцев по-современному всеяден, а хочет быть классически монокультурен». Я присутствовал при долгой смене его предпочтений – этой погоне вверх по лестнице вкусов с тайными извинениями за прежние приязни. Его дразнили словами Ремигия к Хлодвигу: «Фьер сикамбр, сожги то, чему поклонялся...» Но сжигать без сожаления он так и не научился.

«Я все чаще думаю, что пока мы ставим мосты над река-

ми невежества, они меняют свое русло, и новое поколение входит в мир вообще без иерархических априорностей».

«Вам на лекциях присылают записки не по теме?» – «Нет, я слишком зануда». – «А мне присылают. Прислали: верите ли Вы в Бога? Я ответил однозначно, но сказал, что здесь, на кафедре, я получаю зарплату не за это».

«В нашей культуре то нехорошо, что нет места для тех, кто к ней относится не прямо, а косвенно, – для меня, например. В Англии нашлось бы оберегаемое культурой место чудака».

У него попросили статью для «Советской культуры». Он отказался. Посланная сказала: «Мне обещали: если вы напишете, меня возьмут в штат». Он согласился.

«Как ваш сын?» – спросил он меня. «Один день ходил в школу и опять заболел; но это уже норма, а не исключение». – «Ведь, наверное, о нем, как и обо мне в его возрасте, больше приходится тревожиться, когда он в школе, чем когда он болен?»

У него росла дочь. «Я думаю, с детьми нужно говорить не уменьшительными, а маленькими словами. Я бы говорил ей: *пес*, но ей, конечно, говорят: *собачка*». Ничего, сама укоротит.

«Сперва я жалел, а потом стал радоваться, что мои друзья друг на друга непохожи и нетерпимы и поэтому невозможен никакой статичный Averinzhev-Kreis».

«Как вы живете?» – спросил он. «Я – в беличьем колесе, а вы, как я понимаю, под прессом?» – «Да, если угодно, вы

Иксион, а я Сизиф».

Мы с ним очень много лет работали в одном институте и секторе. Привык он к обстановке не сразу. Как-то на общепрофессиональном собрании, сидя в дальнем ряду, мы слушали одного докладчика. С. Ав. долго терпел, потом заволновался и шепотом спросил: «Неужели этот человек существует в самом деле?» Я ответил: «Это мы с вами, Сережа, существуем как воля и представление, а в самом деле существует именно он». Аверинцев замолчал, но потом просительно сказал: «Можно я покажу ему язык?» Я разрешил: «Можно». Он на мгновение высунул язык трубочкой, как нотрдамская химера, и после этого успокоился.

Во время другого похожего выступления он написал мне записку латинскими буквами: «Kogo on choĉet s'est'»? Я ответил греческими буквами: «ΝΑΒΕΡΝΟΕ, ΝΑΣ Σ ΒΑΜΙ, ΝΟ ΝΕ Β ΠΕΡΒΟΥΙΟΥ ΟΤΣΕΡΕΔ'».

Еще на одном собрании он тихо сказал мне: «Вот так и в византийской литературе: там когда авторы спорят между собою, то они настолько укоренены в одном и том же, что трудно понять, о чем спор. Морально-политическое единство византийской литературы. Мы лучше приспособлены к пониманию этого предмета, чем западные византинисты».

Я заведовал античным сектором в Институте мировой литературы, потом уволился, и заведовать стал С. Ав. Ни охоты, ни вкуса к этому занятию у нас одинаково не было. С. Ав. сказал: «Наш покровитель – св. Целестин: это единственный

римский папа, который сложил сан, когда увидел, что был избран только для политической игры. Избрали нового, и это был Бонифаций VIII».

«Я понимаю, что мы обязаны играть, но не обязаны же выигрывать!» Кажется, это сказал я, но ему понравилось.

«Миша, мне кажется, что мы очень многих раздражаем тем, что не пытаемся съесть друг друга». – «И мне так кажется».

Его все-таки приняли в Союз писателей, хотя кто-то и посылал на него в приемную настойчивые доносы. На официальном языке доносы назывались «сигналами», а на неофициальном «телегами». «В прошлом веке было слово доносчик, а теперь? сигнальщик?» «Тележник», – сказал я. – «А я думал, что телега (этимологически) это только о том, что связано с выездами и невыездами».

При первых своих зарубежных командировках он говорил: «Посылающие меня имеют вид тоски, позабавленности и сочувствия».

Возвращаясь, он со вкусом пересказывал впечатления от разницы местных культур. «Ехал я в Швейцарию, а возвращаюсь из Женевы – это совсем разные вещи». «Итальянский коллега мне сказал: напрасно думают, что монашеский устав – норма для соблюдения; он – идеал для вдохновения. Если в уставе написано, что в такой-то момент мессы все должны подпрыгнуть на два метра, а вы подпрыгнете на 75 сантиметров, то в Баварии вам сделают выговор за нарушение

устава, а у нас причтут к святым за приближение к идеалу». Однажды я усомнился, что австрийская культура существует отдельно от немецкой. «Мой любимый анекдот 1918 года, – сказал С. Ав. – Сидят в окопе берлинец и венец; берлинец говорит: „Положение серьезное, но не безнадежное“ – „Нет, – говорит венец, – положение безнадежное, но не серьезное“». В самые последние годы нам все чаще приходилось вспоминать эти реплики.

«Купол св. Петра – все другие купола на него похожи, а он на них – нет».

«Римская культура – открыта, римские развалины вродились в барочный Рим. А греческая – самозамкнута, и Парфенон, повернутый задом к входящему на акрополь, – это все равно, что Т. М., которой я совсем не нужен». (Здесь была названа наша коллега, прекрасный человек и ученый, которая, однако, и вправду ни в чем не соприкасалась с тем, что делал С. Ав.) «А разве это исключение, а не норма?» – спросил я.

«При ошибках в языке собеседник-француз сразу перестает тебя слушать, англичанин принимает незамечающий вид, немец педантически поправляет каждое слово, а итальянец с радостью начинает ваши ошибки перенимать».

Когда у него была полоса любви к Хайдеггеру, он уговаривал меня: «Почитайте Хайдеггера!» Я отвечал, что слишком плохо знаю немецкий язык. «Но ведь Хайдеггер пишет не по-немецки, а по-хайдеггеровски!»

«Мне кажется, для перевода одного стихотворения нужно знать всего поэта. Когда я переводил Готфрида Бенна, мне случалось переносить в одно стихотворение образы из другого стихотворения. [Его редактор рассказывал мне, как с этим потом приходилось бороться.] По отношению к каждому стихотворению ты определяешь дистанцию точности и выдержишь ее. И если даже есть возможность и соблазн в таких-то строчках подойти к подлиннику ближе, ты от этого удерживаешься».

«Тракль так однообразен, что перевести десять его стихотворений легче, чем одно».

«Евангелие в переводе К. – это вроде переводов Маршака, Гинзбурга и Любимова».

«Переводить плохие стихи – это как перебеливать черновики. Жуковский любил брать для перевода посредственные стихи, чтобы делать из них хорошие. Насколько это лучше, чем плохие переводы хороших стихов!»

«Ин. Анненский должен был испытывать сладострастие, заставляя отмеренные стих в стих фразы Еврипида выламываться по анжамбманам». Да, античные переводы Анненского садистичны, а Фета – мазохичны; но что чувствовали, переводя, Пастернак или Маршак, не сомневавшиеся в своей конгениальности переводимым?

«Тибулл в собственных стихах и в послании Горация совершенно разный, но ни один не реальнее другого, – как одно многомерное тело в разных проекциях».

«Киркегор торгуется с Богом о своей душе, требуя расписки, что она дорого стоит. Это виноградарь девятого часа, который ропщет».

«Честертон намалевал беса, с которым [надо] бороться, а Борхес сделал из него бога».

«Бенн говорил на упрек в атеизме: разве я отрицаю Бога? я отрицаю такое свое Я, которое имеет отношение к Богу».

Ему неприятно было, что Вяч. Иванов и Фофанов были ровесниками («Они – из разных эонов!») и что Вл. Соловьев, в гроб сходя, одновременно благословил не только Вяч. Иванова, но и Бальмонта.

«Как слабы стихи Пастернака на смерть Цветаевой – к чести человеческого документа и во вред художественному! ... Жорж Нива дал мне анкету об отношении к Пастернаку; почему в ней не было вопроса: если Вы не хотите отвечать на эту анкету, то почему?».

«Мне всегда казалось, что слово „акмеизм“ применительно к Мандельштаму только мешает. Чем меньше было между поэтами сходства, тем громче они о нем кричали. Я пришел с этим к Н. Я. „Акмеистов было шестеро? но ведь Городецкий – изменник? но Нарбут и Зенкевич – разве они акмеисты? но Гумилев – почему он акмеист?“ Н. Я.: „Во-первых, его расстреляли, во-вторых, Осип всегда его хвалил...“ – „Достаточно! А Ахматова?“ Н. Я. произносит тираду в духе ее „Второй книги“. Так не лучше ли называть Мандельштама не акмеистом, а Мандельштамом?»

«Игорь Северянин, беззагадочный поэт в эпоху, когда каждому полагалось быть загадочным, на этом фоне оказывался самым непонятным из всех. Как у Тютчева: „природа – сфинкс“ и тем верней губит, что „никакой от века загадки нет и не было у ней“».

«Когда Волошин говорил по-французски, французы думали, что это он по-русски? У него была патологическая неспособность ко всем языкам, и прежде всего к русскому! *Преосуществление!*»

«Шпет – слишком немец, чтобы писать несвязно, слишком русский, чтобы писать неэмоционально; достаточно немец, чтобы смотреть на русский материал со стороны, достаточно русский, чтобы...» Тут разговор был случайно прерван.

«Равномерная перенапряженность и отсутствие чувства юмора – вот чем тяжел Бердяев».

Разговор об А. Ф. Лосеве (сорокалетней давности). «Он не лицо и маска, он сложный большой агрегат, у которого дальние колеса только начинают вращаться, когда ближние уже остановились. Поэтому не нужно удивляться, если он начинает с того, что только диалектический материализм дает возможность расцвета философии, а кончает: „Не думаете же вы, будто я считаю, что бытие определяет сознание!“»

«Вы неточны, когда пишете, что нигилизм Бахтина – от революции. У него нигилизм не революционный, а предреволюционный. В том же смысле, в каком Н. Я. М. пишет,

будто символисты были виновниками революции».

«Бахтин – не антисталинское, а самое сталинское явление: пластический смеховой мир, где все равно всему, – чем это не лысенковская природа?»

«Был человек, секретарствовавший одновременно у Лосева и Бахтина; и Лосев на упоминания о Бахтине говорил: „Как, Бахтин? разве его кто-нибудь еще читает?“ – а Бахтин на упоминания о Лосеве: „Ах, Ал. Фед., конечно! как хорошо! только вот зачем он на философские тетради Ленина ссылается? мало ли какие конспекты все мы вели, разве это предмет для ссылок?“»

«Отсутствие ссылок ни о чем не говорит: Бахтин не ссылался на Бубера. Я при первой же встрече (к неудовольствию окружающих) спросил его – почему; он неохотно ответил: „Знаете, двадцатые годы...“ Хотя антисиионизм у нас был выдуман позже».

«Бубера забыли: для одних он слишком мистик, для других недостаточно мистик. В Иерусалиме показать мне его могилу мог только Шураки. Это такой алжирский еврей, сделавший перевод Ветхого Завета, – а для справедливости и Нового, и Корана. Это переводы для переводчиков, читать их невозможно, но у меня при работе они всегда под локтем. Так забудут и Соловьева: для одних – слишком левый, для других – слишком правый».

«На своих предшественников я смотрю снизу вверх и поэтому вынужден быть резким, так как не могу быть снисхо-

дительным».

Одному автору он сказал, что феодализм в его изображении слишком схематичен, тот обиделся. «Можно ли настолько отождествлять себя с собственными писаниями?!»

«Вы заметили у Н. фразу: „символисты впадали в мистику, и притом католическую“? Как лаконично защищает он сразу и чистоту атеизма, и чистоту православия!»

«В какое время мы живем: В., мистик, не выходящий из озарения, выступает паладином точнейшего структурализма, а наш П. – продолжателем Киреевского!»

«Была официальная антропофагия с вескими ярлыками, и был интеллигентский снобизм; синтезировалась же инвективная поэтика самоподразумевающихся необъявленных преступлений. Происходит спиритуализация орудий взаимодействия».

«Нынешние религиозные неофиты – самые зрелые плоды сталинизма. Остерегайтесь насаждать религию силой: нигилисты вырастали из поповичей».

«Необходимость борьбы против нашей национальной провинциальности и хронологической провинциальности».

Он сдал в журнал статью под заглавием «Риторика как средство обобщения», ему сказали: «В год съезда такое название давать нельзя». Статью напечатали под заглавием «Большая судьба маленького жанра».

«История недавнего – военного и околвоенного – времени: 80 процентов общества не желает ее помнить, 20 процен-

тов сделали память и напоминание о ней своей профессией. А вот о татарах или об Иване Грозном помнили все поголовно и без напоминания».

«Сталинский режим был амбивалентен и поэтому живучее гитлеровского: Сталин мог объявить себя отцом евреев или антимарровцем, а Гитлер – за **А** говорить только **Б**. „Кто здесь еврей, решаю я“ – это приписывается Герингу, но сказано было в начале века венским К. Люгером, заигрывавшим одновременно с антисемитами и евреями».

«Становление и конец тоталитаризма одинаково бьют по профессионализму и поощряют дилетантизм: всем приходится делать то, чему не учились».

«Современной контркультуре кажется, что 60-е годы были временем молодых, а нам, современникам, казалось, что это было время оттаявших пятидесятилетних».

Он обиделся, когда его назвали «человеком 70-х годов». Я удивился: а разве были такие годы?

Его выбрали народным депутатом. «Я вспоминал строчку Лукана: *Мил победитель богам, побежденный любезен Катону!* – и чувствовал себя Катоном тринадцать дней, когда на съезде ни разу не проголосовал с большинством».

«На Межрегиональной группе депутатов я однажды сказал: мы здесь не единомышленники, а товарищи по несчастью, поэтому...».

«А. Д. Сахаров составил свой проект конституции, первым пунктом там значилось: „Каждый человек имеет пра-

во на жизнь, свободу и счастье“. В предпоследнем разговоре я сказал ему: „Права на счастье государство гарантировать не может“. – „Но ведь это, кажется, есть в американской конституции?“ – „Нет, в американской Декларации“ (и то не „счастье“, а „стремление к счастью законными способами“). Текст изменили. В самом деле, гарантировать можно разве только честь и достоинство, да и то бывает очень трудно: например, александрийские евреи очень боролись за то, чтобы их секли так-то и так-то, – не оттого, что менее болезненно, а оттого, что менее унизительно».

«Пушкин был слишком эгоцентрист, когда написал Чаадаеву, что не хотел бы себе отечества с иной судьбой. Себе – может быть, а отечеству он мог бы пожелать судьбу и получше».

И вместо заключения: «Нам с вами, Миша, уже поздно писать воспоминания...»

К сожалению, из нас двоих первым умер С. Аверинцев, и некролог пришлось писать мне. Вот он.

Сергей Сергеевич Аверинцев

Сергей Сергеевич Аверинцев был филолог – Филолог с большой буквы, как сказали бы в полуказенном стиле недавних времен. Конечно, он был гораздо больше чем филолог. На нынешнем языке следовало бы сказать: культуролог. Но это слишком нынешнее слово, и Аверинцев его не любил. Не

в последнюю очередь потому, что в нем не было той этимологии, которая есть в слове «филология». Филология – значит любовь к слову. Из всех русских *-логий* это единственная, в которой есть корень «любовь». Это и придает науке филологии особое измерение – человеческое. О нем Аверинцев писал в статье «Похвала филологии» – когда он в 1968 году получил премию Ленинского комсомола за свою работу о Плутархе и едва ли не в первый раз был приглашен выступить в массовой печати; об этом же он писал и в фундаментальной статье «Филология» для Литературной энциклопедии.

Любовь – опасный соблазн: когда этимология разрешает человеку что-то любить, он тотчас ищет в этом права чего-то не любить. Этот соблазн был чужд Аверинцеву: филолог должен любить всякое слово, а не только избранное. Мне дорога его реплика: «Как жаль, что мы не в силах все вместить и все любить». Мало того, когда разрешено любить, то кажется, что разрешено и внушать, навязывать эту любовь своим ближним и дальним. Этого соблазна он тоже избегал: в предисловии к книге «Поэты», к десяти замечательным признаниям в любви к писателям от Вергилия до Честертона, он писал: «Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитарии – хотя бы потому, что у меня нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая обличает последних». Это не случайные слова: молодые слушатели, толпами стекавшие на его выступления, радовались подпасть именно под такой гипноз. Но сам

он совсем не был этому рад. Он говорил: «Кончая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, все совсем наоборот».

Любить – это большая ответственность. У каждого любящего возникает в сознании образ «мой Пушкин» (и т. п.), но не каждый умеет помнить, что настоящий Пушкин больше и важнее этого «моего». В том же предисловии к «Поэтам» Аверинцев писал: «Мне хотелось не столько сделать их „моими“, сколько самому сделать себя – „их“». Не так важно, нравится ли Вергилий нам; важнее, понравились ли бы мы Вергилию. Причастность культуре требует от нас смирения, а не самоутверждения. Он говорил: «Рассуждать о падении культуры бесполезно, пока мы не научимся видеть истинных врагов культуры в самих себе». Филология – это универсальное знание, вырастающее из текстов, но возвращающееся к ним в смиренной заботе о понимании. Филология – это служба общения культур; но она не притворяется диалогом. Прошлые культуры не имели в виду нас и не разговаривают с нами. Филолог – *не собеседник* прошлой культуры, а скромный толмач при ней, пересказывающий слова, не к нему и не к нам обращенные.

Склад его характера был закрытый, монологический, даже с кафедры не наставляющий, а подающий пример для самостоятельной мысли. «Мысль не притворяется движущейся, она дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущение-

нием, что теперь он не знает больше, чем не знал раньше». Но добиться этого ощущения у читателей – и особенно у слушателей – ему решительно не удавалось: наоборот, всех переполняло ощущение окрыляющего понимания. Тому были свои причины. С культурами мы знакомимся, как с людьми: сперва видим в них сходство с нами, а потом отличия от нас. Рассказывая об этих культурах, Аверинцев начинал сразу со второй стадии – с высокой планки знакомства. Поэтому они рисовались необычными, загадочными и пленительными: чудом понятыми. Эту иллюзию чуда переживал каждый, кто слышал его лекции и публичные выступления.

Эти памятные выступления привлекали народ, как при риториках Второй софистики. Он очень хорошо говорил – так, как только и можно при таком ощущении ответственности перед словом. «При советской власти так хорошо говорить уже было диссидентством», – писал младший современник. Я был на первых разрешенных ему лекциях – на историческом факультете, по византийской эстетике. Он ставил очень высокую планку, эти лекции понятны были немногим, но ощущение причастности к большой науке и большой культуре было у всех. Он не радовался такому эффекту, но понимал, что это нужно людям. Он писал: «История литературы – не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать „большим временем“, вместо того чтобы задыхаться в малом». Вот это ощущение дыхания большим временем передавалось слушателям безошибочно. Им казалось, что это

главное. Но для Аверинцева, для филолога, для толмача мировой культуры, это все-таки не было главным.

Слово – это мысль, любовь к слову – это чувство. Соотношению их в слове учит наука риторика – та, о которой Аверинцев писал так много и настойчиво. У Аверинцева было редчайшее качество, которое знали только близкие собеседники: он точно знал, говорит ли он в данный момент как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. В публичных выступлениях оно терялось. Его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленностью и пропускала мимо слуха рациональную строгость. Его глубочайшее уважение к европейскому рационализму, родившемуся из риторики, не находило отклика у читателей и слушателей. Спрос был не на Аристотеля, а на Платона. Аверинцев очень много сделал для русского Платона: он перевел «Тимея». Но в последние годы он говорил: «Меня огорчает нынешняя мода на Платона. Поэтому мне все больше хочется написать апологию Аристотеля. Платон современен, а Аристотель актуален». И писал: «Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяснить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным: архаику и авангард. Похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях».

Все, что мы знаем, – по крайней мере все, в чем мы мо-

жем сами дать себе отчет, который называется «рефлексия» и которого многие, по романтической привычке, так не любят, – все это мы знаем через слово. Это слово не бесплотно: у него есть грамматика, стилистика, поэтика, риторика. Не зная этой органики слова, мы напрасно будем воображать, что постигаем какой бы то ни было дух. Как широко и высоко ни простирались мысли Аверинцева в этой области духа, связь со словом не терялась никогда. Это не всем казалось нужным. Он считал себя учеником А. Ф. Лосева, и Лосев очень ценил его, но говорил: «Только зачем он занимается такими пустяками, как поэтика?»

«К нему приходили за универсальной духовностью», – было сказано в одной статье. Это так. Но лозунгового слова «духовность» я за многие годы разговоров не слышал от Аверинцева ни разу. В книгах его оно попадает, но редко. Потому что Духовность раскрывается нам только через Словесность. И понять слово, несущее духовность, можно только через склонения риторики и спряжения поэтики. Их недостаточно чувствовать: им нужно учиться, а научившись, учить им других. Он говорил мне: «У нас с вами в науке не такие уж непохожие темы: мы все-таки оба говорим о вещах обозримых и показуемых». Выразаться иррационально, пользоваться словом для заклинания и гипноза – это значит употреблять слово не по настоящему назначению. Когда чья-нибудь метафора начинала самоутверждаться, притязая на всеобъясняющий смысл, – например, что греческая культура

пластична, а всякая культура диалогична, — он умел унять ее здоровым переспросом. Не нужно бояться рефлексии: она не отчуждает, она приближает. Избегать рациональности, избегать рефлексии — значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен. «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему» — это вещи взаимосвязанные.

«История духа и история форм духа — разные вещи: христианство хотело быть новым в истории духа, но нимало не рвалось быть новым в истории таких его форм, как риторика». Причастность к засловесному духу и к словесным формам духа сосуществовали в нем, не подменяя друг друга. Божье слово тоже имело свою поэтику и риторiku. Он не спросил бы, как Карл Краус: «Если в начале было Слово, то на каком языке?» — но понял бы этот вопрос. Вера без слов мертва есть.

Он не отождествлял христианства с православием, и многим это не нравилось. «Он не был духовным конформистом», — с пониманием писал он про Григория Нарекаци. В лучшей статье, которую я о нем читал, было сказано: «В других условиях такой человек, как Аверинцев, мог бы, наверно, возглавить какую-нибудь церковную реформу: в нем присутствует как необходимый для всякой религии традиционализм, так и полнейшая незашоренность, бескомпромиссная отвага мысли, не говоря уж о знаниях. Но, видно, время Аверинцева для русского православия еще не наступило».

Первая его книга была о традиционном Плутархе, вторая о малоизведанной византийской поэтике, третья о христианском интернационале «от Босфора до Евфрата». Параллельно, как что-то саморазумеющееся, раскрывалась Европа, от Юнга, Шпенглера и Хёйзинги до Брентано и Си-Эс Льюиса, и Россия, до Мандельштама и Вячеслава Иванова. Казалось естественным, что во всем этом он был как дома; мало кто верил, что свой немецкий язык он знал не отроду, а только со студенческих лет. «Сейчас переводят таким слогом, как будто русский язык уже мертвый и его нужно гальванизировать», – говорил он с обидой о переводах, где стилем считалось употребление «сей» и «кой». Когда за три года до смерти он позволил себе напечатать свои «Стихи духовные», это тоже были стихи филолога: он не изменил своей сути, даже входя в тот мир – и в духовное, и в стихи, – где о филологии у нас принято забывать. (Стихи Вячеслава Иванова тоже были стихами филолога.)

И последней его работой был перевод и комментарий к синоптическим Евангелиям.

Я говорю о том, какой это был большой ученый. Я не могу говорить о том, какой это был большой человек: для этого человеческого измерения моя филология не имеет слов. «О чем нельзя сказать, о том следует молчать». Те, кому выпало счастье расти, слушая его выступления и читая его статьи и книги, расскажут о том, как это помогало им выживать в нелучшие годы советской жизни. Я могу лишь сказать, что

быть рядом с ним и видеть, как он сам рос и становился самим собой, было, может быть, еще большим счастьем, радостью и жизненным уроком.

Филологов много, Аверинцев был один. Потому что сейчас больше ни у кого между нами нет такого целомудренного ощущения человеческого измерения филологии – связи между человеком и тем, что больше человека: словом и Словом.

ИЗ АНКЕТ И ИНТЕРВЬЮ

В конце XIX – начале XX века была такая модная салонная игра – отвечать на анкеты. Одну такую анкету, которую, говорят, дважды заполнял Марсель Пруст, мне предложила моя немецкая коллега Мария-Луиза Ботт на конференции о Пастернаке в Марбурге весной 1991 года. Самое трудное – отнестись к такой анкете серьезно. Трудности привлекают; я старался.

1. *Что для Вас самое большое несчастье?* – Сделать подлость
2. *Где Вам хочется жить?* – Взаперти
3. *Что для Вас совершенное земное счастье?* – Делать свое дело
4. *Какие недостатки Вы извиняете скорее всего?* – Беззлые
5. *Ваши любимые герои в романах?* – Князь Мышкин

6. *Ваша любимая фигура в истории?* – Сократ

7. *Ваши любимые герои в действительности?* – Не встречал

8. *Ваши любимые герои в литературе?* – Тоже

9. *Ваш любимый художник?* – Рембрандт и Мондриан

10. *Ваш любимый композитор?* – Нет

11. *Какие свойства Вы цените больше всего в мужчине?*
– Ясность ума

12. *Какие свойства Вы цените больше всего в женщине?*
– Спокойствие сердца

13. *Ваша любимая добродетель?* – Нет

14. *Ваше любимое занятие?* – Книжки

15. *Кем или чем Вам хотелось бы быть?* – Человеком

16. *Главная черта Вашего характера?* – Робость

17. *Что Вы цените больше всего в Ваших друзьях?* – Непохожесть на меня

18. *Ваш главный недостаток?* – Бесчувственность

19. *Ваша мечта о счастье?* – Отдых в могиле

20. *Что для Вас было бы самым большим несчастьем?* – См. вопрос № 1

21. *Кем Вам хочется быть?* – См. вопрос № 15

22. *Ваш любимый цвет?* – Синий

23. *Ваш любимый цветок?* – Нет

24. *Ваша любимая птица?* – Der Zaunkönig (королек из басни Гриммов)

25. *Ваш любимый писатель?* – Пушкин

26. *Ваш любимый лирик?* – Верлен

27. *Ваши герои в действительности?* – Не встречал

28. *Ваши герои в истории?* – Оставшиеся неизвестными

29. *Ваши любимые имена?* – Constantia

30. *Что Вы презираете больше всего?* – Ничего

31. *Какие исторические фигуры Вы презираете больше всего?* – Никого

32. *Какие военные достижения Вы уважаете больше всего?* – Того генерала, которому поставили памятник за то, что он не пролил ничьей крови

33. *Какие реформы Вы уважаете больше всего?* – Нужные

34. *Каким естественным даром Вам хотелось бы обладать?* – Добротой

35. *Как Вам хочется умереть?* – Вовремя

36. *Ваше теперешнее расположение духа?* – Усталость

37. *Ваш девиз?* – На лицевой стороне: «Non ignara mali, miseris succurere disco» (Горе я знаю – оно помогать меня учит несчастным – из «Энеиды»); на оборотной: «Возьми все и отстань» (из Салтыкова-Щедрина).

На что, по-Вашему, больше всего похожа эта анкета? – На разговор Панурга с Фредоном.

Из интервью

– *Какая, по-Вашему, связь между наукой и идеологией?*

– Идеология как система навязываемых взглядов суще-

ствуется всегда, если не как догма, то как мода. Я могу выделить и то, что во мне от марксизма, и то, что от реакции на него. Моим стиховедению и общей поэтике одинаково неуютно и в советском, и в постсоветском идеологическом климате: там они слишком далеки от обязательной идейности, тут – от обязательной духовности. Сказать то, что ты хочешь сказать в науке, можно всегда: на то мы и учимся риторике. Смена режима сказалась в том, что раньше мне нужно было треть сил тратить на риторические способы приемлемым образом высказать то, что я думаю, а теперь этого не нужно; так что я полагаю, что теперь жизнь все-таки пока лучше. Во всяком случае, для меня, старого и безопасного. Лучше ли для молодых, которые должны пользоваться понятиями Деррида и Флоренского, как мы должны были понятиями Маркса, – в этом я не так уверен.

– *В чем Вы больше западный, а в чем российский?*

– Все хорошее в науке – общее для России и Запада. Все недостатки в ней – национальные: от русской, немецкой и прочей ограниченности. Если мне укажут мои недостатки (со стороны виднее), то скорее всего они окажутся российскими.

– *Каково будущее России? С какими процессами Вы его связываете?*

– Все то же: Россия по-прежнему будет взбегать через ступеньку вслед Западу и когда-нибудь сравняется с ним. Так взбегая, трудно не падать; сейчас она упала и расшиблась о

ступеньки, а встанет ли она с левой ноги или с правой, не так уж важно.

— *Точно ли так уж безразлично, встанет Россия с правой ноги или с левой?*

— Первый год, два, пять — не безразлично, а потом все равно придется продолжать начатое.

— *Почему Вы стали филологом?*

— Боюсь, что единственный честный ответ — потому что филология ближе моему душевному складу. А как складывался этот склад — тема слишком далеко выходящая за пределы анкеты. У меня в детстве было пристрастие к звучным непонятным словам, поэтому древняя история привлекала меня экзотическими именами, а стихосложение — словами «ямб» и «хорей». У меня было ощущение, что мороженое почему-то нравится мне меньше, чем сверстникам, а стихи Пушкина больше, чем сверстникам, но я не мог им объяснить почему: поэтому я стал интересоваться не только тем, какое мороженое и какие стихи приятнее, а и тем, как они сделаны. Потом и эти предметы, и этот подход закрепились для меня как средства ухода не столько даже от действительности, сколько от соперничества с окружающими. Любить стихи Пушкина умеют многие, и, конечно, у них это получается лучше, чем у меня; а знать, как они устроены, умеют немногие, и здесь мне легче чувствовать себя не хуже других. Влияние среды: вероятно, в детстве мне легче было получить ответ, что значит такое-то слово, и труднее — как

устроена такая-то вещь. Влияние книг: в школьном возрасте мне попали в руки Шкловский и Томашевский, и они говорили об устройстве литературных произведений интереснее, чем советские учебные и ученые книги.

— *Если бы отменились все лекции, конференции и плановые работы, чем бы Вы занялись в это свободное время?*

— Я академический работник, лекций читаю мало, так что от отмены лекций такой прибавки свободного времени я бы не почувствовал. А если бы не стало плановых работ, оказался бы в затруднении: не знал бы, что же людям от меня нужно. Но тут непременно кто-нибудь о чем-нибудь попросил бы помимо всякого плана, и все встало бы на прежние места.

— *Если бы филология в институтах и университетах кончилась (а иногда кажется, что мы близки к этому), то могли бы Вы найти место в каком-либо секторе гуманитарного рынка?*

— В дипломе, который я получил после университета, написано: «специальность: классическая филология, а также преподавание русского языка и литературы в средней школе». Пошел бы преподавать словесность в среднюю школу, хотя это гораздо тяжелее и хотя педагогических способностей у меня нет.

— *Многие из Ваших коллег сегодня работают в зарубежных университетах, а Вы задумывались об эмиграции?*

— Я в России люблю не землю («русские» березки, церкви,

избы – для одних, городские каменные дворы их детства – для других), а язык и культуру, а она всегда со мной, так что для моего существования это трагедией бы не было. Но думал я об этом мало, потому что знал: за границей я никому не нужен – стар, на иностранных языках не говорю, занимаюсь только поэтикой (пусть даже не только русской), а это сейчас наука не модная. А в политические беженцы не го-жусь: публицистом не был. («Конформист»!) К тому же – от себя не уйдешь. Каждый увозит свои проблемы с собой. Да еще нарастают новые. Так что не вижу в эмиграции смысла.

– Если выбирать, в какой стране и в каком столетии работать, что бы Вы выбрали?

– Я немного историк и знаю, что людям во все века и во всех странах жилось плохо. А в наше время тоже плохо, но хотя бы привычно. Одной моей коллеге тоже задали такой вопрос, она ответила: «В двенадцатом». – «На барщине?» – «Нет, нет, в келье!» Наверное, к таким вопросам нужно добавлять: «...и кем?» Тогда можно было бы ответить, например, «камнем».

– Вы пользуетесь компьютером в своей работе? Как вы относитесь к интернету? Стало ли легче работать с появлением новой техники?

– Считать стало легче: я работал сперва на конторских счетах, потом на арифмометре, потом на калькуляторе. Читать нужное стало легче с появлением ксерокса. Компьютер у меня есть: на нем печатать удобнее, чем на пишущей машин-

ке. А интернет наступил слишком быстро, я еще не успел к нему привыкнуть. Отношусь я к нему с большим уважением – именно за то, что он, говорят, дает быстрый доступ к нужным книгам. Это хорошо: на всей моей памяти нас, филологов, снабжали заграничной научной литературой очень плохо. Писать стало легче: из-за старости голова вмещает меньше, это принуждает писать большие статьи не целиком, а по кусочкам, а это легче делать на компьютере, чем на пишущей машинке. Думать – легче не стало.

– *В чем, на Ваш взгляд, состоит задача филологии, филолога? В чем назначение филолога?*

– Именно в том, чтобы понимать чужие культуры – особенно прошлые, чтобы лучше знать, откуда мы вышли и, стало быть, кто мы есть. Археолог понимает их по мертвым вещам, филолог по мертвым словам. Это трудно: велик соблазн вообразить, что эти слова – живые, и понимать мысли и чувства чужой культуры по аналогии с душевным опытом нашей собственной культуры. Ребенку кажется, что если *да* по-русски значит «да», а по-немецки «там», то это неправильно. Легко объяснить ему, что это не так, но гораздо труднее объяснить взрослому, что *любовь* по-русски и *любовь* по-латыни – тоже очень разные вещи. Вот этим и занимается филология: отучает нас от эгоцентризма, чтобы мы не воображали, будто все и всегда были такие же, как мы. Мой покойный товарищ С. С. Аверинцев хорошо писал об этом в самой первой своей публичной статье, которая называлась

«Похвала филологии».

– *Ваше мнение о современной филологии?*

– Об античной нашей филологии не скажу ничего, кроме хорошего: молодых античников сейчас учат гораздо лучше, чем пятьдесят лет назад учили нас. К нам тогда проблемы мировой науки доходили с пятидесятилетним запозданием, а к ним теперь доходят примерно с двадцатилетним, это уже нормально. А о литературоведении вообще? После конца советской идеологии образовался идеологический вакуум, в него хлынули новейшие западные постструктуралистские моды вперемешку с воспоминаниями о русской религиозной философии, образовался иррационалистический хаос; я не умею использовать это в своей работе, поэтому вряд ли имею право о нем судить.

– *Как Вы относитесь к идее выбросить из школы филологию и, в частности, анализ стихов: пусть дети просто читают художественную литературу?*

– «Просто» читать – совсем не просто: даже взрослый обычно не может дать себе отчета, почему ему нравится или не нравится такое-то стихотворение. Когда школьник спрашивает: «А почему я должен интересоваться Пушкиным?» – то ответить ему очень трудно. Когда человек не понимает, что и почему ему интересно, то ему трудно искать новые книги, которые могли бы оказаться ему тоже интересны, и он начинает читать только привычное или вовсе перестает читать. Конечно, тем, у кого от природы тонкий художествен-

ный вкус, это не грозит, и учиться анализу им не нужно. Но таких мало; у меня, например, такого вкуса нет. Вот таким, как я, я и хочу помочь.

– Применение точных методов в литературоведении – хорошо ли это, не убивает ли это живое целое, разлагая его на части?

– А вы уверены, что Пушкин для вас – живое целое? Пушкин писал не для нас, мы воспринимаем из сказанного им лишь малую часть, а остальное дополняем своим воображением.

– Почему часто приходится слышать от молодежи: «Не люблю Пушкина»?

– Потому что мы часто подходим к нему не с теми ожиданиями, на которые рассчитывал Пушкин. Мы в XX веке привыкли к поэзии ярких контрастов, а Пушкин – поэзия тонких оттенков. Конечно, если она не дается, Пушкина можно просто отложить в сторону; но если мы научимся читать по оттенкам, то наш мир станет только богаче. Беда в том, что именно этому школа нас не учит: она еще не привыкла, что Пушкин от нас отодвинулся на двести лет, что его поэтический язык нужно учить, как иностранный, а учебники этого языка еще не написаны. Вот филологи их и пишут по мере сил.

– Я сказал: «подходим не с теми ожиданиями». Что это значит? Вот Евгений Онегин получил письмо от Татьяны: чего ждали первые пушкинские читатели? «Вот сейчас этот

светский сердцеед погубит простодушную девушку, как байронический герой, которому ничего и никого не жаль, а мы будем следить, как это страшно и красиво». Вместо этого он вдруг ведет себя на свидании не как байронический герой, а как обычный порядочный человек – и вдруг оказывается, что этот нравственный поступок на фоне безнравственных ожиданий так же поэтичен, как поэтичен был лютый романтизм на фоне скучного морализма. Нравственность становится поэзией – разве это нам не важно? А теперь – внимание! – Пушкин не подчеркивает, а затушевывает свое открытие, он пишет так, что читатель не столько уважает Онегина, сколько сочувствует Татьяне, с которой так холодно обошлись. И в конце романа восхищается только нравственностью Татьяны («я вас люблю... но я другому отдана»), забывая, что она научилась ей у Онегина. А зачем и какими средствами добивается Пушкин такого впечатления – об этом пусть каждый подумает сам, если ему это интересно.

– Почему переводы на близкородственные языки – например, «Евгений Онегин» на украинском – для нефилолога звучат как пародия?

– Потому что и не в переводе непривычный русский человек воспринимает украинский как испорченный русский. Как с этим бороться? Разрушать непривычность: время от времени показывать русскому человеку хорошие украинские стихи с русским переводом, чтобы он увидел: а ведь русский перевод слабее смешного украинского подлинника.

– Почему Вы написали «Занимательную Грецию»? Разве история древней Греции нуждается в популяризации?

– Популяризация – это значит: делать общеизвестное общеизвестным. История греческой культуры не так уж общеизвестна – говорю об этом с совершенной ответственностью. Стало быть, нуждается – разве нет? Точно так же, как история всякой другой культуры: мне очень жаль, что я так и умру, плохо зная, например, арабскую культуру оттого, что не нашел подходящего для меня ее популярного описания.

– А если бы у Вас нашелся подражатель, который решил написать книгу «Занимательная Россия» – о современной России, сохраняя стилистику «Занимательной Греции»? Что получилось бы из такого труда? Или он так и остался бы не закончен, потому что для подобной работы необходима дистанция в века?

– Сочиняя «Занимательную Грецию», я однажды попал в больницу, сосед меня спросил, что это я пишу. Я ответил, он сказал: «Наверное, еще интереснее было бы написать „Занимательную историю КПСС“». Это были еще те времена. Разумеется, человек с ясным умом мог бы просто написать и о сложной современности – я первый был бы рад прочитать такую книгу. Некоторые и пишут, но для взрослых, а школьникам такие книги нужнее: им в этой современности жить и работать. А дистанцию для такого взгляда создает сам пишущий, если хватает сил. Академик Веселовский, филолог, сто лет назад говорил: «Нам кажется, что средневековые поэмы

и повести все на одно лицо, а нынешние, реалистические – все разные, все индивидуальные. Но это иллюзия – попробуем охватить взглядом всю массу того, что сейчас пишется, как мы охватываем старину, и мы увидим, что и у нас все на одно лицо». О развале советской империи проливают слезы во всех газетах, и всем кажется, что это единственная в своем роде трагедия. Редко кто вспоминает, что в 1960-х годах точно так же развалились все западные колониальные империи, и мы тогда этому не удивлялись, а радовались. Теперь эта волна истории дошла и до нас, с обычным запозданием в одно поколение. Нужно ли ждать дистанции, чтобы это понять и об этом сказать?

– *Что бы делал Эпиктет, о котором вы писали, будь он не «древним пластическим греком», как у Козьмы Пруtkова, а нашим современником-шахтером?*

– Вопрос прекрасный, но ответ – очевидный. Если бы Эпиктет был шахтером, он бы исправно работал в шахте, вел бы с товарищами точно те же беседы, а они бы, будь на то хоть малая возможность, точно так же их записывали бы. Не забывайте, Эпиктет был не *пластическим эстетом*, а рабом, а рабам в древности жилось не лучше, чем шахтерам в наше время.

– *Что для Вас означает выражение «аристократы духа»? Есть еще понятие «властители дум», очень популярное лет пятнадцать назад. Насколько они вам близки?*

– «Аристократы» – выражение метафорическое, и обычно

значит: особая порода хороших людей, обычно наследственная. Мне не хочется верить, что такие люди существуют как порода, – но, конечно, это только потому, что я не чувствую этой аристократичности в себе самом. «Властители дум» – тоже понятие мне не близкое: оно как бы предполагает твою некритическую подвластность их власти, а меня учили, что это нехорошо. Однако если представлять их себе не породой, а поштучно, – то, конечно, у каждого из нас есть круг людей, которые для него авторитетны как умные люди и как хорошие люди. К счастью, эти два качества часто совпадают.

– *Чем для Вас лично было общение с Аверинцевым? Можно ли сказать о смерти С. С. Аверинцева «с ним умерла целая эпоха»?*

– Мы с ним, вероятно, дополняли друг друга. Он замечательно умел человечески чувствовать другие культуры – то, что называется «дух времени»; я этого не умею, я суше и рационалистичнее. Мы учились друг у друга не быть односторонними. Я не знаю, был ли он символом эпохи: он был очень сам по себе, учителем себя никогда не считал, говорил: «Учить аспирантов методу я не могу, а могу только показывать, как я делаю, и побуждать делать иначе». Эти аспиранты лучше скажут, умерла ли с ним эпоха. Это – о научном общении; а что значило человеческое общение с таким человеком, позвольте мне не говорить.

– *Как бы Вы ответили на восьмой вопрос Александра индийским мудрецом: «Что сильнее, жизнь или смерть?»*

– Не знаю: вопрос вне моей компетенции. Я хотел добавить: «Я и сам бы рад получить на него ответ», но почувствовал: пожалуй, нет, не так уж мне это интересно. Наверное, это нехорошо?

– *Что Вы пожелали бы молодым гуманитариям?*

– То же, что и Аверинцев: смотрите, что делали те, кто работали раньше вас, и делайте иначе.

III. ОТ А ДО Я

*Дайте волю человеку,
Я пойду в библиотеку:
Я в науку ухожу,
Мысли удочкой ужу.*

Т. Бек

*Модное изобилие цитат – чрезвычайно
раздражительное явление, ибо цитаты – вексель,
по которым цитатчик не всегда может платить.
В. Набоков*

*...Пиши мне: мне всегда очень нужен кто-нибудь,
кто бы меня понимал, хотя бы неправильно.
И. Оказов. Неотправленное письмо. От графа Сен-
Жермена к Агасферу*

А «Чарушин писал просто, как будто врачу говорил а-а» (Дневник Е. Шварца).

Аббревиатура Дочь организует группу психологической реабилитации детей трудного поведения – сокращенно «предтруп».

Агностицизм Г. Шенгели в воспоминаниях о Дорошевиче пишет, что Хейфец, у которого тот печатался в Одессе, сказал: «Знаете, какая разница между Дорошевичем и проституткой? Он получает за день, а она за ночь». Дорошевич,

узнав, спросил: «А знаете, какая разница между Хейфецем и проституткой?» – «Не знаем». – «И я не знаю». Больше Хейфец не острил.

Анаколуф «Приказываю дать Каткову первое предостережение за эту статью и вообще за все последнее направление, чтобы уgomонить его безумие и что всему есть мера». Резолюция Александра III (Феоктистов). Надпись в гостинице: «Не разрешается пребывание в комнате без разрешения коменданта в свое отсутствие посторонних лиц, а также давать посторонним лицам ключи от комнаты». Маяковский: «Москва не как русскому мне дорога, а как боевое знамя».

Ансельм «Директора нет. И все. – Как же так. Если директор, значит, он есть» (И. Бахтерев. Царь Македон). Это то же, что и доказательство бытия Божьего от Ансельма Кентерберийского. Ср. педагогическую аргументацию А. Жолковского: «Американская диссертация должна существовать. В этом ее отличие от Господа Бога, который так совершенен, что может и не существовать».

Анти- «Это не религиозные стихи, а антиантирелигиозные: это разница», – сказал кто-то. В. Парнах печатал антитеррорные стихи Агриппы д'Обинье как антифашистские (Агриппу у нас знали по Г. Манну), а «Еврейских поэтов – жертв инквизиции» – как антирелигиозные. Одновременно в 1934 году «Песни I Французской революции» вышли едва ли не ради десяти страничек «Ямбов» А. Шенье в переводе Зенкевича (в приложении): эзопов язык переводчиков.

Антиглобализм Декларация его уже у Гейне в «Германии». Как хорошо, что в Тевтобургском лесу германцы разбили римлян, а не римляне германцев! А то что было бы! Профессор Масман знал бы латинский язык – вот ужас-то!

Антипугало Вот уже второй человек и по другому поводу говорит мне: «Если бы не вы, я бы бросил эту [такую-то] затею».

Апогей «Мне писала как-то киевская неизвестная поэтесса: все бы ничего, да вот не могу довести себя до апогея...» (Гиппиус – Ходасевичу, 1 окт. 1926 г.).

Артикль «Ce n'est pas un sot, c'est le sot», – говорил Талейран. Точный русский перевод: «тот еще дурак». Заглавие Мопассана «Une vie» переводили «Жизнь» или «Одна жизнь»; точнее всего было бы: «Жизнь как жизнь».

Артист Слова Блока – вслед за Ницше – о человеке-артисте будущего нельзя правильно понять, не помня его анкету в 18 лет: ваш идеал? – «Быть актером императорских театров». На ночь он мазал губы помадой и лицо борным вазелином.

Аскетизм «Фиваидские кинобии были школой смирения личности, как огромная коммунальная квартира», – сказала Т. М.

Аннотация для библиотечной карточки к книге Сорокин В. В. «Избранное», 1978 (цит. с. 132, 153, 198). Валентин Сорокин – поэт русской души. Он пишет о горчавой полыни, о том, как хрупят пырей хамовитые козы, когда дует си-

вер и у работника зальдельый бастрик прислонен к дровнику. Он любит: «И заёкают залетки, зазудятся кулаки, закаляют подметки, заискрятся каблучки!» Он просит за себя: «Не стегайте меня ярлыком шовиниста, – кто мешает нам жить, тот и есть шовинист!..» Вообще говоря, аннотаторам полагалось такие книги отбраковывать и писать скучные мотивировки их непригодности для районных, городских и областных библиотек. Но я предпочитал писать честную аннотацию, чтобы начальство посмеялось и отбраковало книгу само.

Баранки 60 лет Вяч. Иванову: «Поди, пришел сосед Муратов, поставили самовар, попили чаю с римскими баранками, попели орфические гимны и разошлись» (Ремизов. Петерб. буерак).

Басня Мышь, второпях столкнувшись с ласкою, крикнула: «Привет! я от змеи!» Вавилонская басня из книги Ламберта, я хотел начать ею сборник переводов «Классическая басня», но весь восточный раздел в «Московском рабочем» выкинули, потому что там были басни из Библии.

Бейлис В Киеве была конференция к 80-летию дела Бейлиса, Ю. Ш. написал мне: «Бейлис умер, но дело его живет».

Бихевиоризм Бихевиористская проза: поступки без психологии. Ее классики – Хармс, Хемингуэй и Николай Успенский.

Благодарность «Обе книги заслуживают похвалы, обе заслуживают благодарности, и обе – больше благодарности,

чем похвалы» (отзыв Хаусмена о двух изданиях Луцилия).

Близнец С. И. Гиндин сказал: половина «Близнеца в ту-
чах» о дружбе и близнечестве – при переработке отпала, по-
тому что Пастернак стал терять друзей. Обходиться без лю-
дей, потом обходиться без книг – как трагично это засыха-
ние человека, который продолжал верить, что поэзия – это
губка. Письма его многословны, как у молодого Бакунина с
друзьями: чем больше он чувствовал себя равнодушным, тем
больше старался быть деликатным. См. **Вата**.

Большевики не исправили Россию за 70 лет, а христиан-
ство – за 1000 лет.

Бострог «На кафтан или зипун надевали ферязь или тер-
лик, а поверх того охабень или бострог. Самоеды на липты
(исподние самоедские сапоги или чулки, пыжиковые, шер-
стью внутрь) надевают пимы, а на пимы – топаки, род ке-
нег» (А. Терещенко. Быт рус. народа).

Булгаков Из письма О. К.: «Я нашла в Булгакове точное
описание булгаковедения. В „Роковых яйцах“ в „красной по-
лосе“ шла борьба за существование. „Побеждали лучшие и
сильные. И эти лучшие были ужасны“. Поэтому постараюсь
больше о Булгакове не писать».

*Когда-то при мне сравнивали Булгакова и Мандельшта-
ма. «Непохожи, – сказал Вяч. Вс. Иванов, – Мандельштам
мог принять революцию, но не мог Сталина, а Булгаков мог
принять Сталина, но не революцию». Это натяжка, но лю-
бопытная: оба кончили жизнь произведениями о Сталине,*

но у Мандельштама «сталинская ода» получилась очень хорошим и сильным стихотворением (Бродский прямо говорил: гениальным), а у Булгакова «Батум» — кажется, посредственная пьеса (говорю «кажется», потому что раскрывал, но не читал). Мандельштам сумел уверить себя, что Сталин и революция — одно, а революцию он действительно принял. Пожалуй, про себя я чаще сравниваю Булгакова не с Мандельштамом, а с Платоновым. Стиль Булгакова я люблю больше, но душевно Платонов мне ближе. Революция ужасна у обоих, но Платонов не ненавидит ее оголтелых героев, а жалеет их; а Булгаков ненавидит, и ненавидит со вкусом и наслаждением. А я не люблю тех, кто упивается ненавистью. От этого бывает очень дурная инерция бесконечного взаимоистребления. К сожалению, если стиль Булгакова переводить трудно, то стиль Платонова, вероятно, невозможно, поэтому читать и знать его будут меньше, чем Булгакова.

Булгарин У Фейхтвангера в каждом романе есть отрицательный персонаж с квакающим голосом, у Тынянова — брызгающий слюной. Я спросил Л. Я. Гинзбург, нет ли сведений, с кого он списывал Булгарина. Она ответила: «Были разговоры о том, что Т. изобразил Оксмана, с которым дружил. Очевидно, подразумевалось соотношение: Грибоедов—Булгарин... Не достоверность, а сплетня 1920-х годов; впрочем, на Юр. Ник. это похоже» (письмо 25 июня 1986 г.).

Буриме Банальные рифмы в традиционалистических

культурах должны были цениться: нужно было уложить хвалу императрице не только в ритм и рифмы, а в рифмы на такие-то слова. Культура как буриме. Н. Заболоцкий иронизировал над переводчиком, который мог уложить в *любовь*—*кровь*—*морковь* решительно любое содержание, — «самое удивительное, что это печатали». Этот переводчик был запоздалым героем предшествующих эпох.

Бы У С. Кржижановского есть рассказ об артиллеристе, среди гражданской войны остановившем татар при Калке. Жаль, что там нет продолжения: как Россия, получив в подарок 700 свободных лет, путалась в них, чтобы в конце концов уткнуться в ту же революцию и гражданскую войну. На такую тему была пьеса Фриша под названием «Биография».

Бытие и сознание С. Третьяков в бесконечной езде агитирует попутчика, немецкого коммерсанта: «Я кончаю призывом: „Германия, даешь Октябрь!“ Он растроган и задает мне в лоб последний вопрос: „Что бы вы сделали в Германии на моем месте?“ И я отвечаю, не колеблясь: „То же, что и вы, ибо бытие определяет сознание“» (Москва–Пекин, «Леп», 1925).

Бытие и сознание Моя жизнь от моих намерений отличается так же, как советская жизнь от идеалов революции.

«**Важно** не то, что важно, а то, что неважно, да важно, вот что важно» (слышано в детстве). Какая это риторическая фигура?

Вата «Вашей мягкостью, как ватой, вы затыкаете наноси-

мые вами раны» (Цветаева Пастернаку).

Век Старшеклассникам в канун 2000 года задали сочинение на тему «Каких изменений я жду в ХХI веке». Большинство написало: ничего серьезно не изменится, а в середине нового века опять будут строить коммунизм.

Век А. К. Толстой высказывал мысли ХIХ века языком ХХ века (лучшая его проза – в письмах жене, этой героине Достоевского, которую Тургенев называл гренадером в юбке), а Случевский наоборот.

Вера «Не вера стоит на сомнении, а сомнение на вере», – сказали медику, исключая его из духовной семинарии.

Верность – это инстинкт самосохранения», – писала Цветаева Ланну. Верность себе – это обычно псевдоним инертности. Не будем делать из нее культа.

Вечный Дневник Веселовского: «Рим никогда не дает того, чего ожидаешь, потому что дает больше: вечный город – потому ли, что долго живет, потому ли, что долго умирает».

Викторина Французский психолог Сюрже пишет, что люди при разговоре получают 38% информации из интонации, 55% – из жестов и мимики, а откуда остальные 7%? – из слов...

Вина личности перед обществом за свое существование – это, может быть, и вина души перед телом за то, что мешает ему жить?» – «Жить?» – «Ну, мешает ему умирать, разлагаться».

Взгляд «Смотреть на вещи свежим взглядом – все равно

что питать сознание сырой пищей».

Воздух «Россия – страна обширная, но не великая, у нас недостаточно даже воздуха для дыхания» (адм. Чичагов, «Рус. старина», 1886, № 2, с. 477).

Я не был близок с Ю. М. Лотманом, но однажды, когда мне было трудно жить, решил: спрошу его – может быть, он мне скажет какое-нибудь главное слово. Не удалось: поездка была короткая, а встречи многолюдные. Прощаясь, я сказал: «Хотелось кое о чем спросить, не получилось; может, в другой раз...» Он посмотрел на меня и сказал: «Знаете, нужнее всего верить самому себе. Вот когда на фронте ты идешь со взводом из окружения, а навстречу тебе целый полк так и валит в окружение, – очень трудно не повернуть и не пойти вместе со всеми». Я уехал, и потом оказалось, что именно это мне и нужно было услышать. Л. Н. Киселева сказала: «У Ю. М. все фронтовые эпизоды начинаются: „когда мы драпали...“»

Водка не считалась напитком, поэтому ее предлагали не выпить, а откусать. Так кот в Шварцевском «Драконе» говорит: молоко – это не питье, молоко – это еда.

Возраст у Н. уже тот, когда приходится считать раны и исковерканные надежды. Потребность в сочувствии, но такое самолюбие, при котором малейшая видимость сочувствия – уже оскорбление. Похоже на знаменитую кинематографическую задачу: очная ставка, крупный план лица, и нужно, чтобы зрители увидели, что этот человек узнал дру-

того, но чтобы поверили, что следователи этого не поняли.

Воспитание Запись в дневнике А. И. Ромма (РГАЛИ, 1495, 1, 80, 73 об.): «С шести лет меня воспитывали в мысли, что никогда из меня ничего не может выйти. И всех прочих я в грош не ставил (по существу) именно потому, что никто из прочих этого не думал». Ср. Волошин о мемуарах Боборыкина: «...у Б. есть наивная убежденность в том, что из всех тех, кто были с ним знакомы, ничего порядочного выйти не может».

Вот так и Заседание с отчетом общества (такого-то): такой хаос, что по здравому смыслу подобная организация ни секунды существовать не может, однако существует и даже чаем поит. Значит, может существовать и дальше, но как – прогнозированию не поддается. А мы здесь почему-то занимаемся именно планированием. Вот так и весь мир – существует лишь в порядке фантастического исключения, а мы стараемся отыскать в нем правила и законы.

«Впережаб – чтобы получился перехват, пережабинка. Барыня впережаб затягивается» (Даль).

Впятеро . А. Н. Попов должен был читать нам методiku преподавания латинского языка. Он пришел и сказал: «Я должен читать вам методiku, но не буду, потому что полагаю, что науки методики нет. А чтобы хорошо учить, нужно знать *впятеро* больше, чем говоришь, и тогда никакие методики тебе не потребуются». Чтобы хорошо учить – знать *впятеро*; а чтобы хорошо творить? – чувствовать

впятеро? Выборку из переводимого поэта можно делать, только переведя впятеро и выбрав из получившегося – потому что переводимое никогда не равно переведенному. В Худлите меня мобилизовали на переводы для антологии современной немецкой поэзии и дали список стихов Э. Майстера. (Почему именно этого исковерканного мироненавистника, я не знаю: одни говорили – «по сродству с вами», другие – «по противоположности с вами».) Я перевел впятеро, принес и уныло сказал: «Вот, отбирайте, пожалуйста». Там долго удивлялись.

Врио по-русски – подставное лицо. Я – временно исполняющий обязанности человека (звучит ли это гордо?). Время кончилось, обязанности нет.

Все «Здесь все стихи мне! почти все!» – говорила Анна Ахматова голосом Ноздрева у Л. Чуковской 4 ноября 1962 года.

Все Николай I сказал генералу Назимову, попечителю Московского округа: «Я прочитал все книги по философии и убедился, что все это только заблуждение ума» (Феоктистов).

Все М. К. Морозова в своем философском салоне, может быть, понимала не все, но понимала всех (Степун).

Всякий «Считал ничтожеством всякого, кто соглашался, и наглым ничтожеством – всякого, кто не соглашался» (Дневник А. И. Ромма, 1939, РГАЛИ).

В-третьих! – начал свою первую на памяти А. Ф. Кони

лекцию Ф. Буслаев. Заболоцкий считал себя вторым поэтом XX века после Пастернака: Блока, во-первых, не любил, во-вторых, не признавал, в-третьих, считал поэтом XIX века.

Вчера Ю. Манин в 1983 году: «Может возникнуть концепция передового человека, т. е. человека, позавчера питавшего те иллюзии, которые рухнули только вчера». Ср. Х. Пионтек: «Я хочу такого Завтра, у которого не было бы Вчера».

Вы «Я один, а вас много», – сказал Пилат Христу (И. Бабель).

«Ответь мне, ты есть Бау или Вау?» Туземец ответил очень внятно: «Грдлбз чквртсм жсрпхкс иооооксиу!» – «Очень хорошо, – отвечал путешественник, – только этого мне и не хватало!» (С. П. Бобров, заготовки эпитафий, РГАЛИ, 2554, 2, 272, л. 188).

Выпуклый «Я – выпуклая фигура, как же меня не предать истории?» – говорил генерал Новоселов (Ясинский, 116).

Выпуклый Катков не читал статей, на которые возражал: их ему пересказывали, он просил отметить такие-то выпуклые пункты и читал только их, чтобы не терять сосредоточенности (Н. Любимов).

Где нас нет – там по две милостыни дают (Пословицы Симони).

Геометрия Каждый параллелограмм жалеет не о том, что он не прямоугольник, а о том, что перекошен не в ту сторону.

Героиня «Ваша любимая героиня в романах?» – «Осинка в „Трех смертях“ Толстого» (ответ Фета в альбомной анкете).

Главное «Трудно написать биографию, даже свою, когда нет самого главного – смерти» (М. Козырев, в 30 лет; расстреляли его в 49).

Гласность «Муж, явно творяй правду и твердый в правилах своих, допустит всякий глагол о себе. Он ходит во дни и творит себе на пользу клевету своих злодеев. Откупы в мыслях вредны» (Радищев).

Гласность – «это значит, что можно говорить о том, что нужно делать».

Годовщина «День каждый, каждую годину / Привык я думой провожать, / Грядущей смерти годовщину / Меж них стараясь угадать». В Пушкинском словаре это значение не комментируется, а ведь здесь предполагается обратное движение времени, счет от будущего, как в римском календаре или в числительном «девяносто». Хочется считать свои годы уже не вперед от рождения, а назад от смерти, а дата предстоящей смерти расплывчата, и это нервирует. Ср. «Недвижимо склоняясь и хладея, / Мы движемся к началу своему» – хотя ожидалось бы «к концу». Не отсюда ли у Мандельштама: «О как мы любим лицемерить / И забываем без труда / То, что мы в детстве ближе к смерти, / Чем в наши зрелые года». (Стихотворение это – с двумя равноправными концовками, оптимистической и пессимистической; но это уже другая тема.) Честертон писал: взрослый человек живет после конца

света, а подросток – перед; отчаяние – это возрастное состояние.

Гордость «Архиерейская гордость напоминала дамскую»: не гордость, а опасение неприличного плюс привычка быть предметом ухаживания (Гиляров-Платонов).

Градус С. Ав.: «Бродский говорил о том, что знает, громко и уверенно, а о том, чего не знает, еще на градус увереннее. Помните, как он на Мандельштамовской конференции сказал, что Христос, как римский гражданин, конечно же, знал латынь и читал 4-ю эклогу?»

Дважды два четыре Я всю жизнь старался, чтобы наука твердо опиралась на дважды два, но никогда не считал «четыре» объективностью: просто видел, что насчет дважды два люди лучше всего сумели сговориться между собой (кроме человека из подполья). Но когда я сказал врачу, что так же можно было бы договориться и о том, что дважды два пять, он встревожился обо мне больше, чем когда-нибудь.

Девиз Когда-то очень давно С. Ав. сказал мне не без иронии: «Если бы у вас был герб, вы могли бы написать в девизе: „О чем нельзя сказать, следует молчать“». Я знал эту сентенцию Витгенштейна, но отдельно она казалась мне тривиальной, а в «Трактате» непонятной. Понял я ее, когда в какой-то популярной английской книжке нашел мимоходное пояснение: «...а не следует думать, что об этом можно, например, насвистать». Тут сразу все стало ясно, потому что свиста такого рода все мы наслушались-перенаслу-

шались. Теперь я знаю даже научное название этого свиста: метаязык. Впрочем, предтечей Витгенштейна был Ривароль, сказавший: «Разум слагается из истин, о которых надо говорить, и из истин, о которых надо молчать».

«Дело» Сухово-Кобылина. А. И. Доватур считал, что это было самоубийство чужими руками: француженка наняла убийцу, так как умереть хотела, а убить себя боялась. Такие-де случаи бывали. (Это – сюжет романа Жюль Верна «Бедствия китайца в Китае».)

Демократия «Волки сыты, а овец не спрашивают».

Демократия Нынешние лисы говорят, что мы зелены для винограда (Вяземский).

Державно Ельцин, расстреляв Верховный совет, велел отреставрировать Кремль. «Как?» – «Чтоб было державно». В главном зале было три трона: для царя, царицы и вдовствующей царицы; их отыскивали в Петергофе и Гатчине, но выцарапать у музейщиков не смогли. Сделали идеальные копии, а потом стали думать, кого же на них сажать? и на инаугурации прикрыли драпировкою («Общая газета», 8.2.2001).

Детектив Лирическая композиция у темных поэтов XX века требует, чтобы читатель реконструировал ситуацию высказывания из рассеянных, перепутанных и нарочито незаметных мелочей. Иные филологи работают над ними по Конан Дойлю, иные – по Честертону.

Детектор лжи Сын в детстве спрашивал: «Это значит: человек лжет, а он краснеет?»

Детерминизм «Все происходит не случайно, а по тем или иным причинам, обычно по иным».

Детерминизм А ведь я усомнился в сквозном детерминизме всего сущего только на мысли: не могла же от начала мира быть запрограммирована такая тварь, как я!

Детерминизм Тынянов говорил: я детерминист, я ощущаю, как меня делает история (зап. Л. Гинзбург). А В. Каверин писал: «Если бы у меня не было детства, я не понимал бы истории, если бы не было революции – я не понимал бы литературы». Ср. «время ломает меня, как монету».

Детерминизм Я объяснял сыну: в жизни нет цели, а есть причины. НН сказал: «Ну, в вашей-то жизни цель есть». А причин нет.

Дети «Малые детки поспать не дадут, а с большими детками сам не уснешь» (Даль). А сегодня говорят: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы своих не приносило» или «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось».

Дети И. Ю. П. сказала: «По „Живаго“ видно, что Пастернак не любил детей – они были для него только отяготителями женской доли, на которой он только и был сосредоточен: „в браке дети теребят“». Я вспомнил, как В. В. Смирнова была недовольна мимолетностью фразы: «они поженились, и у них пошли дети».

Дети М. Гершензон писал: когда дети кончают университетский курс, то и родители их кончают родительский курс. (И какой начинают?)

Дети Маяковский писал будто бы для пролетарских детей, но начинал (по традиции?): «Вот няня. Няня гуляет с Ваней».

Жене приснилось: малолетнему сыну дали пачку бумаги рисовать, он рисует, это разноцветные орнаменты, но вдруг, всмотревшись, видно: за ними мелкие фигурки, они складываются в картинки мировой истории – неолит, Фермопилы, крестовые походы, вот уже наше время, а рисунки еще не кончились, и тут приходят люди, опечатывают квартиру, вход по пропускам, посетители только на черных «Волгах» и по красным коврам, а мы живем на асфальтовом дворе в шалаше, и жена тихо бранит сына, что это все из-за него.

«**Джон Джонсон** может быть уверен хотя бы в одном: что никто лучше его не сумеет быть Джоном Джонсоном» (Честертон). Так сказать, профессионально быть самим собой. Да я-то сомневаюсь, не по ошибке ли я числюсь Джоном Джонсоном. И утомительно сдаю сам себе экзамены на самого себя.

«И бог призвал слона, всем-слонам-слона, и сказал ему: „Играй в слона“. И всем-слонам-слон стал делать что приказано» (Киплинг. Сказки).

Диалог с текстом? Нет, мое чтение не деформирует текст, как и меня не деформирует чье-то мнение обо мне. Но злословие обо мне деформирует мой образ? Ну, значит, мы ведем диалог не с текстом, а с образом текста. Но если я нев-

ротик, то я изменюсь, весь сосредоточусь на отрицании этого злословия и т. д. Диалогисты представляют текст не иначе как таким невротиком.

Дискурс Рапсоды собирали свой эпический текст из готовых блоков, как В. Синявский складывал незабываемые футбольные репортажи из «обводит одного, другого, третьего», «навешивает на штрафную площадку», «надо бить!», «мяч уходит на свободный...». Я не знал, что все это такое, но слушал радио не отрываясь, и из фраз складывались картины, фантастические, но разнообразные. Когда наступило время телевизоров и мне показали, как выглядит футбол на поле, я не понимал решительно ничего. По Тынянову, это называется: разница между сукцессивным и симультанным восприятием. Сукцессивность, однолинейность – это и есть дискурс. Когда я приезжаю в новый город, я прежде должен прочесть строчка за строчкой все вывески, афиши и прочие малые уличные жанры – и лишь потом начинаю замечать двухмерные фасады и трехмерные здания, на которых эти жанры висят. А в словосочетания «дискурс власти», «филологический дискурс», «эротический дискурс» и проч. я стал подставлять вместо «дискурс» слово «разговорщина» – и смысл оказался вполне удовлетворительный. Мой сосед задал вопрос в Интернете: что такое дискурс? Самый понятный ответ начинался: «Дискурс – это, точнее всего сказать, базар...».

Диссидент По анкете «Московских новостей», 32% опрошенных не слышали слова «диссидент». Тогда же (1991

год), по «Комсомольской правде», многие поступавшие в вузы считали, что Солженицын и Сахаров – один и тот же человек. Я рассказывал сказку маленькому мальчику, на середине скуки он с отчаянием спросил: «А что такое царь?»

«Дисциплинированный энтузиазм», возбуждаемый монархом в русском народе, – выражение Н. Данилевского.

Добро «Я ничего ему не сделал доброго, за что же он против меня?» – говорил Александр II (Мещерский).

Доброта «Есть люди, которые не делают зла, сделают и добро, когда попросишь, но сами не догадаются придвинуть стул, когда падаешь» (письмо жены Пунину).

Добрый «Настолько занят своими писаниями, что не хватает времени подумать плохо о других писателях; зато все считают его добрым» (С. Маковский об Алданове).

Долг «Платеж долгом красен» (черен?). «По чувству рабства, принимая его за чувство долга» (Ф. Степун. Из писем прапорщика).

Дорога На меня много влияли, поэтому я очень не хочу ни на кого влиять, никого не сбивать на свою дорогу, поэтому суечусь, чтоб с каждым во время разговора пройти кусочек его пути, а потом по междорожью, спотыкаясь, возвращаюсь на свой.

Достаточно Маршак говорил: «Я достаточно известен, чтобы меня теребили, но недостаточно, чтобы меня берегли» (восп. Друскина).

Достойно Молитва Саади: «Дай мне то, что достойно Те-

бя, а не то, что достойно меня» – от рассказа о даре Александра Македонского.

Дружба Люди могут дружить, только пока они друг другу ничего не сделали («Никомахова этика»).

Друзья на вырост, их не хватало в детстве моему сыну.

Сон сына: *играет на лире старый Амфион, от его звуков оживают фигуры фриза на соседней церкви Крестовоздвиженья, их нужно зарегистрировать и прописать. Говорят они по-русски, хоть и с примесью церковнославянского (на-слышались). Амфион заикнулся, что, собственно, это евреи и греки, но в милиции ему сказали: не будьте садистом. Записали их туркменами.*

Дуплет Ахматова сказала вдове Гумилева: «Вам нечего плакать, он не был способен на настоящую любовь, а тем более к вам». Так Хаусмен в предисловии, кажется, к Ювеналу писал: «Что касается такой-то немецкой диссертации о Ювенале, то могу лишь сказать, что она хуже такой-то немецкой диссертации о Манилии, и это единственная вещь, о которой можно так сказать».

Душа «Чем больше я всматриваюсь в доктора, тем больше мне кажется, что его душа – это общественный магазин, принадлежащий всем классам и сословиям. Каждый берет свой любимый товар и уходит удовлетворенный. А интеллигентная докторская совесть стоит за прилавком и следит за тем, чтобы не было отказа покупателям. В один прекрасный день все товары будут разобраны. Докторская совесть, в со-

знании исполненного долга, радостно улыбнется, оглянется по сторонам и тут только заметит, что самого-то доктора нет в магазине, да никогда и не было» (Фельетон в «Летописи» 1916 г.).

Бессмертие души «Не может она быть одноразового пользования», – сказано у Д. Рубиной. У нее же в статье о взрыве на рынке: «Народ у нас впечатлительный, хотя и ко всему привычный».

Евреи (Рассказывала М. Климова в Худлите.) В электричку сел пьяный парень и стал поносить евреев. Соседняя старушка спросила: «И Горбачев еврей?» – «И Горбачев, и Раиса». – «И Лигачев?» – «И Лигачев». – «А ты сам?» – «Не еврей, но хочу в Израиль».

Если Завещание пожизненного президента Урхо Кекконена начиналось словами: «Если я умру...».

Ефрем Сирий Власть грешила любоначалием, а интеллигенция празднословием (Ф. Степун).

Еще «Ты молодая, а я – еще молодая», – говорила Пыжова Никритиной (восп. Мариенгофа). Ср. у С. Кржижановского: «Еще не уже, но уже не еще».

Жанр Афиша, художественное чтение: «О. Мандельштам. Раковина: монолог в трех субстанциях». Афиша, спектакль: «Ч. Айтматов. И дольше века длится день: метафора в двух частях».

Жена «Главная опора русской поэзии проверена годами – это жены», – начинается рец. Дж. Смита на издание семей-

ной переписки Северянина. «Наслоения жен» – выражение Ахматовой. «Очередное междуженье» – выражение артиста Козакова. НН, будучи женат три раза, перед разводом каждую жену учил переводить для заработка; при его жизни они друг друга ненавидели, а после смерти скооперировались и монополизировали переводы такого-то французского ходового автора. «Первая вдова», «вторая вдова» и т. д.

Жена Из вопросника М. Фриша: «Что побудило вас к женитьбе: ...з) виды на наследство, и) надежда на чудо, к) мысль, что это чистая формальность? Хотели бы вы быть вашей женой?» Жена НН – единственная женщина, которой я сочувствую больше, чем своей жене.

Женщина Дочь сказала: «Гумилев – поэт для женщин, он пишет так, как будто на него смотрит женщина». Она не знала, что Блок будто бы сказал Ахматовой, что она пишет, как будто на нее смотрит мужчина, а нужно – как будто смотрит Бог. Степун добавлял: «А Цветаева – как будто на нее смотрит Гете или Гельдерлин». Не думаю: если бы она чувствовала взгляд Гете, она бы не написала многого из того, что написала.

– Вы живы?

– Приходится.

Из разговора.

«Жизнь – усилие, достойное лучшего применения» (Карл Краус).

Жизнь «А пребывание наше здесь – не жизнь, не житие, а только именно пребывание...» (Лесков, письмо 23 сент. 1892 г.).

Жизнь «Не могу же я относиться к этому как к литературе, – только как к жизни, то есть бесчувственно или хотя бы бессловесно».

Жизнь «Комсомольская правда» от 15 декабря 1990 года: в Чите организовано общество «За выживание» в помощь бедствующей советской медицине. Можно было бы расширить смысл названия и вступать в него поголовно.

Махмуд Эсамбаев перед смертью сказал: прошу правительство дать моему народу теплушки в Сибирь, тогда хоть кто-нибудь выживет («Мир за неделю»).

Жизнь «Жить надо так, чтобы другим неповадно было» (из молодежной газеты). Прислано читателем.

Жизнь Мудрецу предложили денег, он отказался: «Не надо, у меня есть одна монета». – «Надолго ли хватит?» – «Поручитесь, что я проживу дольше, и я приму ваш подарок» (суфийская притча).

Зависть 17 ноября 1982 года в передовице «Правды» было написано: «Советский народ с завидным спокойствием встретил известие о кончине...»

Заглавие Издательство потребовало, чтобы сборник статей о Пастернаке имел цитатное заглавие, «ну вот как о Мандельштаме – „Сохрани мою речь“». Значит – «Быть знаменитым некрасиво» или «Ты вечности заложник». (Предпо-

чили первое: пикантнее.) Посмотрев на содержание, я предложил: «Какая смесь одежд и лиц», К. Поливанов поправил: «Сколько типов и лиц...»

Заглавие О. К. заметила, что роман «Чего же ты хочешь?» продолжает традицию не только «Кто виноват?» и «Что делать?», но и «Чей нос лучше?». Была книга «Пудренное сердце» В. Курдюмова и «Сердце пудренное» Л. Монозона. Были сборники стихов «Третий глаз» и «Третье око».

Заглавие Оказывается, молодым поэтам нельзя было называть книгу просто «Стихотворения», требовалось особое разрешение свыше: это было что-то вроде заявки на мемориальную доску.

Заглавие Пьеса Золя (интересно какая?) шла в Петербурге в обработке Родиславского под названием: «Щука востра, а не съест ерша с хвоста».

Заговор «от обмороченья, от обаяния и от всякой порчи».

Задача «Если один человек выкопает яму за сто минут, значит ли это, что сто человек выкопают эту яму за одну минуту?» Можно жить, когда работу троих нужно сделать за один месяц, но трудно – когда за один день.

Зайцы и лягушки (басня). Оскар Уайльд собирался топиться в Сене, увидел человека у парапета. «Вы тоже отчаявшийся?» – «Нет, нет, сударь, я парикмахер». Тогда Уайльд раздумал. Ср. примеч. О. Гильдебрандт к дневнику Кузмина 1934 года: М. Бамдас хотел кончать с собой, она ему сказала:

«Моня, купите сперва новую шляпу», – он купил и передумал.

Запятая «Я – запятая, а вы угадайте, в каком тексте» (А. Боске).

Заумь Слово «кварк» физики взяли из «Финнигана» Джойса как заумное, но это оказалось венское жаргонное словечко от славянского «творог» (от «творить»). Слышано от Вяч. Вс. Иванова.

Заумь Из письма: «На стене рядом с домом осталась после избирательной кампании надпись „Жил-был мэр“. Она долго меня мучила. Потом я приписала внизу два слова, и получился стишок:

Жил-был мэр
Убещур. Скум.

Бессмысленный текст превратился в осмысленный».

Звук Итальянец ругался на извозчика: «Четырнадцать!» – будучи уверен, что такое созвучие может быть лишь страшнейшим ругательством (В. Соллогуб).

Злободневность Катаев написал на книжке «Изразец» Шенгели: «Я глупостей не чтец, а пуще – изразцовых». Шенгели, узнав об этом через двадцать лет, написал в тетрадь эпиграмму на Катаева (РГАЛИ, 2861, 1, 10).

Знак «Семиотически выражаясь, Ахматова стала вывеской самой себя» (В. Калмыкова).

Свидетелем настоящего чуда я был один раз в жизни. У Державина есть знаменитое восьмистишие: «Река вре-
мен в своем стремленье...». Глядя на эти стихи, я однажды
заметил в них акrostих РУИНА, дальше шло бессмыслен-
ное ЧТИ. Я подумал: вероятно, Державин начал писать ак-
ростих, но он не заладился, и Державин махнул рукой. Че-
рез несколько лет об этом акростихе появилась статья М.
Халле: он тоже заметил «руину» и вдобавок доказывал (не
очень убедительно), что «чти» значит «чести». Я подумал:
вот какие бывают хозяйственные филологи – заметил то
же, что и я, а сделал целую статью.

Но это еще не чудо. У хороших латинистов есть развле-
чение: переводить стихи Пушкина (и др.) латинскими сти-
хами. Я этого не умею, а одна моя коллега умела. Мы лете-
ли с ней на античную конференцию в Тбилиси, я был уже
кандидатом, она – аспиранткой, ей хотелось показать себя
с лучшей стороны; сидя в самолете, она вынула и показала
мне листки с такими латинскими стихами. Среди них был
перевод «Реки времен», две алкеевы строфы. Я посмотрел
на них и не поверил себе. Потом осторожно спросил: «А не
можете ли вы переделать последние две строчки так, что-
бы вот эта начиналась не с F, а с T?» Она быстро замени-
ла «flumine» на «turbine». «Знаете ли вы, что у Державина
здесь акростих?» Нет, конечно, не знала. «Тогда посмотре-
те ваш перевод». Начальные буквы в нем твердо складыва-
лись в слова AMOR STAT, любовь переживает руину. Слу-

чайным совпадением это быть не могло ни по какой теории вероятностей. Скрытым умыслом тоже быть не могло: тогда не пришлось бы исправлять последние две строки. «Чудо» – слово не из моего словаря, но иначе назвать это я не могу. Перевод этот был потом напечатан в одном сборнике статей по теории культуры в 1978 году.

Много позже, в «Русской литературе» за 2000 год, я нашел статью, обнаружившую у Державина акростих на СПИД. Но это было уже не так интересно.

Игра «Современный читатель не хочет читать классиков: жизнь была тяжка, и для социально безопасного проигрывания ее эмоций была придумана литература. Теперь сама эта литература стала тяжка, и для проигрывания ее придуманы легкие суррогаты» (вариация мысли И. Аксенова, слышанная на конференции в Таллинне ок. 1982 года). «Что такое история – скверная или мировая? Игра умных с умными в дураки» (С. Кржижановский. Писаная торба).

Идеал «Ваш идеал женщины?» – «Есть... не могу вспомнить, но есть». – «А идеал мужчины?» – «Мужчин не идеализирую» (Н. Мордяков, художник, резчик, поэт, в «Новой газете», 2004 г.).

Идея «Если голова, придумавшая идею, недостойна ее, идея отбрасывает голову» (С. Кржижановский, там же). Так в Спарте, когда в собрании дурной человек подал хорошую мысль, ему велели сесть, а хорошему человеку – повторить эту мысль.

Ижица

Начертили журавли
В тучах ижицу.
Тучи сели до земли,
К лесу лижутся.

(Стихи рабкора, «Красн. новь»)

«Изгнание» – не то место, где можно отучиться от высокомерия», – говорит Ду Фу у Брехта.

-изм Классицизм в школе (в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большое – по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе.

Изнанка «Я всегда говорил, что у каждой изнанки есть свое лицо», – сказал мне В. Холшевников. А психотерапевт говорил: любишь саночки возить, люби и кататься.

Ich und du «Ты – это я, но я – отнюдь не ты» – строчка из пародии Суинберна на философию Теннисона («The higher Pantheism in a Nut-shell»). Если был поэт, самым богом назначенный, чтобы его переводил Бальмонт, так это Суинберн; но Бальмонт не перевел из него ни строчки и предпочитал Теннисона. Даже скандалы у них были одного стиля. Когда после смерти Суинберна разобрали его бумаги, Хаусмен сказал: «Что ж, мазохизм по крайней мере дешевле, чем садизм».

Иконостас Богатая рифма (с опорным согласным) во

французской поэзии ценится, а в немецкой считается смешной. Я обнаружил, что когда в русской поэзии начала XX века стала возрождаться богатая рифма, то первым ее стал вводить Вяч. Иванов – казалось бы, человек не французской, а немецкой культуры. Я сказал об этом С. Аверинцеву, он ответил: «Знаете, бывает, что в иконостасе у человека стоят одни иконы, а молится он совсем другим...»

Имя Ю. М. говорил о современной поэзии: «Фамилий много, с именами – осечка».

Индивидуальность Хорошим в искусстве нам кажется золотая середина (для каждого своя!) между привычным и непривычным: сплошь привычное – «плохая поэзия», сплошь непривычное – «вообще не поэзия». Пародия пародирует или крайности привычного (тогда она жанрово-стилевая – лучше сказать «родовая»), или крайности непривычного (тогда она индивидуальная). Горький пародировал общесмертнический стиль, а Ф. Сологуб принял это за индивидуальную пародию, переоценивая свою неповторимость.

Интеллектуализм Г. Померанц сказал на конференции Г. Левинтону: «Интерпретация без онтологической основы ведет к бездуховному интеллектуализму». Теперь я знаю, кто я такой: я – бездуховный интеллектуалист.

Интеллигенция Е. Путилова: «Сидоров начал говорить: „Я, как интеллигентный человек...“. Я сказала: „Я уже знаю все, что вы скажете“».

Интеллигенция Л. Толстой получил письмо, подписан-

ное *Гражданка*: «Если народ будет благоденствовать, что же тогда делать интеллигенции?»»

Интервьюер говорил: «А вот интересно...» – и, порасуждав, сходил на нет. Я спрашивал: «Как, значит, вы формулируете свой вопрос?» – хватал бумагу и писал ответ письменно (вероятно, казалось, что это разговор глухого с немым). Кончив, я спросил, почему он так бессвязен. «А я работал в „Независимой газете“». – «И кого интервьюировали?» – «Л. Рубинштейн, Сорокин, Пригов...» – «Все ясно, это люди творческие, они, наверное, как Зюганов, который, о чем ни спроси, начинает излагать свой символ веры, – так и они на любой вопрос начинают самовыражаться. Они творческие, им есть о чем самовыразиться, а я – нет, поэтому я с большим уважением отношусь к вашим вопросам» и т. д. Он не возражал, только сказал: «Жаль, что вы не отвечали устно: в разговоре иногда приходят интересные вопросы». – «А мне не приходят интересные ответы».

Интерпретация Не спешите по ту сторону слов! Несказанное есть часть сказанного, а не наоборот.

Интертекст На площади Люблинской унии в Варшаве – магазин под вывеской «Интертекст», по-видимому, что-то текстильное.

Интертекстуальность Эпиграф к ней: «Никто-никогда-ничего-не сказал в первый раз». В соответствии с сентенцией, не помню ее автора.

Интертекстуальность А чем, собственно, интертексту-

альная интерпретация лучше психоаналитической или социологической? Те вычитывают в тексте эдиповы и классовые комплексы, а эта – всю мировую литературу, существовавшую до (а иногда и после) этого текста.

Интим Вен. Ерофеев был антисемит. Об этом сказали Лотману, который им восхищался. Лотман ответил: «Интимной жизнью писателей я не интересуюсь».

Интим Э. Юнгер на фронте спросил пленного офицера: как вы относитесь к советскому режиму? Тот ответил: «Такие вопросы с посторонними не обсуждают» («Иностр. лит.», 1990, № 8).

Интонация Бунин рассказывал, что начал читать Мережковского об апостоле Павле, заснул, а проснувшись, увидел, что читает о Наполеоне. А может быть, это были Жанна д'Арк или Дант (восп. Бахраха).

Интонация Есть немало еврейских анекдотов, связанных с вопросительной интонацией. Такой же анекдот случился, оказывается, с той фразой из Библии, которую Лермонтов поставил эпиграфом «Мцыри»: *Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю*. С повествовательной интонацией это воплощение смирения. Но это слова Ионафана, который во время боя нарушил объявленный Саулом пост, наелся меда и с новыми силами разбил врагов. И когда Саул, несмотря на победу, хотел казнить Ионафана за нарушение поста, тот возмутился: «Я съел чуть-чуть меда – и за это мне теперь умирать?!»

Информация А. Устинов рассказывал: еще до Интернета американские слависты организовали общую сеть e-mail для профессиональных справок. Сразу поступили два запроса: откуда это: «Мы все глядим в Наполеоны» и «Одна, но пламенная страсть»?

И ныне дикой Как известно, при Павле учреждена была цензура, преимущественно для книг, приходящих из-за границы, но она скоро прекратила свои действия, потому что запрещен был ввоз всех книг, кроме написанных на тунгусском языке (Ключевский).

Искренность Красивым считается то, что редко; искренним – тоже. Пример Б. Ярхо: у скальдов канонизировалась панегирическая песня, а любовная выживала только личным талантом автора, у трубадуров – наоборот. А у Катулла?

История – это область, в которой никогда нельзя начать с самого начала (Я. Буркхард).

«**История** принадлежит поэтам, потому что из нее ничто не вытекает» (П. Сухотин).

История не телеологична и не детерминирована, это бесконечная дорога в обе стороны до горизонта, русский проселок под серым небом.

История Стиховед Р. Папаян был выдвинут в депутаты Верховного совета Армении, соперниками были три директора и начальник тюрьмы, в которой Папаян сидел когда-то за армянский национализм. (Лотман, у которого он учился, воскликнул: «Вот за что я люблю историю!») На встречах с

избирателями тюремщика спрашивали, какого он мнения о Папаяне; у него не хватило ума ответить «примерного поведения», и он говорил: «Много их проходило, всех не упомянешь».

История формирует О. Б. Кушлина в «Неприкосновенном запасе»: я давно поняла, не я стреляю и не в меня стреляют, а меня закладывают в пушку.

ПИСЬМО ИЗ ИТАЛИИ:

Дорогая И. Ю.,

пишу Вам с трети моего пути, из пастернаковского города Венеции. Встречает меня на вокзале zdeшний мой приглашатель, говорит: «Рад вас видеть в золотой голубятне у воды...» — «...в размокшей каменной баранке», — отвечаю я. Знаете, почему каменная баранка? Поезд подходит к Венеции по длинной дамбе через лагуну (по дороге в Крым точно такая дамба лежит через Сиваш, Гнилое море). И виднеющийся берег Венеции издали надвигается выпуклым полукругом с низкими смутно-каменными строениями по ободу; а вокруг по лагуне маячат редкие камышовые островки, как крошки вокруг баранки. Вот какой реальный комментарий везу я для нашего издания.

К сожалению, этот комментарий — весь прок от Венеции. Оказалось, что доклад мой здесь отменен и я должен пробыть два дня праздным туристом, а я этого не умею.

Весь день меня водили по городу два слависта. Помните ли Вы, что у Пастернака есть второе стихотворение о Венеции: «Венецианские мосты», перевод из Ондры Лысого, перечитайте, оно хорошее. А потом вспомните, пожалуйста, Марбург; сузьте мысленно его переулочки до шага поперек; на перекрестках вообразите эти самые венецианские мосты, утомляюще горбатые, а под ними «голубое дряхлое стекло», которое на самом деле зеленое и очень мутное; и считайте, что Вы побывали в Венеции. В довершение домашности через город течет москворецким зигзагом Каналь-Гранде шириной с ту Канаву, что возле Болотного сквера, а по ней ходят речные трамвайчики, только почище и почище, чем у нас. Ходят медленно-медленно, чтобы люди смотрели по сторонам на замшевые мраморные баракки. Домам в городе тесно, они сплюсывают друг друга до остроугольности, а каждый дворик называется «площадь».

Чего нет в Марбурге и Москве, так это собора св. Марка, но это очень хорошо. Он страшен патологическим великолепием. Он огромен, под пятью куполами, и на каждой белой завитушке фасада сидит по черному святому. В куполах вытянутые золотые византийские святые, а под ними барочные фрески с изломанными телами и выющимися плащами. Посредине – православный иконостас, а на нем католичнейшие черные скульптуры двенадцати перекрученных апостолов. Центр внимания – византийская доска в 80 икон, еле видных из-под сверкающего оклада с таким золо-

том и камнями, что за поглядение на них берут добавочную плату. Огромный храм так загроможден алтарчиками и амвончиками, что в нем не повернуться, и тесная толпа туристов бурлит по нему, как перемешиваемая каша. Туристы – это стада школьников с цветными рюкзаками и сытые иностранцы. Я вспомнил римского св. Петра – единственное, что я там видел четыре года назад. В нем только голые мраморные стены, уходящие в неоглядную высь, и такой светлый простор, что даже туристские толпы теряются, как на площади.

Предыдущий город, Болонья, почти гордится тем, что он – не туристический. В нем улицы – как переулки, вдоль всех по сторонам – серые аркады с портиками, радующими мои античные привычки, а между ними протискиваются рыжие автобусы. Тяжеловерхий романский собор сросся из нескольких церквей и похож на темную коммунальную квартиру четырех святых. Над городом, как двузубая вилка, стоят две квадратные серые башни, одна прямая, другая наклонная, и на ней надпись из Данте: «Антей стоял в огненной яме, наклонясь, как болонская башня».

В главном моем городе, Пизе, наоборот, Пизанская башня только притворяется падающей: чуть заметно. А рядом с ней стоит, шокированный ее кокетством, гораздо более привлекательный собор: чинный, угловатый, но весь покрытый колонночками и арочками, как тюлем. Небо синее, трава зеленая, а собор белый. У него купол, как голубая лысина,

а рядом на земле стоит другой купол, побольше и попышней, как будто собор снял шапку от жары: это баптистерий. Внутри собора все только светло-серое и темно-серое, как на доцветной фотографии, и от этого ярче маленькие витражи; на одном – ярко-синий бог держит желтую солнечную систему, вероятно Птолемееву. Сам же город – потертый и облезлый, и дом, где кафедра славистики, с виду как каменный сарай. За углом, в ряду других – рыжий трехэтажный домик: «Это все, что осталось от башни Уголино, вот мемориальная доска, а теперь тут библиотека».

Итальянские студенты, говорят, прилежные: это в них официально насаждаются угрызения совести за то, что со времен Данте Италия ничего не сделала в словесности, а только в живописи и в музыке. Мой старый корреспондент, комментатор «Облака в штанах», то ли нервный из почтительности, то ли почтительный из нервности, взял у меня на день две машинописи на свои темы и вернулся в отчаянии: потерял их, забыв в телефонной будке вместе с грудой собственных бумаг. Я в тысячный раз вспомнил незабвенные слова Аверинцева после первой его стажировки: «Миша! непременно поезжайте в Италию, там такая же безалаберщина, как у нас». Кстати, каждый собеседник непременно говорит: «Берегите деньги! здесь Лотмана обокрали, Мелетинского обокрали: это уже традиция».

Венецианский Марк был (как будто) золоченый, пизанский собор – белый, флорентийский – серый (и небо над ним

серое – единственный раз за две синих недели). Светло-серый, выложенный темно-серым, – говорят, весь тосканский камень такой. Он как огромная умная голова над городом, на восьми крепких плечах во всю площадь. Купол словно расшит бисером по тюбетеечным швам, но так высок и важен, что этого не замечаешь. Баптистерий, тоже серый по серому, – как восьмигранный мраморный кристалл, а узкая белая колокольня – как четырехгранный карандаш. Все очень знаменитые и присутствуют во всех историях искусства. А на соседней площади стоит очень маленький белый микеланджеловский Давид (копия). Маленький, потому что за его спиной огромный бурый фасад ратуши, плоский и островерхий: он при ней, как привратник. А что копия, так это ничего: неподалеку стоит домик Данте, весь построенный сто лет назад. Рядом через переулочек – вход, как в лавочку, и надпись: «Это церковь, где Данте встретил Беатриче Портинари».

Вот в таких и подобных декорациях я был на двух ученых конференциях. Одна, по европейскому стишу, была в белом монастыре над Флоренцией: покатый деревянный потолок, временами над ним колокольный звон. Я понимал, о чем говорят, но не понимал, что́ говорят. (Впрочем, потом мне сказали, что часто и понимать было нечего.) Другая была в Риме, где делал доклад Успенский. Потом командир итальянских славистов принимал нас дома <...> «Здесь все начальники такие?» – «Нет, есть еще один, он – вальденец». – ? –

«Да, как в XII веке: у них свои центры по всей Италии». – «А чем он занимается?» – «Издает „Тень Баркова“ с комментариями». Впрочем, потом мне сказали, что это уже другие вальденцы – из XVI века.

За две недели я чувствовал себя человеком шесть дней. три лекции, две конференции и один день взаперти в гостиничном номере. Хотел разобраться в кирпичной каше родного римского форума, но уже не хватило духу. (Хозяевам сказал: «Там все постройки – императорские, а для меня это уже модерн».) Зато, проезжая, видел вывески: улица Геродота, улица Ксенофана, улица Солона, улица Питтака, кафе «Трималхион». И возле куска древней китайгородской стены стояла узким серым клином пирамида Цестия – чье-то необычное надгробие, античный конструктивизм...

Карцеры на гравюрах Пиранези похожи на что угодно, только не на тюрьмы: пассаж, вокзал, завод, ангар, но простор, а не застенок. Страх простора в XVIII веке?

Катарсис И. Бабель в письме к А. Слоним 26 декабря 1927 года: «Мой отец лет 15 ждал настроения, чтобы пойти в театр. Он умер, так и не побывав в театре».

Кафка Я написал в биографии Овидия: в средние века думали, что ему вменяли языческий разврат, в XVIII веке – роман с императорской дочкой, в XIX веке – политический заговор, а в XX веке – что ему просто сказали: «Ты сам знаешь, в чем виноват – ступай и платись». С. Ав. заметил: «Это уж у вас слишком по Кафке». Оказалось, именно так дей-

ствовала инквизиция при Галилее: не предъявляла никакой вины, а спрашивала: «Какую вину ты сам за собою знаешь?» Сперанскому при ссылке тоже не было никаких обвинений, «сам понимай за что» (от А. Зорина).

«Каянья много, обращения нет» (Даль).

Киллер Романист в «Московском листке» за каждое убийство брал сверх гонорара 50 рублей, а за кораблекрушение с тысячей жертв запросил по полтиннику за душу, но тут Пастухов его прогнал.

Кириллов вам нравится только потому, что он тоже заикается», — сказала Р. Я перечитал главы о нем: нет. Пьет чай, забавляет дитя мячом, благодарен пауку на стене, говорит «жаль, что родить не умею». Уверяют, будто Достоевский обличал: если Бога нет, то все дозволено и можно убивать старушек. Нет, самый последовательный атеист у Достоевского утверждает своеволие, убивая себя, а не других, и не затем, чтобы другие тоже стрелялись, а чтобы оценили себя, полюбили друг друга и стали счастливы. И уважает Христа, который (понятно) в Бога тоже не верит, но учит добру. Такой его Христос похож не только на горьковского Луку, но и на Великого инквизитора: после этого понятнее, почему Христос его поцеловал.

Кстати, «У кого Бог в душе, тому все дозволено» — смысл надписи Б. Пастернака, адресованной дочери Л. Гудиашвили в 1959 году (восп. В. Лаврова). Вот тебе и нигилизм.

Кирпич Постмодернизм — поэтика монтажа из облом-

ков культурного наследия: разбираем его на кирпичи и строим новое здание. У этой практики – неожиданные предшественники: так Бахтин учил обращаться с чужим словом, так поздний Брюсов перетасовывал в стихах номенклатуру научно-популярных книг. В конце концов, и Авсоний так сочинял свой центон. Когда я учился в школе, мы с товарищем выписывали фразы для перевода из английского учебника («У Маши коричневый портфель») и пытались собрать их в захватывающую новеллу; теперь я понимаю, что это тоже был постмодернизм.

Еще к постмодернизму: эпиграфы вместо глав в кульминации повести С. П. Боброва «Восстание мизантропов».

Гл. XII, конец: ...Так как еще старая фернейская обезьяна писала об этих: «главное безумие их состояло в желании проливать кровь своих братьев и опустошать плодородные равнины, чтобы царствовать над кладбищами».

Гл. XIII, эпиграф: Наши философы воткнули ему большое дерево в то место, которое д-р Свифт, конечно, назвал бы точным именем, но я не назову из уважения к дамам (Микромегас). И две строчки точек.

Гл. XIV, эпиграф: Привели волка в школу, чтобы он научился читать, и сказали ему: говори «А», «Б». Он сказал: «ягненок и козленок у меня в животе» (Хикар). Две строчки точек.

Гл. XV, эпиграф: Была раскинута сеть на мусорной куче, и вот один воробей увидел эту сеть и спросил: «Что ты

здесь делаешь?» Сеть сказала: «Я молюсь Богу». Текст: «Две предыдущие главы хороши главным образом тем, что никак не утомят читателя, дополнившего до них. Это их главное достоинство. Автор понимает это. Кроме того, они освящены авторитетами и нимало не запятнаны личными опытами автора. Шутнику остается только сказать своей даме, что это самые интересные главы в повести и что жаль, что таких глав только две, – но так как такие-то главы он и сам может сочинять в любом количестве, то и представим ему это приятное занятие. Мы же обращаемся к серьезным людям. Мы, правда, не осмелились сказать это ранее пятнадцатой главы...» и т. д.

Китч «Гурджиев – философский китч», – сказал М. Мейлах. Еще вернее было бы сказать это про всю так называемую философскую поэзию.

Класс Гражданская война началась и кончилась крахом классового чувства перед национальным: началась чехословаками, а кончилась Польшей.

Колесо В природе есть только одно подобие колеса: перекати-поле (А. Битов).

Коллега «Потом я узнал, что картежные шулера тоже говорят друг другу: коллега» (восп. Милашевского).

Коллективные труды «Цусимский принцип, – говорил Н. И. Балашов, – скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля». Акад. Тарле, когда его часть в каком-то коллективном труде редактировали и унифициро-

вали, сказал: «Почему это когда постное попадает в скоромное, то не страшно, а если скоромное в постное, то нехорошо?»

Коллективный труд: три горы родили треть мыши (кажется, З. Паперный).

Коллективный труд «Такая орфографическая ошибка, которую под силу сделать разве что вчетвером» (Дневник Гонкуров, 23 дек. 1865 г.).

Коловратность В Ереване над городом высился памятник, его сняли, а что поставили? Ничего. Сын сказал: надо кубик с надписью «Неведомому богу».

Комментарий – для какого читателя? Давайте представим себе комментарий к Макаину, написанный для Пушкина.

Компромат Вал. Герасимова сказала: опять начнут обливать друг друга заранее заготовленными помоями. М. Левилов на это заметил: в английском языке есть 86 синонимов драки, но нет помоев (дневник М. Шкапской, 1939 г.). А. С. Петровский говорил, что, когда его хвалят, ему кажется, что его поливают теплыми помоями.

Континуум – по-русски «сплошняк».

Красота как целесообразность без цели. Писатель Гайдар зашел в парикмахерскую: «А вы можете сделать меня брюнетом?» – покрасили; «а кудрявым?» – завили; «ну а теперь, пожалуйста, наголо!» – и, расплачиваясь: «Интересно же!»

Красота Фотография Бальмонта с надписью А. Н. Тол-

стому: «Красивому – красивый» (РГАЛИ, 2182, 1, 140–141).

Красота Гумилев говорил жене: «Помолчи: когда ты молчишь, ты вдвое красивее».

Серия снов О. Седаковой.

Как убили Мандельштама

*Мы идем по Манежной площади – очевидно, с Н. Я. Внере-
реди, за три шага – О. Э. Подойти к нему нельзя. При этом
мы знаем условие, при котором его заберут, а он нет. Усло-
вие – если он остановится у ларька. Ларьков очень много:
сладости, сигареты, открытки. Он все время заглядывает-
ся, а мы внушаем на расстоянии: иди, иди, иди. Но напрасно.
Он остановился, и его увели. Мы выходим на Красную пло-
щадь. Там парад. Генерал разводит войска. Войска исчеза-
ют, как дым, во все четыре стороны. Тогда по пустой пло-
щади очень громко он подходит к Н. Я., отдает честь и вру-
чает рапорт: «1) Удостоверяю, что Ваш муж бессмертен.
2) Он не придумал новых слов, но придумал новые вещи. 3)
Поэтому не кляните меня. – Генерал». Мы оказываемся в
ложе роскошного театра. На сцене – Киев. Лежит мертвый
О. Э., а над ним растрепанная эсеница кричит: Ой, який
ще гарний!*

Как болела Ахматова

*Ахматова лежала посреди комнаты и болела. Другая Ах-
матова, молодая, ухаживала за ней. Обе были ненастоящие
и старались это скрыть, то есть не оказаться в каком-то
повороте, – поэтому двигались очень странно. Появился Ю.*

М. Лотман, началась конференция, и было решено: «Всем плыть в будущее, кроме Н., у которого бумажное здоровье».

Как Пастернака отправили по месту рождения

Пастернака я встретила на лестнице, он был очень взволнован: «Подумайте, меня заставили заполнить анкету. Место рождения. Ну какое же у меня может быть место рождения? Я и написал: Скифо-Сарматия. А теперь всех высылают по месту рождения».

Бродский

Бродский приехал из Америки в Одессу покататься на трамвае. Трамвай шел по воздуху над морем цвета чайной розы. Было очень приятно.

Чехов

На переходе «Парка культуры» возле неработающих автоматов стоял Чехов и глядел на толпу таким взглядом, как будто он Христос.

Шостакович

Шостаковичу я сдавала экзамен по древнерусской литературе. Он поставил на пюпитр натюрморт и сказал: пожалуйста. Я, притворяясь, что все остальное мне понятно, спросила: «А сколькими пальцами играть?» – «Конечно, как при Бахе». Откуда-то я вспомнила, что восемью, но это оказалось очень трудно, потому что я загибала не большой палец, а безымянный. Когда натюрморт кончился, оказались обыкновенные ноты. Но я рано обрадовалась: эти ноты были вишини, и если ближние можно было сыграть, то

дальние никак. Я придумала наконец – и клавиатура стала круглой, так что дальние ветки оказались внизу. Но на следующей странице появилась уже гроздь – не то винограда, не то сирени, бесконечно многомерная. В отчаянье я отрываю руки от клавиш и шевелю пальцами в воздухе – и звучит невероятная, божественная трель. Это телефонный звонок.

Кто «Нам нужны не великие потрясения, но великая Россия», – первым сказал не Столыпин, а член министерства внутр. дел по фамилии И. Я. Гурлянд («Отеч. ист.», 1992, № 5, с. 166). См. I, **Штука**.

Кто? Для Бахтина мысль неотделима от личности. Есть такая садистическая игра – предложить собеседнику несколько малоизвестных стихотворных строк и допрашивать его: хорошо или плохо? Мало кто догадается перевести ответ в «мне нравится» или «я равнодушен» – даже хорошие ценители говорят: «Вы сперва скажите, чье это...» При мне В. Рогов перед коллегами-переводчиками с сокрушительным пафосом прочитал несколько стихотворений и требовал оценки; но даже Левик прежде всего спросил, чьи они. Это оказались стихи Агаты Кристи. Об этом есть известная формула: «Неважно *что* и неважно *как*, а важно *кто*». Я прочитал ее в старом «Крокодиле», но то же самое, оказалось, говорил художник Ренуар. Не правда ли, есть разница в авторитетности? Так в Спарте, когда в собрании... и т. д. (см. **Идея**).

Кукушка и петух Пастор, венчая двух непригожих молодых, напутствовал их так: «Любите друг друга, дети мои, потому что если не будет в вас взаимной любви, то кой черт вас полюбит» (Вяземский).

Культура Дочери была нужна нервная разрядка, она пошла в магазин и встала в очередь. Сказала соседке: «Крыса!» Та ей: «А еще в очках!» Пришлось ответить: «Сама культурная!» – и та смолкла.

Кумиры современные. «Не поклонюсь твоим коммерческим (т. е. кумирическим) богам» – было в некоторых записях «Царя Максимилиана» задолго до перестройки.

Кутерьма – от тюркского кютерьмек, обряд при выборах хана, когда его поднимали на войлоке, как на щите. Теперь мы знаем этимологию политических событий.

Кухня Когда в МГУ приезжал Якобсон, Ахманова из тревожной осторожности представила его: «Американский профессор Р. Джекобсон». Якобсон начал: «Собственно, меня зовут Роман Осипович Якобсон, но моя американская кухарка, точно, зовет меня м-р Джекобсон». Теперь ссылки на Джейкобсона я нахожу уже в переводных книгах.

«**Лаиса** – имя, бывшее в распространении среди греческих гетер и ставшее нарицательным для женщин с независимым понятием о моральном кодексе» («Современник», 1982, с. 214).

Латынь *Tertia vigilia* точно переводится «собачья вахта».

Лепетация – слово в дополнениях к Словарю языка

Пушкина (по черновикам). «Сокровищем родного слова / (Заметят важные умы) / Для лепетации чужого / Безумно пренебрегли мы».

«**Лежка**» В Псковской губ. еще в конце XIX века крестьяне в голодные зимы впадали в спячку, экономя силы: просыпались раз в день съесть кусок хлеба и напиться, иногда протопить печь; называлось это «лежка» (из очерка Лескова «Загон»). Так и Шенгели студентом в Харькове от голода жил лежа.

«**Либерская гавридия**» – назывался при Дале офенский жаргон.

Э. Фрид

HOMO LIBER ¹¹

*Я книга
которая будет
когда я перестану быть «я»
Я книга
которая будет «я»
когда я стану книгой
Книга*

¹¹ В настоящем издании см. также т. V, с. 256–257. – Прим. ред.

которая зачитана
и еще не написана
Книга
которая предписана
еще не прочитанному
Я книга
которая раскрывается
и которая закрывается
которая собой не покрывается
и перекрывается
и скрывается
Книга попавшая в переплет
расклеивается
рассыпается по листику
Продолжения нет
но она знает
что ей конец.

Литература факта «Первым лефовским сочинением было „Земледелие“ Катона», – сказал В. Смирин.

Личность – скрещение социальных отношений. Такова была купчиха Писемского, любившая мужа по закону, офицера из чувства и кучера для удовольствия. Раньше я называл себя *скрещение социальных отношений*, теперь – *стечение обстоятельств*.

Личность Комментарий к Авсонию, конечно, весь компилятивный, но я и сам ведь весь компилятивный (к сожалению, не импортный, а очень среднерусский). Б. Ярхо пи-

сал в письме: «Люди все чаще кажутся мне книгами, и порой я становлюсь в тупик перед замыслом их сочинителя». Так что мое дело как филолога – разобраться в источниках себя.

Личность Я – ничто как личность, но я – нечто как частица среды, складывающей другие личности.

Лицо Лию Ахеджакову спросили, кем она себя чувствует, москвичкой или лицом кавказской национальности, она ответила: кого быют, тем и чувствую.

Ломовая мышь – родная мне порода. Стать бы чеширской мышью – ломовой улыбкой без плоти.

Лыжи Старый Прозоровский и после Аустерлица считал Кутузова мальчиком, «а этот мальчик (прибавлял Ермолов) и сам уже ходил, как на лыжах» (Вяземский).

Любимые авторы Льва Толстого – Тютчев и... Буренин. «Его „Стрелы“ стихотворения прекраснейшие», – говорил он (Маковицкий). Любимым поэтом Льва Толстого был Беранже, любимым прозаиком Б. Пастернака был Голсуорси. «„Гренада“ Светлова – лучше всего Есенина», – писала Цветаева Пастернаку.

Лягушка, на поле увидевши быка,
Влюбилась в его широкие бока.

Граф Хвостов

Любовь «Сухая любовь» – платоническая (Даль). «Любовь вперебой» – заглавие раздела в «Частушках» Симакова.

Любовь «Хороший шахматист умеет играть, не глядя на

доску, хороший влюбленный – любить, не глядя на женщину» (С. Кржижановский).

Любовь Боккаччо в «Филоколо» различает любовь к Богу, любовь-страсть и любовь продажную: о первой умалчивает, третью презирает, а от второй предостерегает: начало ее – страх, середина – грех, а конец – досада.

Любовь НН остался душеприказчиком большого филолога; тот, зная цену точным фактам, позаботился оставить у себя в архиве собственноручный донжуанский список. Я не удержался и спросил: «Аннотированный?»

Сон в больнице. Голубой гроб, но вместо крышки – голубая же клеенка, приколотая кнопками; надо его выносить, но я замечаю под клеенкой шевеление, вынимаю кнопки из изголовья – из щели, змеясь, вылезает Евгений Онегин в цилиндре, потряхивается и говорит: «Надо что-то делать с Пушкиным».

Марр Набоков и Гете сходны естествоиспытательским взглядом на мир (только Н. приравнивает живое к неживому, а Г. наоборот), а Белый и А. Н. Толстой схожи выведением всего на свете из жеста. Когда критиковали марровский «язык жестов», кто-то сказал: «Да как же в труде мог родиться язык жестов, если руки были заняты?»

Масонство было чем-то вроде тимуровского движения в заформализовавшемся христианстве: идеалы те же, но сдобренные тайной.

Математика «Без меня народ неполный»? Нет, полнее,

чем со мной: я – отрицательная величина, я в нем избыточен.

Математика В американском докомпьютерном анекдоте университетский завхоз жалуется на физиков и биологов, которым нужны приборы: «То ли дело математики – им нужны только карандаши и резинки. – И мечтательно: – А философам даже резинок не нужно...» Если философия есть философствование, то да. Эйнштейн о философях: «Как будто у них в животе то, что не побывало во рту».

«Когда число слушателей меньше одного, я отменяю лекцию», – говорил А. Есенин-Вольпин. В университете нам, второсортным отделениям – античникам, восточникам, славистам, – русскую литературу второй половины XIX века читал А. А. Сабуров, автор книжки о «Войне и мире». Читал он так, что от раза к разу аудитория пустела. Он, бросая взгляд с кафедры, изычно говорил: «Наш круг час от часу редет». Наконец в амфитеатре оказался только один слушатель (это был я) – отменил ли он лекцию, не помню. Потом в блоковском «Литнаследстве» я прочитал дарственный инскрипт Блока Андриюше Сабурову, одиннадцатилетнему: он был племянником Метнеров. А мы и не знали.

Матрешки стали вырабатываться в России с начала XX века по японскому образцу, первым взялся за это и дал им название один из учеников Поленова.

Мелодика стиха «Я помню, как года три назад на поэтическом фестивале в Питере один поэт пытался бить другого со словами: „Ты зачем, сука, у меня интонацию украл?“» (Л.

Рубинштейн. «Еженед. журнал», 2002, № 27).

Мемуары Вечер был чудный, мягкий, теплый, душистый. Полная луна кидала свой свет блестящей полосой по морю, и поверхность воды искрилась жемчужными чешуйками. Воздух был весь насыщен запахом цветущих лимонов, роз и жасмина (Е. Матвеева. Восп. о гр. А. К. Толстом и его жене, «Ист. вестник», 1916, № 1, с. 168).

Мертвым хоронить мертвецов В Вермонте на кладбище есть надпись «ум. ок. 1250 до Р. Х.» Это египетская мумия, ее купил коллекционер, а она подпала под закон штата, запрещающий не хоронить покойников.

Метафизика Карлейль, «Философия свиньи»: «Кто сотворил свинью? Неизвестно. Может быть, колбасник?»

Метонимия в строке Мандельштама «Зеленой ночью папоротник черный» – простейший обмен красками создает устрашающий эффект. Его тянуло к этой гамме, ср.: «И мастер и отец черно-зеленой теми».

Милость «Господи, помилуй, да и нешто подай» (Пословицы Симони).

Минута молчания (когда все встают со стульев: «конский пиетет» – выражался Розанов) в 1960–1990-е годы в среднем длилась 20 секунд. В «Затмении» Антониони незабываемая минута молчания на бирже длилась все-таки 30 секунд. Когда в античном секторе ИМЛИ мы поминали ушедших, то я никого не поднимал с места, но за полнотой минуты следил по секундной стрелке. Со стороны это должно бы-

ло выглядеть отвратительно, но время ощущалось не символическое, а настоящее.

Minorities «В Америке негры и евреи борются за место морально-привилегированного меньшинства; а когда изобрели ликвидацию глухонемой дорогостоящим вживливанием аппарата в череп, то союз глухонемых протестовал против попытки оторвать человечество от сокровищ культуры глухонемых» (слышано от Т. Толстой).

Мировоззрение «Рок – не музыка, рок – мировоззрение», – сказали мне. Я вспомнил, что еще в 1972 году была конференция о том, что верлибр – это тоже мировоззрение. А для некоторых буква *ять* – тоже мировоззрение. Г. Н. Поспелов говорил, что мировоззрение у него марксистско-ленинское, миросозерцание чиновничье-бюрократическое, а мироощущение голодранческое (5-е Тыняновские чтения, с. 434).

Миссия Самое знаменитое место Вергилия в VI книге: «Другие будут лучше ваять статуи и расчислять звездные пути, твое же дело, римлянин, – править народами» [потому что к этому ты лучше приспособлен, чем другие]. У Киплинга из этого вышло «Бремя белых», а у Розанова: «Немцы лучше чемоданы делают, зато крыжовенного варенья, как мы, нипочем не сварят». Щедрин (в «Благонамеренных речах») выразился еще ближе к первоисточнику: «Грек – с выдумкой, а наш – с понятием». Правда, у него «наш» – это Дерунов.

Мозг есть не орган мышления, а орган выживания (говорит биолог А. Сент-Дьердь). Он устроен таким образом, чтобы заставить нас воспринимать как истину то, что является только преимуществом.

Мороз Французов в 1812 году губил не столько мороз, сколько – еще раньше – жара и понос от русской пищи (Уэствуд), особенно тяжелый для конников – вспомним надпись Александра Македонского: «...разбил и преследовал до сих мест, хотя страдал поносом». Русская армия в преследовании от Тарутина до Вильны сама от мороза потеряла две трети.

«**Моя милиция** меня бережет»: в такой сравнительно небольшой республике, как Башкирия, в 1999 году было 80 000 милиционеров (это 2% населения). Сейчас, наверное, еще больше.

Мужество Н. И. Катаева-Лыткина, видевшая войну, говорила: «Мужество – это у командира, который отсылает солдат и остается погибать у пулемета. И у его солдат, которые слушаются и уходят. Но не у того, который бросается погибать на амбразуру».

Музыка По восп. Сабанеева, у Толстого реакция на музыку была физиологическая: плакал от одного пробного звука нового консерваторского органа («Современные записки», 1939, № 69,). Сабанеев студентом сам показывал Толстому этот орган.

Мы Старый Оксман в письме Чуковскому цитирует: «Нас

мало, да и тех нет».

«**Мысль** изреченная есть ложь», но из этого еще не следует, что мысль неизреченная есть истина. «Между пифагорейцами, которые умели познавать и молчать, и Аристотелем, который умел говорить и сообщать познанное, за спиной у Платона, который с героической безнадежностью бьется вместить в слово полноту молчания, стоит Сократ, который умеет умолкать – подводить словами к молчанию, передавать труд от повитухи-речи – роженице-мысли».

Ты помнишь, жаловался Тютчев:
Мысль изреченная есть ложь?
Ты не пытался думать: лучше
Чужая мысль, чужая ложь...
...И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз,
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

И. Эренбург, 1957

Наука Смешивать любовь к науке с любовью к ее предмету – недопустимо: искусствовед «должен любить Рафаэля не более, чем врач красивую пациентку... Ученый в жизни не должен быть тем же, что в науке: жизнь есть воля, а наука

– подчинение» (В. Алексеев. Наука о Востоке).

Наука не может передать диалектику, а искусство может, потому что наука пользуется останавливающими словами, а искусство – промежутками, силовыми полями между слов.

Науки, по Магницкому, делились на положительные (богословские, юридические, естественные, математические) и мечтательные (все остальные).

Фундаментальная наука: во-первых, с одной стороны, это очень инерционная система. Даже совсем прекратить финансирование – она очень долго будет самоликвидироваться.

В. Булгак, вице-премьер по науке («Итоги» 22.7.1997)

Национальность «Я по специальности русский, раз пишу на русском языке» – ответ С. Довлатова в интервью. Русские – это только коллектив специалистов по русскому языку. Если мне запретят говорить и думать по-русски, мне будет плохо. Но если не запретят, будет ли другим хорошо?

Национальность Фет на анкетный вопрос, к какому народу хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к которому».

Наш Инструктор горкома партии спросил В. П. Григорьева: «Вы правда считаете „Один день Ивана Денисовича“ хорошей книгой? Ведь он пассивен: почему он не протестует, не борется?» Григорьев сделал большие глаза и сказал: «Он же помнит, что это наш лагерь, а не фашистский». Инструктор сделал неинтересное лицо и сказал: «Ах да, я забыл».

Не опечатка «Всем, кто попал под молох истории» –

крупное заглавие в газ. «Карьера», 3.9.1991. Ср. «...науку, чей качественный статус всегда западал между молохами неизбежной междисциплинарности предмета и неизбежной идеологической ангажированности...» (М. Колеров в газ. «Сегодня», 9.12.1995).

Не «Как вы сами определили бы свою болезнь?» – спросил врач. «Душевная недостаточность», – ответил я.

Не «Я никого не предал, не клеветал – но ведь это значок второй степени, и только» (дневн. Е. Шварца). А Ахматова писала: «Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала» – с гордостью.

Не Лучшей рекламой для компьютеров по американскому конкурсу оказалось: «Они не так уж переменяют вашу жизнь!»

Недотягивать Бродский о «сталинской оде» Мандельштама: для Сталина это было слишком хорошо, власть любит оды, которые до нее недотягивают. Так Ахматова предпочитала портреты, которые недотягивают, и поэтому Альтмана не любила. Египетской собачине у Мандельштама противопоставлен Вийон, который тоже ведь мог бы написать оду – и, пожалуй, без недотягивания. Бродский сказал: «Сумасшествие Мандельштама – игра: знаю по своему опыту у Кащенко».

Немоложавая женщина – выражение Н. Штемпель об упоминаемой Мандельштамом воронежской Норе. «Женщина неочевидной молодости», – было сказано где-то в дру-

гом месте.

Ненависти предмет «Аскету снится пир, от которого бы тревоугодника стошнило» (В. Набоков в «Даре» о революционно-демократической критике). Кто-то применял эту фразу к изображению советского застолья в солженицынском «В круге первом».

Ненависть «У Ю. Самарина ненависть была от недостатка любви к человеку, у Достоевского – от избытка любви к идеалу» (В. Мещерский. Воспоминания).

Ненависть «Я никогда не думала, что ненавидеть так утомительно», – сказала дочь о свекрови.

Ненависть Эренбург говорил Шкапской: «Война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви. Мы ненавидим немцев за то, что должны их убивать» (дневник 1943 г.).

Неологизм «Какое-то новое слово „бой“: раньше называли „сражение“», – говорил Л. Толстой (по свидетельству Маковицкого) вопреки всякой очевидности.

-нибудь Самая знаменитая фраза К. Леонтьева: «Ибо не ужасно и не обидно ли... что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник... для того только, чтобы буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы на развалинах» и т. д. Замечательно, что это точный стиль гоголевского почтмейстера, а Леонтьев Гоголя ненавидел.

Нить На открытии памятника Жукову Говоров зычным 90-летним голосом говорил: «Жуков красной нитью проходит через всю войну...» А повар Смольного вспоминал (по телевизору), как в блокаду Говорова и Жданова обслуживали маникюрщицы, а врачам, лечившим их штат от ожога, разрешали брать объедки, которыми те подкармливали умирающих.

Нравственность «Он считал, что не крадет и не убивает лишь потому, что ему незачем красть и убивать» (Гарпагониада).

Когда я рос, слово «нравственность» не было в ходу, и мне долго не давалось понять, что это значит. Наконец я объяснил его себе строчкой из детских стихов: нравственность – это «что такое хорошо и что такое плохо».

Обварить То, что сделал Грозный с Василием Шибановым: технический термин для начала допроса.

«Образины» – прекрасно перевел И. Коневской заглавие «Гротесков» Э. По.

Объем В «Лит. памятники» прислали перевод «Опыта о человеке» Попа:

Что знаем мы о человеке, кроме
Его названья, чтоб судить в объеме?..

Я вспомнил об этом, когда в программе путча 19 августа 1991 года оказалось объявлено: «Восстановить в полном

объеме честь и достоинство советских граждан».

О времена! О нравы! Бывало, девушка выйдет замуж: что за жена! что за мать! а теперь выйдет девушка замуж: что за жена? что за мать?

Опечатки в «Русском стихосложении» Б. Томашевского 1923 года: «Стр. 18, 48, 55, 62, 63, 64, 87, 88 напеч. Бог, следует: бог. Стр. 53, 88 напеч. Господь, следует: господь» и т. д. Ср. примеч. к «Мистериям» Байрона 1933 года: «Господь и пр. пишутся с большой буквы только как выступающие и не выступающие персонажи; отступления просим считать опечатками». Акад. Александров сказал: они пишут Бога с маленькой буквы, потому что боятся, вдруг с большой он начнет существовать. (Когда вернули на антирелигиозную доработку том «Средневековые литературные теории», сын, вспомнив Лескова, спросил: «Это чтобы вместо „богородица“ писать „пуговица“?») Возникают неправильные понимания: «...я червь, я бог» (a god) – правильно, а «...я червь, я Бог» – кощунственно.

Опись «Жаль, что в описании внешности О. Мандельштама в деле НКВД говорится „рост средний“, без сантиметров и снимка в рост, как при царе, и отсюда столько споров». – «Это потому, что при царе была задача повторно найти преступника, а НКВД управлялся за один раз» (разговор с О. Лекмановым).

Оригинальность «С замечательной оригинальностью он воспевал звучным стихом красоту природы и человеческую

душу, бичуя в то же время сатирой людские пороки и общественную лживость» («Ист. вестник» 1916 г., некролог Ф. В. Черниговца-Вишневого).

Орфография «Одним из требований орфографического режима является унифицированное и грамотное оформление школьной документации» (Сб. приказов и инструкций Мин-ва просвещения, 1983, № 9, с. 30).

Освобождение К. Эмерсон: «Освобождать настоящего Мандельштама нужно от Н. Я. М., а настоящего Бахтина – от Бахтина же: слишком обычен аргумент „Он сам мне говорил“, а говорил он разное – по забывчивости, по переосмыслению, а то и по мистификации».

Отмена Когда Иван Грозный отменял опричнину, он прежде всего запретил упоминать, что она была: за упоминание – батоги (Штаден).

Отупение Мысли, встретясь, прежде чем связаться друг с другом, постоят лоб ко лбу, как бараны.

Охота Всегда знаешь, чего хочешь, и никогда – чего хочется.

Ohrenphilologie На большой конференции во время доклада погас свет. Все замерли: будет или не будет продолжать докладчик? в какой культуре мы живем, слуховой или зрительной? Но свет быстро зажегся, и проблема осталась проблемой.

«**Паламед** изобрел грамоту не только для того, чтобы писать, а и для того, чтобы соображать, о чем писать не на-

до» (Жизнь Аполл. Тианского, IV, 33).

Палиндром Моностих Авсония *Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma* Брюсов перевел «Рим золотой, обитель богов, меж градами первый» – в точности обратный порядок слов. Как ни странно – вероятно, случайность. А это палиндромы из газет:

Да, вот на деле Дантов ад!
Кот учен, но как он нечуток!
Не до логики: голоден.
Наворован доход, наворован.

Пантагрюэль (как его лечили от несварения желудка). К юристу пришла пенсионерка с жалобой: «В меня вселилась кибернетическая машина: как вышла на пенсию – стала писать стихи; понимаю, что плохие, а не могу бросить». Читайте хороших поэтов и т. д. Читает, приносит новые стихи, безукоризненно стилизованные под каждого классика. «Ну, читайте хороших критиков: Белинского и проч.» Читает, приносит прекрасно написанные разносные рецензии на собственные стихи. «Тогда напишите рецензии на собственных рецензентов». Написала и помогло: перестала писать (от Н. И. Катаевой-Лыткиной).

Пантеон Английский фильм «Онегин», вопрос к Лив Тайлор: кого из русских героинь, кроме Татьяны, вы знаете? – «Лолиту; Анну Каренину я еще не успела прочитать».

Патент Когда задумывался биографический словарь

«Русские писатели» и бросилось в глаза, как странно выглядят Пушкин и Толстой в словнике малых и забытых имен, то А. П. Чудаков хотел предложить вообще пропустить десять крупнейших писателей, дав на них только библиографию. Какой спор был бы за последние места в этом патентнике на великость!

ПГТ «В Америке ведь не города, а поселки городского типа», – сказал Томас Венцлова, литовский диссидент, преподающий славистику в Йеле. Вот такой же и Принстон: серый псевдоготический университет, такая же псевдоцерковь, покёльнски поднявшая одно ухо, а вокруг острокрышие дачные домики-кубики с фасадами в дощатую линейку. А после готично-башенного Принстона – кирпичные с наличниками бургерские дома Гарварда. В тамошней гостинице мне сказали: «Здесь до вас ночевали персидский шах и Солженицын».

Педагогика «Уроки истории могут стать полезны, только когда мы сами перестанем поучать историю».

Я попробовал перевести китайское цю с двойного подстрочника (пословный и пофразный), не допуская для передачи специфики языка личных форм глагола:

В западном городе – ивы весной, гибкие ветки.

Горше разлука,

Не сдержать слез.

Памятна та любовь, тот причал вернувшейся лодки:

Красный мост, зеленый дол, добрый день;

*Теперь – ничего.
Напрасна река.
Вешний цвет – не для юных лет.
Долгая тоска:
Когда конец?
Время вянуть цветам, облетать сережкам, всходить на
башию.
Вешняя река, будь вся она из слез,
А все не истечь
Такой тоске.*

Получилось больше всего похоже на «Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд».

Перевод «Автор гораздо меньше думает о читателях, чем переводчик». Потому что переводной текст самим фактом перевода повышенно престижен: это средство иерархизации культуры, и переводчик чувствует свою повышенную ответственность.

Перевод «Подражают, как хотят, переводят, как могут» – формула Фета.

*Чучелом в огороде
Стою, набитый трухой.
Я – человек в переводе,
И перевод плохой.
Сколько я раз, бывало,
Сам себе повторял:
Ближе к оригиналу! —*

А где он, оригинал?

И. Елагин

Перевод Реплики на вечере переводчиков. Первая сказала: «Мы переводим с космического языка на космический, потому что Земля – это культурный пласт Вселенной, но я волнуюсь, потому что у других уже книги, а у меня еще нет». Ее прогнали аплодисментами. Следующий пожурил, что не сумели перевести с ее языка на свой, и начал: «Культура – суррогат экзистенции, поэтому надо переводить не слова, а состояния...»

Переводчик «У всех переводчиков есть и настоящие, душевные стихи, – кроме настоящих переводчиков».

В суд меня вызывали пока один раз в жизни. Дело было так. Я перевел басни Федра и Бабрия. Бабрия раньше никто не переводил, а Федра переводил известный Иван Барков: два издания, второе в 1787 году. В городе Ярославле, на одном чердаке (именно так) эта книжка 1787 года попалась местному графоману, фамилии не помню. Он рассудил, что такая старая книга могла сохраниться лишь в единственном экземпляре и что такой ценный перевод необходимо довести до советского читателя, конечно отредактировав. У Баркова было написано: «Плешивой дал себе горазду апляуху, / Хотев убить его куснувишу в темя муху» – он переделал «горазду» на «огромну оплеуху». Свою переработку он послал в Академию наук с приложением других своих сочинений: сти-

хи, басни, теоретический трактат, поэма «Юдифь», трагедия «Враги». Никакого ответа, но через полгода в издательстве Академии наук выходит тот же Федр в переводе Гаспарова. Понятно: переводчик познакомился с его трудом и присвоил его плоды, иначе откуда он мог узнать о баснях Федре?

Иск о плагиате, доверенность на привлечение к суду по месту жительства. Районный суд был в замоскворецком переулке, вход через подворотню, тесные коридоры углами, зимняя грязь на рассевшихся полах. Заблудившись, я попал в зал заседаний: дело о разводе, у молодого мужа оглохла жена и стала бесполезна по хозяйству, она измученно смотрела на судью и отвечала невпопад. Когда я нашел нужную дверь, меня дольше всего спрашивали, правда ли я переводил стихами прямо с латинского, неужели знаю язык.

Ярославскому истцу назначили адвоката – торопливую завитую женищину. Сели в коридоре, я положил перед ней перевод истца и свой перевод. Она сравнила две страницы, вскочила и побежала отказываться от защиты. Потом истец прислал еще письмо: «Враги мои, стремясь навязать мне в соавторы некоего Гаспарова и застращав адвоката такую-то... но я не останавлиюсь, еще грознее станут мои басни, еще страшнее мои трагедии». Прилагалась басня: «Соавтор и бандит». «Злодей, увидев человека, / подстерег и задержал; / и, ручек у него найдя на четверть века, / как кудесник, угадал, / что перед ним Соавтор оказался. Злодей

был добр и мигом рассмеялся...» и т. д.; конец: «но берегись вперед / и знай, с кем ты имеешь дело!» Стиховедчески интересный текст: свободное чередование ямбов и хореев. Судья – прямая и сухая женщина без возраста – с досадой в голосе сказала мне, что суд закрывает дело за недоказанностью обвинения.

Перековка «И если говорить о перековке, то нам желательно, чтобы окружающие люди были умные, честные и чтоб все стихи писать умели. Ну, стихи, в крайнем случае: пушай не пишут. Только чтобы все были умные. Хотя, впрочем, конечно, ум – дело темное. И часто неизвестно, откуда он берется. Так что желательно, чтобы все были хотя бы честные и чтобы не дрались. В крайнем случае даже пусть себе немного дерутся...» (М. Зощенко. Голубая книга).

Переписка К стиху Авсония (Посл. 26, к Павлину, 30) «Чем стыднее молчать, тем труднее нарушить молчанье» комментатор цитирует Вуатюра: «Я не писал тебе шесть месяцев – первый месяц по небрежности, остальные от стыда». «Аграфия» – деликатно говорила о себе Ахматова, боявшаяся письмами скомпрометировать себя перед потомством. Ср. И. Коневской Брюсову 3 мая 1900 года: «Простите мне, В. Я., продолжительную бесприветность: все последнее время чувствовал большой упадок деятельных сил в некоторых орудиях своего живоустройства, который происходил, конечно, от чрезвычайного раздражения и перенапряжения чувительных нитей...»

Пересказ Пастернак пересказывал письма и речь Шмидта, точь-в-точь как Некрасов записки Волконской (впрочем, с голоса Волконского-сына, потому что по-французски не читал).

Перестановка слагаемых Оглавление сб. «Стихи о музыке», 1982: Байрон Джордж Гордон, Бальмонт Константин, Баратынский Евгений, Белинский Яков, Беранже Пьер-Жан... Мандельштам Осип, Мартынов Леонид, Маршак Самуил, Матвеева Новелла, Мачадо Мануэль, Маяковский Владимир... Как переключка в юнкерском училище.

Перспектива Из письма: «Не так важно, любим ли мы Пушкина и Овидия, как – заслужили ли мы, чтобы они нас любили. И тогда ясно: не только они нас не любят, но больше: Овидий недоумевал бы на Пушкина, а Пушкин смотрел бы на Блока, как на Жюля Жанена. Под взглядом в прошлое культура срастается в целое (идиллия волков и ягнят на одном хрестоматийном лугу), под взглядом из прошлого – рассыпается на срезы. Как одесская лестница: снизу – сплошные ступеньки, сверху – сплошные площадки».

Петров В Петрозаводске в 1982 году устраивали юбилейное заседание памяти протопопы Аввакума; для начальства было сказано: русского писателя А. Петрова.

Пиар Что это такое, даже в Москве знают только 50%; по России 13% считают, что это название фирмы, 4,5% – что часть компьютера, 1% – что вид проституции. «Пиар занимается написанием концептов и организацией эвентов» («Но-

вая газета», 2001, № 17).

Пиротехника Кант у Алданова перечисляет предметы, которые он преподавал: математика, астрономия, философия, физика, логика, мораль, натуральное богословие, юриспруденция, антропология, физ. география, фортификация и пиротехника. «Кроме этого я, конечно, знаю немного».

Питать «Усталый, я лежал на кровати и питал грустные мысли» (А. Миропольский-Ланг, отдел рукописей РГБ).

Надежды юношей питают,
Светлы младенческие сны,
Цыплята осенью считают,
Что их оставят до весны.

Е. Лозинская

«Повесились Цветаева и Санникова» – запись в дневнике Шкапской военных лет. Санникова, жена поэта Гр. Санникова, с первых дней Чистополя была вне себя, кричала о всеобщей гибели и в каждом пролетавшем самолете видела немецкий. Цветаева была у нее, перед тем как уехать из Чистополя. Вера Вас. Смирнова до конца жизни не сомневалась, что это было предпоследним толчком к цветаевской петле.

Подвиг По поводу доклада «Христианское видение Мандельштама» Бродский сказал: «Такой-то столпник в день отбивал тысячу поклонов – страшно не это, а то, что кто-то рядом стоял и считал».

Подтекст Л. Охитович перевела в «Атта Тролле» парافраз из Шиллера парافразом из Брюсова «Может быть, все в жизни – средство / Для певуче-ярких строф». Д. С. Усов сомневался, стоит ли (архив ГАХН).

Подтекст Народная русская песня (М. Ожегова) «Потеряла я колечко» происходит от арии Барберины «Потеряла я булавку».

Позитивизм Я чувствую себя принадлежащим не себе, а низшим и неизвестным силам – и ищу знания их. А другой чувствует себя принадлежащим не себе, а силам высшим – и ищет веры им.

Полифония Сейчас труднее всего для перевода стиль без стиля, прозрачный, бескрасочный, показывающий только свой предмет, – стиль рационалистов XVIII века (Вольтера, Свифта, Лессинга), которого так искал Пушкин. Романтическая полифония рядом с ним ужасает именно своим эгоцентризмом.

Польза С. Липкин о М. Шагинян: «сумасшедшая в свою пользу». Я случайно столкнулся с ней в Гослите, ее вели по коридору, бережно поддерживая с двух сторон, оплывшую, похожую на пикового туза.

По одежке Рассказывала В. В. Смирнова, которая в войну работала в «Знамени». Писатели заезжали в редакцию прямо с фронта. Симонов был каждый раз в новой форме, все удивлялись его щеголеватому белому полушубку. А. Платонов был в потертой шинели, как маленький солдатик,

тихим голосом рассказывал ужасы и опять исчезал. Твардовский в гимнастерке, немного пьяный, садился на пол у стола, поднимал круглое лицо и, прищурясь, говорил: «А ведь вы меня не любите!»

Поручения дамские из Смоленской губернии, выписанные в дневнике М. Шкапской (РГАЛИ, 2182, 1, 55) из «Рус. старины» 1891 года. «Увалочку полушелковую модного цвета, чулки ажурового цвета с цветочками, кружева на манер барабанных (брабантских), лорнетку – я близкоглаза. Еще купить хорошего кучеренка да тамбурную полочку. Узнать, почем животрепещущая малосольная рыба, а будете в городе, спросите, который час».

Последствия А. Г. в письме извинялся занятостью: «Страдаю от последствий своих филологических флиртов». Я тоже плачу алименты по четырем научным темам.

Пословица К сожалению, нужно сперва сесть в сани, чтобы убедиться, что они не твои.

Постмодернистская география. Сыну снились совмещенные Греция и Америка: на дальнем Западе правил царь Пирр, от Афин до Фтии царь Петр Великий, в Коринфе на перешейке – Васко Нуньес Бальбоа, к югу – бразильские тропики, к северу – канадская тайга. Всюду греческое безводье, Ахелой пересыхает, только в Коринфе бьет Пиренский источник. Сойдясь на конгресс, два царя идут отвоевывать питьевую воду, Бальбоа уходит на юг в сказочные пелопоннесские леса и действительно открывает там реку амазо-

нок с чудовищами по берегам. Пирр илет за ним войско, но оно засыпано где-то в этолийской пустыне, Петр илет наемного убийцу, но убийцу съедает лернейская гидра... Кажется, у сюрреалистов в одном альманахе была похожая карта мира.

Правда «Зачем вы всегда кричите, когда говорите правду?» (Ж. Ренар, дневник).

Правда Д. Самойлов: «Поэт, желающий участвовать в реальном общественном процессе, не может быть стопроцентно правдив, но зато обязан сознавать всю меру неправды, которую несет его поэзия».

Право Щедрин в «Дневнике провинциала»: «Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту минуту» (когда в газете написали: «право благодарить есть лучшее и преимущественнейшее наше право»).

Право Сыну в периодике попала статья: «Правовые средства защиты от наводнений».

Право Ты не имеешь права на существование? Пусть так, но заслужил ли ты право на несуществование? Единственный дозволенный тебе вид самоубийства – сгореть на работе. Не можешь? То-то.

Право У меня нет прав человека, у меня обязанность человека – понимать; и я плохо с ней справляюсь.

Препятствовать Начальник немцев Ламсдорф обещал передаться Лжедимитрию со всей дружиною, но, пьяный, забыл о сем уговоре и не препятствовал ей отличиться подви-

гами (Карамзин).

Пресекать В нацистских инструкциях по проведению собраний говорилось: если будут попытки петь «Deutschland über alles», то пресекать, потому что опыт показывает, что никто не помнит больше одной-двух строк.

Преступность Организованная преступность – это грызня между богатыми и их наемниками; среднего человека, вроде меня, она разве что заденет случайной пулей. А что помимо всякой организованной преступности в любом темном переулке ко мне может подойти человек и ради чистого удовольствия набить мне морду и снять с меня потрепанное пальто или ждущие ремонта часы, – так с этим постоянным ощущением я живу всю жизнь, с детства, при всех режимах.

Природа Дочь персидского посла, учившаяся в МГУ в 1947 году, стоя перед «Явлением Христа народу» в Третьяковке, говорила: вот у нас всегда такая погода (рассказывала Е. В. Старикова).

Приставка «Вычеркнули из истории, а потом опять вчеркнули». «Вкус – это въученное в тебя в отличие от выученного тобой».

«**Притоны** ангелам своим» отвел Аллах на Чатырдаге (Лермонтов. Сочинения: В 6 т. М.; Л., Наука, 1954. Т. 2. С. 116).

Прихотливость «Чем плохи олени, так это неприхотливостью: ничего не хотят, кроме ягеля» (К. Симонов).

Пробирка «Трудности современного христианства по-

всеместны и объективны. Как объяснить „Царю небесный“ и „Отче наш“ человеку немонархического столетия, выращенному в пробирке?» (сказал Н. Котрелев на «толковище» – на конференции «Кризис России XX века»).

Прогресс – это как поэт, который для должной картины под стихами похуже ставит старые даты, а под стихами получше – недавние. Маяковский и Есенин делали наоборот, демонстрируя свое вундер-начало.

Прогнозы «Прогнозы строить трудно, особенно на будущее» (приписывалось Черномырдину).

Омри Ронен из Анн-Арбора – лучший, пожалуй, из сегодняшних мандельштамоведов. Он венгерский еврей, сын коммунистов-эмигрантов, родился в 1937 году в Одессе, рос в Киеве, в 19 лет воевал на баррикадах в Будапеште, чудом был спасен израильской контрразведкой, защитил диссертацию по Кольриджу в Иерусалиме, а вторую, по Мандельштаму, – в Гарварде у Jakobсона; а защитив, отказался от места в Америке и собрался обратно – делать израильскую науку. Jakobсон накричал на него: «Ваши Израиль – глухая научная провинция, вы сбежите оттуда через несколько лет, но тогда уже я не стану помогать вам в Америке!» Все так и вышло.

Так вот этот самый Ронен за три месяца предсказал Jakobсону Пражское восстание, тот не поверил: «Это вы, венгры, сумасшедшие, а чехи рассудительны». Потом отказывался это вспоминать: по словам Эренбурга, о своих

несбыточных прогнозах Якобсон говорил: «Это была рабочая гипотеза». А неудобозабываемое объявлял диалектическими звеньями в структуре своего развития: строил свою биографию (как А. Белый).

Просветительство Япония после 1868 года так быстро догнала Европу потому, что стала срочно переводить не только учебники по металлургии и пушечному делу (как у нас при Петре I), а и Шекспира и Эпиктета. Я не могу простить Солженицыну обидного слова «образованщина». Без этой образованщины (а по-старинному говоря, просветительства) ни в России, ни в Африке – нигде ничего не получится.

Просвещение Вдова Клико, завоевав в 1814 году русский рынок, дарила зафрахтованным капитанам в приложение к грузу французского Дон Кихота в шести томах (Р. Дутли, 1991).

Просвещение Л. Соболева вписала в глоссарий к своей поэме про Дедала слово «вепрь». Зачем, ведь все знают! Спросила одного соседа, сказал «еж», другого – «медведь». А по данным «Литературной газеты» (ноябрь 1985 года), из двух десятков людей с высшим образованием только один мог правильно объяснить, почему меняются времена года.

«Психоанализ все возводит к сексуальным побуждениям, кроме самого себя» (Карл Краус).

Психоз «Ощущение сделанности, смоделированности окружающего мира – признак тяжелого психического заболе-

вания». А Божье сотворение мира?

Психоррея, излияние души, – термин С. Кржижановского из «Автобиографии трупa».

Путь (Дао: «Что есть дорога, то не есть путь»). «До Египта недалеко: далеко до Южного вокзала», – говорил Карл Краус.

Путь «Нельзя тебе идти путем спасенья, пока ты сам не станешь тем путем» – ранние стихи В. Меркурьевой (от блоковского «пока не станешь сам как стезя».)

Дорога искала дорогу,
Покуда ей не сказали:
«Нет для тебя дороги,
Ты сама дорога и есть».

Дорога была дорогой,
Пока она не сказала:
«Я напролет истоптана,
Больше я не могу».

«Что ж, – сказали дороге, —
Если ты больше не можешь —
Вот для тебя дорога:
Встань, по ней и ходи».

Только топтать оказалось
Хуже, чем быть истоптанным:
Дорога пошла по дороге

И стала искать обрыв.

Кл. Лемминг

Работа Когда не хочется работать, можно сказать: «у меня санитарный день» или «переучет».

Работа У моего шефа Ф. А. Петровского над столом была приклеена надпись: «Сущность научной работы – в борьбе с нежеланием работать. – И. П. Павлов». Туган-Барановский начинал свой курс словами: «Труд есть дело более или менее неприятное...» Ср. в записях К. Федина: «Если хочешь из легкой работы сделать трудную – откладывай ее».

Развитие по формалистам: с оглядкой через голову отцов на дедов или дядей. Но у русской культуры развитие сверхускоренное, в XX веке мы пропустили несколько ступеней и запутались, хвататься нам за память о дедах или прадедах.

Разница мировоззрений Инженер смотрит на отказавший механизм и возмущается, почему, мол, он не работает, а гуманитарий смотрит на работающий и восхищается, какое же это чудо, что работает-то! (Р. Дуганов).

«**Разорвись** надвое, скажут: а что не начетверо?» (Даль). «Увидим», – сказал слепой; «услышим», – сказал глухой; а покойник, на столе лежа, прибавил: «До всего доживем».

«**Революцию** делают не голодные люди, а сытые, которых один день не покормили» (Авторханов).

Революция За два дня до Февраля у Керенского собра-

лись товарищи и согласились, что революция в России никак невозможна (Палеолог).

Революция Афиша: «Кино французской и советской новой волны; весь доход от фестиваля пойдет на уличную съемку первого фильма о будущей революции».

А. Э. Хаусмен

РЕВОЛЮЦИЯ ¹²

(Ямб и рифмы не сохранены.)

*Катится на запад черная ночь.
Лучащееся знамя вскидывает восток.
Призраки и мороки страшных снов
Золотым потоком захлестывает день.*

*Но над сушей и морем, все дальше от глаз,
Скользит над миром туда, за океан,
Свернутая в конус вечная тьма,
Дурацкий колпак, задевающий луну.*

¹² В настоящем издании см. также т. V, с. 250. – Прим. ред.

*Смотри: вот солнце вздыбилось над головой;
Слушай: к полдню гремят колокола;
И мрак по другую сторону земли
Миновал надир и всползает ввысь.*

1922

Редакция Психолингвисты отмечают, что склонность к переработке текста – черта душевнобольных. Предлагался отрывок прозы (из Сент-Экзюпери): «Что можно сделать с этим текстом?» Нормальные даже не понимали вопроса, а те тотчас начинали редактировать (иногда очень тонко), пересказывать от первого лица и проч. (слышано от С. Золяна). Собственно, это черта не только редакторов, а и писателей. Ср. анекдот о Дятле-редакторе из «Лесной газеты», который, не найдя что изменить в коротеньком объявлении о птичьем концерте, напечатал его вверх ногами.

Редупликация Стихотворение С. Вургунa «Кавказ» в 1948 году (при жизни!) в переводах К. Феоктистова и А. Адалис вошло в «Избранные стихотворения» как два разных, а в 1960-м оба разных вдобавок были переведены для болгарского издания («Лит. Киргизстан», 1982 г.).

Рецепт Дубельт писал: «В распоряжении ученых есть и целительные средства, и яды, поэтому они должны отпускать ученость только по рецептам правительства».

Римская империя «Будьте рабами, но не становитесь холоуями», – сказал, уезжая в 1920 году, историк М. Ростовцев. Мне кажется, я был именно таким.

Риторика Ольга Форш ждала трамвая, пропустила четыре, прыгнула в пятый; ее снял молодой милиционер, сказавши: «Вы, гражданка, не столь молоды, сколь неразумны». Она пошла прочь, растроганная, и лишь потом сообразила, что он попросту сказал ей старую дуру (из дневн. М. Шкапской, РГАЛИ).

Рифма Д. Самойлов говорил О. Седаковой: если вам за перевод платят 1 р. 20 к. за строчку, то на рифму из этого идет 20 к. Вот такие рифмы им и выдавайте: за *-анье* – *-енье* в самый раз.

Род «Fatum опутало меня цепями», – писал еще Ап. Григорьев – почти как «это есть великое проблема» в «Восковой персоне». Ф. А. Петровский уверял, что в молодости видел парикмахерскую с надписями: «мужской зал», «женская зала», «детское зало».

Родина слонов Радио, 4 октября 2003 года: «Сегодня День защиты животных. В России он происходит под знаком защиты слонов».

«С»

«Шла машина темным лесом за каким-то интересом.

Интер-интер-интерес – выходи на букву эс» (Лойтер).

Сад Саади в русских переводах XVII века назывался «Кринный дол» и «Деревной сад».

Самое «Что самое удивительное? – То, что завтра бу-

дет завтра» (из арабского катехизиса, вроде «Голубиной книги»).

Самомнение «Ахматова говорит, что Срезневская ей передавала такие слова Гумилева про нее: „Она все-таки не разбила мне жизнь“, – но сомневается в том, что Срезневская это не фантазирует» (В. Лукницкая).

Свадьба *С. Аверинцева. После пышного Дворца бракосочетаний идем к нему домой, где в тесном застолье он читает нам Фому Аквинского – вопрос, ложный ответ, опровержение, истинный ответ. Запомнились изнанки разгораживающих комнату шкафов и полка с греческими книгами над его рабочим столом, крытым газеткой.*

Свобода воли Французский матрос сказал И. А. Лихачеву: у вас очень хорошо, только нет кафе, и правительство ваше не предоставляет выбора между пороком и добродетелью.

Свобода «За свободу не нужно бороться, свободе нужно учить».

Свобода Неприятная свобода – это осознанная необходимость, а приятная – неосознанная необходимость? Или наоборот? Осознанная необходимость – это и есть приятие ответственности (осознанность) за не зависящие от тебя твои и чужие поступки (необходимость). Как у царя Эдипа.

Свобода, по словарю Бирса:

Раб дождался свободы чайной,

И вот надела на него судьба
Вместо ошейника с именем хозяина
Ошейник с собственным именем раба.

Связь времен От Авраама прошло около ста поколений: «Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней, / Чтобы заполнить глотающий кости провал...». Маленького Р. Грейвса гладили по головке Суинберн, а Суинберна благословлял Лэндор, а Лэндора доктор Джонсон. Германа Лопатина воспитывала нянька, которой в детстве Пугачев подарил пятак. А Витженс начал книгу о Вяземском словами: «Вяземский родился в последние годы жизни Екатерины II, а умер в первые годы жизни В. И. Ленина». На конференции к 125-летию рождения Вяч. Иванова Дм. Вячеславич начал: «А когда мы уезжали из Баку, было 125-летие рождения Пушкина». «Счет времен по рукопожатиям», – говорил, кажется, Эйдельман. Впрочем, Берестов сказал: «Я знал Маршака, а молодого Маршака Стасов водил к сыну Пушкина, и тот, глядя через широкое окно на город, говорил: „Да, прекрасно это у Лермонтова: Брожу ли я вдоль улиц шумных...“» («Нов. лит. обозр.», № 20, с. 431).

Из письма В. С. Баевского: «Горько думать, что после смерти Пушкина всем людям, связанным с его гибелью, стало лучше. Или во всяком случае не хуже. Николай I дождался-таки своего часа, и Нат. Ник. стала его наложницей. Потом под его покровительством благополучно вышла за-

муж за Ланского. После гибели Пушкина все ее денежные затруднения кончились: об этом позаботился царь. Дантес прожил долгую жизнь и сделал большую политическую карьеру. Екатерина Ник. хорошо прожила с ним всю жизнь. Геккерен до глубокой старости успешно продолжал дипломатическую карьеру. Никто из авторов анонимного пасквиля так и не был разоблачен».

СВЯЗЬ СОБЫТИЙ «Я могу понять, как ваша связь продолжалась, но не могу – как началась», – сказал Н. «А я могу – как началась, но не могу – как продолжалась», – ответила М. (Вяземский).

Сделай сам В Киеве в 1920-х годах рано умерший писатель разрабатывал технику романа, в котором читатель сам бы мог на любом повороте выбирать продолжение по своему вкусу. Та же идея была у Лема в «Идеальном вакууме», а теперь так делают компьютерные игры. Если брать не сюжет, а мысль, многомерно разветвляющуюся в разных направлениях, то к передаче этого стремился Розанов, делая под страницами примечания и примечания к примечаниям. А к «Листьям» он мог бы добавить нумерацию отрывков и указания на возможные последовательности дальнейшего чтения, как у Кортасара. Могли бы получиться очень связные и вполне взаимоисключающие варианты мысли.

Секрет Джолитти советовал: каждый секрет сообщайте только одному человеку – тогда вы будете знать, кто вас предал. Это сюжет «Ваты» Б. Житкова.

Семантика Русское «чиновник» немцы переводят *Tschinovnik*, а немецкое *Beamte* мы переводим «должностное лицо» – во избежание семантических обертонов, заметил Ф. Ф. Зелинский («Из жизни идей»).

Семиотика «Знак, который сам прочесть себя не может, хотя иногда сознает, что он знак» – так Волошин определял демонов (Волошинские чтения, 1991, с. 65–66).

Семиотика Гиперсемантизация, атмосфера искания знамений (Блок с матерью, видящие тайный смысл в каждой улитке на дорожке, метерлинковская пустая многозначительность) – не рискует ли в это впасть семиотика? Моя мать говорила мне: «Жаль, что ты не успел познакомиться с Локсом: он еще умел замереть с ложкой супа в руке и сказать: „сейчас что-то случается“».

Семиотика Лотмановское представление: «культура есть машина, рассчитанная на сохранение старых смыслов, но из-за своей плодотворной разлаженности порождающая новые смыслы», – лучше всего иллюстрируется у Рабле диспутом между Панургом и Таумастом.

Семь Л. Вольперт рассказывала, как принимала первые экзамены и еще не знала, за какое незнание что ставить. Пришел пожилой заочник и сказал: «Семь». Она не поняла (десяток? бутылок?). Он сказал: «Семь детей». – «Ну, отвечайте только на один вопрос». (Я не удержался и спросил: «Он сказал: три с половиной?») Все кончилось благополучно.

Семь Уже трудно жить, семь раз отмеривая: к седьмому

отмеру забываешь первый.

Сергей И. И. Давыдов, профессор Московского университета, клялся С. Г. Строганову, С. С. Уварову, С. М. Голицыну и С. Гагарину, что в честь него-то и назвал сына Сергеем («Рус. старина»).

Серебряный век Латинский II век н. э. получил золотую отметку по политике и серебряную по словесности.

Система мер На одной из тимофеевских конференций по стиховедению предлагалось оценивать стихотворения по средним данным опросов читателей и измерять *кернами* (по «Я помню чудное мгновенье»). У туристов считается, что красота Кавказа – 10 *селигеров*, Урала – 15, тувинский Бий-Хем – 40 *селигеров*.

Слезы Россини плакал три раза в жизни: когда освистали его первую оперу, когда, катаясь на лодке, уронил в озеро индюшку с трюфелями и когда слушал Паганини.

Скрещение социальных отношений Мне оно представляется как восковая человеческая фигурка, в нескольких направлениях проткнутая торчащими спицами, как у Феокрита в «Колдуньях».

Слишком С. Кржижановский был незамечен репрессиями, как Гулливер среди лилипутов: слишком выделяющееся не бросается в глаза (В. Калмыкова).

Слово Для Асеева ручательство за точность слова – его соответствие первоначальному внутреннему образу (или это Хлебников?), для Пастернака – сиюминутному подворачи-

вающемся на язык узусу (культ первого попавшегося слова, «и счета сведу с ним сейчас же и тут же»), для Цветаевой – предопределенной слаженности с контекстом, на которую рассчитан его звук и смысл.

«Смерть не более чужда, чем начальство» (записки О. Фрелиха).

Смерть «В то время люди еще знали наперед день своей смерти и зря не работали. Христос потом это отменил» (легенда у Короленко).

Смерть «Все-таки я счастливый: Я ведь дожил до собственной смерти» (Баллады Кукутиса).

Смерть Умереть не страшно, страшно умирать.

Как-то на даче я играл с хозяйским котенком, он неистово бегал по мне, возился – и вдруг упал на бок, вытянул лапы и замер (они умеют так внезапно засыпать). Домашние заволновались, что с ним. Я ответил: «Как что? Умер», – осторожно снял с себя и положил в сторонку. Мне удивились, и я тоже удивился: разве не все должны умереть?

Смерть В девятом томе Краткой лит. энциклопедии исчезли справки «репрессирован – реабилитирован», но о Франк-Каменецком (умер в 1937 году) специально оговорено: от несчастного случая.

Смерть Расплывающийся, как в ненаведенном бинокле, образ смерти, по которой я собою стреляю – недолет, перелет – и стараюсь угадать нужный срок.

Смерть Тянешь лямку, пока не выроют ямку (запись М.

Шкапской).

Совет «Спрашивай ближнего только о том, что сам знаешь лучше: тогда его совет поможет» (Карл Краус).

Согласие и примирение Как только Ельцин открыл глаза после операции, он попросил ядерный чемоданчик, как будто боялся, что третью мировую войну начнут без него. На больничной койке он подписал указ о том, чтобы 7 ноября было «праздником согласия и примирения».

Сознание Была знаменитая фраза, приписывавшаяся Сабанееву: Берлиоз был убежденнейшим предшественником Вагнера. С. Ав. вспомнил статью Лосева, где сказано, что Аристотель не сознавал, как сознательно он завершал античную классику.

Сонник В «Вестнике древней истории» отложили публикацию сонника Артемидора – до идеологического пленума. Сын спросил: а что у него значило видеть во сне идеологический пленум?

Социализм. *Когда-то коллега попросила меня объяснить ее дочери-школьнице разницу между капитализмом и социализмом – не так глупо, как в школе, но и не так, чтобы за это понимание сразу забрали в участок. Я сказал: в основе каждого социального явления лежит биологическое. В основе капитализма – инстинкт алчности: идет борьба, победители получают лучшие куски, а побежденным платят пособие по безработице. А в основе социализма – инстинкт лени: все уравнительно бездельничают, а пособие по без-*

работище условно называют заработной платой. Лишь потом я прочитал в письмах Шенгели: «Социализм – это общественная энтропия». Кто тоскует о социализме, тем я напоминаю: теперешний лозунг – «каждому по его труду» – разве он не социалистический?

Социологический метод В 20-е годы литературоведы спрашивали классиков: а ваши кто родители? В 30-е они стали спрашивать: чем вы занимались до 17-го года? Состоял в тайном обществе – хорошо. Некоторые оставлялись на подозрении. Американский сборник статей о социологии русской литературы начинался: «Неправильно думают, будто советская идеология задушила формальный метод: опыт показывает, что он воскрес. Кого она задушила насмерть, так это социологический метод».

Специализация Н. в Венеции познакомилась с проституткой, специализированной на обслуживании приезжающих русских православных иерархов.

Спички Разговор: «А какие у него стихи?» – «Ну какие?.. четвероногие. Строфы как спичечные коробки».

Способности и потребности: У кого больше способностей, кормят тех, у кого больше потребностей, и первые досадуют, а вторые завидуют.

СССР – не тюрьма народов, это коммунальная квартира народов.

Старость «Молодость не без глупости, старость не без дурачества»; «Кабы снова на свет родиться, знал бы, как состав-

риться» (Даль). От старых дураков молодым дуракам житья нет.

Старость «Человек привыкает жить, помня о том, каким он кажется окружающим, и теряется, когда эти окружающие вымирают». Не то чувствуешь, что ты стареешь, а то, что мир вокруг молодеет. «Старость – второе детство»: потому что дети живут в чужом мире старших, а старики в чужом мире младших.

Старое и новое В фольклоре «новый» значит «хороший», «нова горенка» например (напоминает С. Никитина).

Статистика типа «раз-два-много».

Статистика В конце 70-х – начале 80-х годов через вытрезвители проходило ежегодно по 17 млн человек: по 46 тыс. в день, 1% всего городского населения в месяц.

Статистика С каждым собеседником нужно говорить фразами оптимальной для него длины, как в стилистической статистике; а я не сразу улавливаю нужную.

У меня в статистике клетка,
Я встречаюсь, хотя и редко...

Недописанные стихи

В детстве мир был большой и разный, мне хотелось его понять, т. е. упорядочить. Мне нравилась история: казалось, что, если написать подробную-подробную историю, в ней найдет свое место все: как получились и песок, и деревья, и молоко, и пишущая машинка, и кардинал Ришелье, и стра-

на Гватемала. Может быть, даже весь вчерашний день со всеми подробностями. Когда мне было десять лет, я стал конспектировать книги Вересаева о Пушкине, потом школьный учебник истории для старших классов, в пятнадцать лет я dokonспектировал пять толстых томов «средней истории» до XVI века. Сейчас, в старости, мне гложет душу, что я так и не упаковал мир по ящичкам и клеточкам.

Стиль «Это постоянное времяпровождение их вместе вскоре явилось причиной тяжелых переживаний для меня, о которых я скажу впоследствии» (Б. И. Збарский о Б. Пастернаке и Фанни, «Театр», 1988, № 1, с. 190). Ср. название главы (ч. X, гл. 21) в «Воспоминаниях» А. Цветаевой: «Встреча нами в двух маминых старинных шубах Сережи Эфрона на Николаевском вокзале».

Стиль «Они [дома из прессованного камыша] ничем не отличались от обыкновенных каменных домов, за исключением неверия в их прочность людей, обитавших в них». Это Паустовский! (Повесть о жизни. Собр. соч., т. 5, с. 519.)

Стиль – совокупность литературных приемов, позволяющих пишущему ничем не отличаться от других.

Стиль и стилизация Стиль – это самоограничение (не употреблять слов, которые были невозможны у Пушкина). Стилизация – это, наоборот, экспансия, нагромождение (употреблять как можно больше слов, которые характерны для Пушкина и ни для кого другого).

Страх Девочку спросили, какого цвета снег. Она честно

ответила: розовый, желтый и голубой. «Но он же белый!» Девочка испугалась крика и дальше молчала. Ее записали в необучаемые.

В Эрмитаже занимались ребята-инвалиды, их посадили на полу перед портретом Ван Дейка с изысканно-расслабленной кистью руки на переднем плане: «Попробуйте понять, что думает Ван Дейк, глядя на вас». Долгое молчание, потом один вскакивает, кричит в лицо Ван Дейку: «Ну и что ж, что я в валенках!» – и выбегает. Я похож на него.

Строить переборки в себе так, чтобы мысли для одного не смешивались с мыслями для другого.

Стыд Есть за кого стыдиться, да не перед кем. «Умер последний, которого стеснялись», – начиналась самиздатская заметка Оксмана о Чуковском.

Летом в Переделкине Чуковский занимался английским с внуком, а заодно уж и с моим товарищем («прерывать на лето нельзя»), а заодно уж и со мной, как товарищем моего товарища («вместе интереснее»). Я боялся идти, он прислал приглашение «пожаловать к Корнею Чуковскому, литератору», против «литератора» устоять было уже невозможно.

Казалось, ему интереснее всего было дознаться, на что способен каждый из нас. «Диктовки» его были не совсем обычные: он диктовал по-русски, а записывать мы должны были по-английски. Фразы были странные, например такие: «Вежливый вор приподнял шляпу и сказал: „Старинные зам-

ки лежат во прахе, господин инспектор!»» Переводы с английского мы делали соревновательно. Он дал нам книжечку с очень милой английской сказкой о страшном чудовище, которое было вовсе не страшным и поэтому очень тосковало, что все его считают страшным (трогательная сказка, я ее в молодости очень любил), и к каждому уроку мы должны были переводить порознь по несколько страничек. На уроке переводы сравнивались, и удачи и неудачи отмечались на полях крестом или минусом. За какой-то удачный оборот он поставил одному из нас сразу три креста. Его маленький правнук, присутствовавший при наших уроках, воскликнул: «У-у-у!» Корней Иванович необычайно обрадовался: «Смотрите, смотрите, он уже за кого-то болеет!» А когда переводы – гораздо чаще – были плохи, он делал выговоры деликатно и весело, чаще всего при этом упоминались «палочные изделия». Он любил рассказывать, как однажды в Сухуми заметил киоск с объявлением: «Продаются палки»; приехал на следующий год, а вывеска уже новая – «Продажа палочных изделий». Лет через десять я рад был найти этот пример в новом издании его «Мастерства перевода».

О чем можно говорить с 14-летним школьником? «Кем хотите быть? историком? замечательно интересно! Знаете, какие казни были в Англии при Шекспире! Настоящий театр! Преступнику нужно было от тюрьмы до эшафота пройти браво, перешучиваясь с толпой, и еще бросить кошелек палачу, чтобы тот хорошо и быстро сделал свое де-

ло, — а если казнимый уклонялся от обычая, народ был очень недоволен».

Много позже я понял, что это он описывал самого себя. Критику, ему всю жизнь приходилось заниматься не тем, чем хотелось, и он гениально интересовывал себя неинтересным. «Бесплодные усилия» — самая плохая пьеса Шекспира? значит, надо перевести и показать, что хорошая. Когда в гимназии учитель сказал, что отрицание «отнюдь» устарело, он подбил ораву камчаточников вместо «нет» отвечать только «отнюдь». Основат сидел у него секретарем за стеной, когда пришел В. Непомнящий: он что-то подписал, ему обещали — если покается, не прогонят. «Кайтесь!» — «Но...» — «Если не хотите каяться — ищите другую профессию» и т. д.

Суть В легенде о Януше Корчаке у нас забывают самое главное и достоверное. Его спросили, что он будет делать, если доживет до конца войны. Он ответил: «Пойду заботиться о немецких детях, оставшихся сиротами».

Суффикс Гумилев с товарищами потешались над стихами про Белавенца, «умеревшего от яйца». А теперь Л. Зорин пишет: «По ночному замеревшему Арбату...» («Нов. газ.», 2.12.1991), а Т. Толстая (в альм. «Московский круг») — «замеревшие» и «простеревшие ветви».

Счастье Берлиоз говорил: у Мейербергера не только было счастье иметь талант, но и талант иметь счастье (Стасов).

Сюрприз С. Трубецкой говорил: предъявлять нравствен-

ные требования можно только к своим детям (см. I, **Дети**), а когда встречаешь порядочность в других, это приятный сюрприз, и только. (восп. Ю. Дубницкой).

Табу Это слово есть у Даля (в «живом великорусском»): «у нас табашная торговля табу».

Taedium Леонтьев писал Губастову: война не скучна, но опасна, работа не опасна, но скучна, а брак для женщины опасен, а для мужчины скучен.

Так Громеко спрашивал Толстого, так ли он понимает «Анну Каренину»; тот отвечал: «Разумеется, так, но не все обязаны понимать так, как вы».

Талант Флоренский в письме от 24 марта 1935 года о Белом: «При всей своей гениальности отнюдь не был талантлив: не хватало способности адекватно оформить свои интуиции и не хватало смелости дать их в сыром виде».

Текстология Как быть с Пастернаком, Заболоцким и другими переделывателями своих ранних стихов? Я вспомнил, как в ИМЛИ предлагали академическое издание «Цемента» Гладкова со всеми вариантами; директор И. Анисимов сказал: «Не надо – слишком самоубийственно». Пастернака с Бенедиктовым впервые сравнил Е. Г. Эткинд (а до него Набоков?), но что Бенедиктов тоже и так же перелицовывал свои ранние стихи, тогда не вспомнилось.

Тема Звягинцевой в гимназии задавали сочинение на тему «А звуки все лились и звуки все рыдали» (РГАЛИ, 1720, 1, 64).

Терминология От случайной избыточности терминов: *рассказ, новелла, повесть, роман* – и нехватки, например, *romance-novel* изыскиваются небывалые жанровые тонкости. Три слоя употребления терминов: в разговоре, в заглавиях и подзаголовках, в критике и литературоведении. *Роман* в XVIII веке был разговорным термином, а на обложках писалось *повесть*. *Роман-эпопея* – сейчас критический термин, значит, выйдет и на обложки. Если выживут толстые журналы. Во Франции их не было, и объемы романов определялись издательскими удобствами: 220 стр. или, в два тома, 440 (или 2200, как у Роллана). А у нас в журналах с продолжениями объемы разрастались до «Войны и мира» и «Карамазовых». «Жанр-панорама, где ничего не разглядеть; жанр, только в России не доживший до собственной смерти», – писал Бирс. Двойное написание термина подало одному коллеге мысль различать *риторику*, которая плохая, и *реторику*, которая хорошая.

Тест Внучка отлично прошла собеседование в первый класс, не смогла только сложить простенькую мозаику. Ей сказали: как же так? – она ответила: «Неразвитость пространственного воображения».

Товарищи Самая человечная сцена в «Пиковой даме» – свидание Лизы и Германна утром: у нее разбито сердце, у него надежды, она должна его ненавидеть, он вымещать, а они сидят как товарищи по несчастью (что бы сделал из этой сцены Достоевский!), и она ему помогает.

Тост после Тыняновской конференции: чтобы филологи понимали историю, а историки филологию. В. Э. Вацуро сказал: «А о том, чтобы филологи понимали филологию, а историки историю, уж не приходится и мечтать».

Точка Ваша новая манера – это еще точка, через которую можно провести очень много прямых. И кривых.

Точка Нужно познать себя, чтобы быть собой. И быть собой, чтобы суметь стать другим. Как пугающ жирный пафос точки после «быть собой».

Точка Ю. М. Лотман сказал в разговоре: «Человек – точка пересечения кодов, отсюда ощущение, что все смотрят на меня». Для меня человек – точка пересечения социальных отношений, отсюда ощущение, что все смотрят сквозь меня. Разница ли это в словах или в сути?

Быть точкой пересечения отношений – это совсем не мало, это значит быть элементом структуры. Но некоторым мало. («Не могу понять врачей – как они забывают потом спасенных больных». А я понимаю.) А Мирский писал о Пастернаке: в «Люверс» люди – не личности, а точки пересечения внешних впечатлений, этим он и конгениален Прусту. Быть не точкой чужих пересечений, а самим собой можно только на необитаемом острове.

Точноведение «В переводе, кроме точности, должно быть еще что-то». Я занимаюсь точноведением, а чтотоведением занимайтесь вы.

Традицией мы называем наше эгоцентрическое право

(точнее, привычку) представлять себе прошлое по своему образу и подобию. Так, средневековый человек считал, что все твари «Физиолога» созданы затем, чтобы давать ему символические уроки.

Традиционализм по С. Аверинцеву: в архаике – дорефлективный традиционализм, от античности до классицизма – рефлективный традиционализм, от романтизма – рефлективный антитрадиционализм. Видимо, этот последний есть в то же время дорефлективный традиционализм новой формации: таковы шаблоны реализма, которые присутствуют у всех в сознании, но считаются несуществующими. Только когда они станут предметом теории, можно будет говорить, что эпоха реализма позади. Сейчас ругаются словом «штамп»; в традиционалистском обществе, вероятно, ругались: «Эх ты, новатор!»

Туземец – сюземец. «Хоронил [Блока] весь город – или, вернее, то, что от него осталось. Справлявшие на кладбище престольный праздник туземцы спрашивали: кого хороните?» (Ахматова, зап. кн.). Кто я? – я туземец. Ср. **Все**.

Сыну приснился человек четырех национальностей: китаец-индус-еврей, а четвертая – секретная.

Уважение Сонцев был представлен в камергеры на основании физических уважений (Вяземский).

Указатель – важнейшая часть научной книги, и его непременно должен составлять сам автор, даже если книгу писал не он» – английская сентенция.

Указатель Редактировали указатель к первому тому «Истории всемирной литературы», одни трудности вычеркивали, другие приводили к знаменателю. Вот когда оценишь Вёльфлина, призывавшего к истории искусств без имен (ле- нился!), и когда хочется примкнуть к Морозову и Фоменко, чтобы всех однофамильцев считать одним человеком.

А. Т. Фоменко был деструктивистом от истории, когда о деструктивизме от филологии у нас только-только начинали слышать. Когда он выпустил в 1980 году первую книжечку о том, что древней истории не было, потому что она противоречит теории вероятностей, то В. М. Смирину поручили написать опровержение в «Вестнике древней истории» (1982, № 1). Опровергать такие вещи очень трудно. Я рассказал ему, как (по Ю. Олеше) додумался до этой идеи его образец Н. А. Морозов-Шлиссельбургский: «А-а, вы тюрьмой отняли у меня половину моей жизни? так я же расчетами отниму у вас половину вашей истории!» Порочность в том, что теория вероятностей приложима лишь к несвязанным событиям, а в истории события связанные. Морозов, как добросовестный позитивист, воспринимал мир как хаос атомарных, единичных фактов, а Фоменко в наш структуралистический век запоздало ему вторил. Смирин задумчиво сказал: «Вот теперь ясно, почему Морозов был теоретиком индивидуального террора...» Потом он стал читать брошюры Морозова, выходившие в 1917 году, о классовом и доклассовом обществе; человек доклассового

общества назывался там «людоед-демократ». Но для рецензии на Фоменко это не пригодилось.

Улица «Улица Мандельштама» – мотив от советских (по образцу французской революции) переименований, эстетизированных уже имажинистскими переименованиями Тверской, Никитской, Петровки и Дмитровки. Раньше Мандельштама был «Переулочек моего имени» Инбер, позже – «Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу». Все это в конечном счете от «Она – Маяковского тысячу лет...».

Ум Ф. Г. Орлов (тот, 1741–1796) говорил: ум хорошо, два лучше, но три с ума сведут (Грот).

Управление синтаксическое: «Лучше век тосковать по кому любишь, чем жить с кем ненавидишь» (Лабрюйер).

Упрощенность Право научной популяризации на упрощенность: нельзя бранить глобус за то, что на нем не нанесена река Клязьма. А от нынешнего Исидора Севильского требуется именно глобальная ясность.

Усохшие пословицы (о них собирался писать покойный М. П. Штокмар): «Голод не тетка, пирожка не подсунет». «Рука руку моет, да обе свербят». «Чудеса в решете: дыр много, а выйти некуда». «Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса». «Губа не дура, язык не лопата». «Не дурак выпить – не подлец закусить». «Хлопот полон рот, а прикусить нечего». «Шито-крыто, а узелок-то тут». «Собаку съели, хвостом подавились». «Собачья жизнь: брехать нужно, а есть нечего». «Не всяко лыко в строку, не всякий лопот в слово» (ана-

грамма: ключевое слово *лапоть* не названо), «Ума палата, да ключ потерян». «Копейка ребром, покажися рублем». «Смелым бог владеет, а пьяным черт качает». «Дураку хоть кол теши, он своих два ставит». «Лиха беда начало: есть дыра, будет и прореха». «Все люди как люди, а мы как мыслете». «Два сапога пара, оба левые» («Это про политиков?» – спросил И. О.)

Усталость «Реализм – слово, уставшее от нагрузок», – писал Дурылин Пастернаку.

Фауна Американские поэты долго писали о соловьях и жаворонках, хотя ни тех, ни других в Америке нет.

Федоров Н. «Воскресающие покойники означают тревоги и убытки. Достаточно подумать, хотя бы для примера, какое поднялось бы смятение, если бы покойники воскресли! а так как они, конечно, еще и потребовали бы назад свое добро, то случились бы и убытки» (сонник Артемидора).

Филология как наука взаимопонимания. Будто бы в Индии было правило: перед спором каждый должен был пересказать точку зрения противника и чтобы тот подтвердил: да, так.

Философская лирика – игра в мысль, демонстрация личного переживания общих мест. Ср. I, **Партийность**, где тоже не свое подается как свое.

«**Флирт**, по-русски – шашни» (Ю. Слезкин, Ветер, «Вестник Европы», 1917, № 2, с. 35). Говорит персонаж по фамилии Шишикторов.

Форзац в сб. А. Вознесенского «Безотчетное» (1981) с длинным фото его выступления перед большой-большой публикой. Видел ли он точно такой же форзац в двухтомнике А. Жарова 1931 году?

Фундамент На докладе о «Неизвестном солдате» в РГГУ кто-то взвинченный задал два вопроса: сказал ли Мандельштам после «Солдата», как Блок после «Двенадцати», «Сегодня я гений» и каким фундаментальным положением я обосновываю, что мой объект нуждается в интерпретации? Я ответил: «Я тоже литературовед, поэтому первый вопрос вне моей компетенции; а объект во мне заведомо не нуждается, это я в нем нуждаюсь по общечеловеческой любознательности; фундамент же мой – примитивный: полагаю, что каждый поэтический текст имеет смысл, поддающийся пересказу».

Приснилась защита диссертации под заглавием: «Эпитемы у Рембрандта». Зал амфитеатром, я смотрю вверх и говорю: «А вот и Минц еще жива», – а мне отвечают, что Лотман написал статью «Стратегия сердечного приступа».

Хайдеггер «Вы неточны: не „есть возможность“, а „возможна возможность“», – сказали мне. Мне нравилось у Б. Лившица: «Ни у Гомера, ни у Гесиода / Я не горю на медленном огне, / И, лжесвидетельствуя обо мне, / Фракийствует фракийская природа». Р. едко сказала, что это всего лишь калька с *natura naturans* Спинозы (и кузминского перево-

да этих слов в «Панораме с выносками») и не нужно было Хайдеггера, чтобы это воскрешать. Собственно, еще ближе к образцу можно вспомнить особые приметы в «Заячем ремизе»: Спиря поспиривает, а Сема посемывает. У Лема четырнадцатый сустав таможенного чиновника говорит герою: «Вы ведь млекопитающее, да? в таком случае, приятного млекопитания».

Хмель «Наводя справки о женихе, уже не спрашивают, пьет ли, а спрашивают, каков во хмелю» (Никитенко, 1834 г., об Архангельской губернии).

Ход событий «Нельзя сказать, будем ли мы либералами или консерваторами, потому что нельзя ведь предсказать ход событий» (газ. «Народный голос» за 1867 год, цит. в «Лит. наследстве»).

Храбрость С. Урусов говорил: «Я консерватор, но не имею храбрости им быть».

Хрисоэлефантинная техника К. Леонтьев предлагал сделать такой памятник Александру II: дерево, слоновая кость, золото и серебро с эмалью; а сгоревшую избу в Филях отстроить мраморной, как потом ленинский шалаш в Разливе. «У меня цветные истины», – говорил он. Боялся умереть от холеры – неэстетично; а чудом выздоровев, пошел по обету в монахи, хотя в Писании был нетверд, и они его двадцать лет к себе не пускали. В Троицкой лавре жил в гостинице и перечитывал Вольтера. «С нестерпимо сложными потребностями», – писал о нем Губастов. Его мир – крепостной те-

атр, в котором народы пляшут в национальных костюмах, а он поглядывает на них из барской ложи. Отнимите у Готье талант, а у Флобера гений – и вы получите Леонтьева.

Художественный мир У Пастернака не только природа уже существует независимо от создавшего ее Бога, но и вещи независимо от создавшего их человека, и вещи братаются с природой, а человек оказывается оттеснен в неожиданное панибратство с Богом.

Царь и бог «Сталинская ода» Мандельштама – не только от интеллигентской веры в то, что рота права, когда идет в ногу («Это смотря какая рота: разве интеллигенция рвалась быть как все?» – сказал С. Ав.), но и от общечеловеческого желания верить, будто над злыми сатрапами – хороший царь. Глупо? А чем умнее – что над злыми царями строгий, но справедливый бог?

Ценность О. Б. Кушлина давала студентам без подписей стихи А. К. Толстого, «Древнего пластического грека», что-нибудь из «Нивы» и «каких-нибудь кобзовых» – описать, кто как хочет, и указать приблизительное время создания. Все думали если не на Пушкина, то не меньше как на Дельвига и восторгались: школа приучила, что «печатный всякий лист быть кажется святым». После этой шоковой терапии можно было учить анализу.

Ценность Л. Поливанов про себя ставил Фету за все стихи единицы, а за «В дымке-невидимке...» – пять. Блок больше всего любил у Фета то стихотворение, которое кончалось:

«И, сонных лип тревожа лист, порхают гаснувшие звуки». (А я – «И я очнусь перед тобой, угасший вдруг и опаленный».) Адамович о Цветаевой в «Воздушных путях»: «Недавно я узнал, что самым любимым ее русским стихотворением было фетовское „Рояль был весь раскрыт“» (отомстил-таки за «Поэта о критике»).

Цивилизация Стихи Пригова, написанные за двадцать лет до осады Белого дома:

Чтобы победить цивилизованную нацию,
Довольно отключить канализацию.

Чайник Собака слепого с шапкой в зубах похожа на заварной чайник с ситечком.

Человек «Железная кровать эпидемического образца с засаленным, насквозь прочеловеченным одеялом».

Человек «Сверхчеловек – идеал преждевременный, он предполагает, что человек уже есть» (Карл Краус). Я вспомнил турецкое четверостишие (М. Дж. Андай): «Гиппотерий – предок лошади. Мегатерий – предок слона. Мы – предки людей, предки настоящих людей».

Чемодан . *Мать никогда мне не улыбалась, я был частью домашнего обихода, вроде чемодана, и на меня сердилась, когда я позволял себе больше, чем положено чемодану. Может быть, я и сейчас чувствую себя чемоданом, от которого кто-то ждет научных работ, кто-то любви, кто-*

то помощи? Может быть, это и есть диалог, в котором каждый по мне своим долотом, долотом? Странная должна получиться фигура. А чего хочет сам чемодан, сам камень? Только чтобы его оставили в покое, а лучше разрешили ему не существовать. Каждый желудь, по Аристотелю, стремится стать дубом, а яйцо птицей, а ребенок человеком, а взрослый – хорошим человеком. Но стремится ли камень стать статуей? Когда теперь я позволяю себе больше, чем положено чемодану, меня по привычке хвалят, зато когда меньше, мною недовольны. Чемодан, в который были уложены сперва наследственность, потом воспитание, потом жизненный и книжный опыт. Дайте мне время умяться и упаковаться! Или, лучше, разложить содержимое по источникам (по другим чемоданам), что откуда, и что следжало в новое, а черную покрывку выбросить? Кажется, я так и стараюсь.

«Чехов о литературе» – книга под таким заглавием выглядела бы очень любопытно: избегал судить о писателях, скрывал неприязнь к Достоевскому, самоподразумевал Толстого, молчал о западных, как будто глядя на них через ограду мира Щегловых, Потапенков и Куприных. Самым подробным высказыванием, пожалуй, оказалась бы «Табель о рангах» из «Осколков». Попробуйте представить – проживи он еще десять лет – его воспоминания о Льве Толстом.

Чеховеды Исполнитель одной из главных ролей в «Трех сестрах» у Волчек признавался, что до постановки не читал

пьесы. «Не всем же быть чеховедами», – сочувственно комментирует интервьюер. А один аспирант, писавший о «Фаусте» в средние века, оказывается, считал, что «Песнь о Сиде» – это английский эпос. Я сказал: «Значит, он читал по крайней мере „Тома Сойера“».

Чечерейцы Пушкин начал поэму о Гасубе; Жуковский прочитал и напечатал его имя «Галуб», ничего удивительного; но Лермонтов, воевавший на Кавказе и слышавший, как неестественно звучит это произношение, все-таки дал это имя своему чеченцу в «Валерике»: «Галуб прервал мое мечтанье...» Ср. VII, **Груша**.

Читатели и библиофилы – такие же разные люди, как жизнелюбы и человеколюбы.

Чичиков всегда казался мне у Гоголя положительным героем: потому что Гоголь только его показывает изнутри. Было ли это мое бессознательное ощущение традиции плутовского романа или правда Гоголь любил его больше, чем казалось критикам, и потерпел неудачу, когда заставил себя разлюбить его?

Чужое слово А. Г. Дементьев рассказывал: издали записные книжки Фурманова, в них приводятся характеристики ряда писателей. Они использованы уже в 14 кандидатских диссертациях и одной докторской. Дементьев чувствовал, что эти характеристики он уже где-то читал; проверил – оказалось, что это конспекты «Литературы и революции» Троцкого и статей Воронского: переброшенный на литерату-

ру Фурманов по ним готовился к работе. Д. просил в «Вопросах литературы» и других местах разъяснить эту пропаганду идей Троцкого, но безуспешно (слышано от О. Логиновой).

К. Кавафис

ОЖИДАЯ ВАРВАРОВ ¹³

(конспективный перевод)

- Отчего народ в перепуге?
– Идут варвары, скоро будут здесь.
- Отчего сенаторы не у дела?
– Идут варвары, их и будет власть.
- Отчего император застыл на троне?
– Идут варвары, он воздаст им честь.
- Отчего вся знать в золоте и камнях?
– Идут варвары, они любят блеск.
- Отчего ораторы онемели?
– Идут варвары, они не любят слов.
- Отчего не работают водопроводы?

¹³ В настоящем издании см. также т. V, с. 216–217. – Прим. ред.

– Идут варвары, спрашивайте их.
– Отчего все кричат и разбегаются?
– Весть с границы: варвары не пришли,
Варваров вовсе и не было.
Что теперь будет?
С варварами была хоть какая-то ясность.

Чукчи послали поздравителей к спасению государя от Каракозова, а те успели уже после выстрела Березовского (восп. К. Головина). Когда к Тиберию с таким же опозданием пришли соболезновать о смерти Августа послы от заштатного городка Трои (той самой), он сказал: и я вам сочувствую, троянцы, о кончине вашего великого Гектора.

Швабрин Г. Федотов об учебнике по истории СССР для начальных классов под ред. Шестакова (на который писали замечания Сталин, Киров и проч.) – как будто его написал Швабрин для Пугачева. Старые учебники были историей национальных войн, этот – классовых войн, но постоянное ощущение военного положения было необходимо режиму. Я еще учился именно по этому учебнику, только портрет Блюхера там уже был заклеен портретом Чапаева.

Швамбрания Такие игры с придуманными государствами называются режиссерскими. У Цедербаума-Мартова в детстве была подобная страна – город Приличенск. А у символиста Коневского была страна Росамунтия. Даже со своим биографическим словарем. Начинался он так:

«Авизов Алексей Жданомирович, род. 16 мая 1832 в Ван-

чуковске. Один из величайших росамунтских романистов. Считается основателем „бытовой“, или „естествоиспытательской“, школы в росамунтской письменности – школы, которая, по выражению Сахарина, служит соединяющим звеном между „государственно-мудролюбческим“ направлением Ванцовского кружка години Великого Возрождения Росамунтии и романистами-душесловами 80-х годов... Завязки и развязки романов А. весьма сложны и запутанны, но всегда правдоподобны. Они свидетельствуют о богатстве фантазии автора. Все среды и быты, описанные А., необыкновенно ярко и верно нарисованы... Слог его – точный, тщательно отделанный, однообразный и холодный. А. очень плодовитый писатель, и тем не менее во всех его, почти всегда длинных, рассказах царит беспечное разнообразие. Он начал писать, будучи уже 30 лет, в 1862 году. Главнейшие его романы: „Два друга“, роман в 3 томах (1867), „Рабы промышленности“ (1868), „Жильцы пятиэтажного дома“ (1872), „Отвлеченный товар“ (1874), „Около стихий“ (1877), „Царство ножа“ (1880), „Среди приличий“ (1883), „Подозрительные люди“ (1884), „Народное стадо“ (1887), „Г-н зайчишка, или Стадное начало в миниатюре и без прикрас“ (1888). Собрание его сочинений (изд. в 1890 г.) составляет 15 т. В судьбе А. много странного и необычного. Его отец был какой-то загадочной личностью, вероятнее всего, какой-нибудь еврей. Он неведомо откуда пришел в 1827 году в Ванчуковск, назывался Жданомиром Алексе-

евичем, неизвестно к какой народности принадлежал, а по религии был последователь сведенборгианской секты... Сын поступил... в Ванчуковское всеучилище, в бытописно-словесную коллегию. Вскоре он познакомился и сблизился с ровесником своим Ванчуком Билибиным... окончательно стал деистом, материалистом и детерминистом, что подчас явствует в его писаниях... „Два друга“ были встречены публикой с восторгом и раскупались нарасхват (см. об этом у Сахарина, „Течения росамунтской письменности XIX в.“, гл. 5). За этот роман Общество росамунтских поэтов и писателей избрало его своим членом. За роман „Около стихий“ оно венчало его липовым венком в 1877 году, а в 1884 году за роман „Подозрительные люди“ – буковым венком» (РГАЛИ, 259, 1, 3; И. Коневской, Краткие сведения о великих людях... Росамунтии в виде словаря, 1893).

Среди других в словаре упоминаются: Аранский Вл. Пав., писатель и мудролюбец; Аранский Яков Алдр., обсудитель письменности и общественный писатель; Арнольфсон Альфр. Карл., детоводитель; Билибин Влад. Яросл., человековод и мудролюбец; Боримиров Алдр. Алдр., гос. человек, приказатель внутренних дел; Ванец Конст. Феод., розмысл и величиновед; Ванчуков Ив. Пимен., действовписатель; Векшич Бор. Ник., мудролюбец и душеслов; Главенский Лаврент. Серг., гос. домостроитель; Грушин Порф. Серг., животновод; Кашин Леонт. Серг., смехотвор, лицедей-веселодей; Кессарский Петр Петр., рукоцелитель; Мамонтов Викт.

Анд., заморник; Нитин Дим. Ванч., травовед; Одноруцкий Ив. Порф., сельский хозяин; Понявин Бор. Алдр., резовед; Тропович Орест Ром., душецелитель; Хороблович Ив. Бор., мореплаватель и рыбослов; Черновранов Анд. Анд., вирталонист (так!); Шевелинский Диом. Арк., врач-женослов, и др.

Шницель «Мы ели венский шницель, после чего я сочинил один стих: Надулись жизни паруса» (С. М. Соловьев, восп. о гимназии, отд. рукописей РГБ, 696, 4, 8, 291). Ср. «Несказанное. Потом с милой пили чай» (Блок, дневник. 20 нояб. 1912 г.).

Шолоховский вопрос уже строится как шекспировский: о казаках может писать только казак, как о лордах только лорд. А о хоббитах, вероятно, только хоббит.

Щи Письмо от Ю. М. Лотмана: «Вышел тютчевский сборник – светлый проблеск в нынешней жизни. Это как на войне: фронт прорван, потери огромные, зато кухня та-а-акие щи сварила!»

-щина «Тарелки вымыть не могла без достоевщины», – говорил Пастернак о Цветаевой (восп. О. Мочаловой, РГА-ЛИ, 273, 2, 6).

-щина Старый Керенский на вопрос, что он сделал бы с новым опытом придя к власти, сказал: «Не допустил бы керенщины», – но не пояснил (восп. Г. Гинса).

Эго Бродский о Хлебникове: «Он ироник, нарочно пишет абы как („Так, как описывал И. Аксенов?“ – „Пожалуй, да“).

Его интересует не слово, а предмет, он эгобежен. Вот Целан был эгоцентричен, относился к себе серьезнее, стал писать коротко и закономерно покончил с собой».

Эго Он хочет сказать, что его рубашка ближе к его телу, чем твоя к твоему.

Экономика «Сытый голодного подразумевает» – эпиграф к разделу «Устойчивое неравновесие» у Г. Оболдуева.

Экономика Пословица у Даля: «Про харчи ныне молчи».

Экономика . Рассказывала М. Е. Грабарь-Пассек: «Я в гимназии чуть сама не открыла исторического материализма. Нужно было учить войну за испанское наследство, а хотелось на каток. Я задумалась: из-за чего же они все время воевали и воевали? Но недодумала, потому что урок уже выучился.

На высших женских курсах моя соседка отвечала про Францию при Людовике XIV: развивалось производство предметов роскоши, в Лионе стали разводить шелковичных червей и делать шелк. В комиссии скучал философ Лопатин, от нечего делать он спросил: а как из шелковичных червей добывается шелк? Отвечавшая твердо сказала: „Их стригут“. Лопатин не стал портить ей отметку, он только тихонько сказал: „Какая кропотливая работа“».

Энклитика Экспромт из «Синего журнала» , 1915, № 27:

Вот вам виньетка —

Живет поэт К.;

И этот К. поэт
Стихами капает.

Энциклопедия Святой Исидор Севильский, покровитель школьников и студентов, предложен в покровители Интернета («Итоги», 27.7.1999).

Эсперанто Среди эсперантистских споров один американец сказал: «Ведь уже есть прекрасный международный язык – молчание!» (слышано от В. П. Григорьева). «Сойдутся, бывало, Салтыков-Щедрин и Пров Садовский, помолчат час-другой и разойдутся. Потом Салтыков и говорит: „Преинтересный это человек, Пров Михайлыч!“» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях, с. 360). С. Шервинский говорил: «Жаль, что умер Жамм, – если бы мы встретились, нам было бы о чем поговорить; и помолчать».

Этика «Этический подход не всегда уместен, – сказал И. О. – Мы плохо понимаем, как работает телевизор, но если мы разделим его детали на хорошие и плохие, то наше понимание не улучшится».

Этикет Для А. Б. Куракина, посла в Париже в 1808 году, заранее нанимались покои, экипажи и метресса, которую он мог никогда не видеть, но у дома которой его карета должна была стоять два часа в день (Соллогуб).

Юбилей Собираются праздновать 1000-летие русской литературы, но спотыкаются о три трудности: почему древняя, когда средневековая; почему русская, когда восточно-

славянская; и почему юбилей, если неизвестно, от какого памятника считать.

Юбилей «На самом деле празднуется память не о победе, а о торжестве по случаю победы» (Брехт). Ю. Лужков видел мальчишкой сталинское 800-летие Москвы и умилительно копировал его в своем полуюбилее. Полуюбилеи – тоже традиция: после того как Бонифаций VIII отпраздновал 1300-летие Христа, его преемник отпраздновал 1350-летие. На преждевременном праздновании столетия Рима при Клавдии всех звали посмотреть на актера, который играл еще на столетии Рима при Августе.

Юбилейная конференция памяти поэта. Смысл всех докладов: «Ах, как хорошо». Один доклад (умного человека) начинался словами: «Все стихи делятся на гениальные, которые меня завораживают, и не гениальные, которые меня не завораживают». Пир самовыражений; но на третий день самонепонимающее взаимонепонимание стало ужасом.

Дорогой Ю. К.,

в прошлом месяце А. Ф. Лосеву исполнилось девяносто лет, юбилей его отмечался в МГПИ, где он раньше преподавал. Я мало его знаю: философским языком я не владею и большие книги его понимаю плохо. Его античность – большая, клубящаяся, темная и страшная, как музыка сфер. Она и вправду такая; но я поэтому захожу в нее с фонарем и аришином в руках, а он плавает в ней, как в своей стихии, и наслаждается ее неисследимостью. «Вы думаете, он лю-

бит Пушкина? – говорил С. Ав. – Пушкин для него слишком прост. Вот „Мы – два грозой зажженные ствола...“ – это другое дело».

Он слепой: говорит зычным голосом, как будто собеседник далеко, и взмахивает руками широко, но с осторожностью, как будто собеседник близко. Сквозь слепоту он сочинил все восемь томов «Античной эстетики», не считая попутных книг и книжечек. Мой коллега, который в молодости был у него секретарем, сказал: «Он все удерживает в уме по пунктам. Если он скажет: философия Клеанфа отличалась от философии Зенона четырнадцатью отличиями, – то, может быть, половина этих отличий будет повторять друг друга, но он уже никогда не спутает третье отличие с тринадцатым».

Выжить в его поколении было подвигом, за это его и чествовали. Чествовали со всем размахом очень изменившейся эпохи. Зал был главный, амфитеатром. На стенах стабильные плакаты: с одной стороны – «...воспитание в ней коммунистической морали», с другой – «Сегодня – абитуриент, завтра – студент», посередине – «И медведя учат».

О Лосеве говорили, что он филолог (делегация от филологов);

что он философ (делегация от философов);

что он мыслитель (делегация – я не понял от кого);

что он крупнейший философ конца века (от Совета по мировой культуре; какого века – не сказали);

*что он русский мужик, подобный Питеру Брейгелю;
что он донской казак из тех краев, где родились «Тихий
Дон» и «Слово о полку Игореве» (т. е. из Новочеркасска, ска-
зал Палиевский);*

*что он продукт и результат (от Союза писателей и лич-
но от поэта Вл. Лазарева, со словами: «Хочу подытожить
стихами с точки зрения истины:*

*Правда, крытая враньем —
Точно небо – вороньем —
Воронье с тобой разгоним,
Песню чистую споем!»)*¹⁴ ;

*что он историческая личность (завкафедрой древней ис-
тории МГУ В. Кузищин, ассоциации с Ноздревым, видимо, не
предусматривались);*

*что он «отнюдь не великий деятель русской культуры, а
великий деятель человеческой культуры – спасибо Вам и за
это!» (делегация от Грузии);*

*что он – -issimus, -issime (от кафедры классической фило-
логии МГУ, латинский адрес, больше ничего не было слыш-
но);*

что он дыхание Абсолюта (не помню кто);

¹⁴ В первом издании «Записей и выписок» я по памяти процитировал вместо «точно» – «словно», вместо «с тобой разгоним» – «с небес прогоним» и вместо «песню чистую споем» – «честную зальем». Он прислал мне обиженное письмо с поправками.

*что он ломовая лошадь науки (автохарактеристика,
кем-то припомненная);*

что

*За каждым образом у Вас идея,
Вы нам открыли факел Прометея,
Вы исполин, мудрец и человек,
Вас жаждет видеть XXI век*

(из Минска);

*что «тайна призвания – одна из самых глубоких тайн,
это тайна жизни» (Аверинцев),*

*что «мы Вас любим и готовы страдать с Вами и даль-
ше» (от издательства «Мысль», говорил главный редактор,
сменивший того, которого выгнали за издание книжки Ло-
сева о Вл. Соловьеве).*

*Говорили даже, что краткость – сестра таланта, хо-
тя это звучало издевательством не только по отношению
к говорившему (Н. из МГУ), но и по отношению к автору
«Античной эстетики». Продолжалось честование четыре
часа, и к концу его А. Ф. еще был жив – по крайней мере, го-
ворил ответное слово, и даже отчасти по-гречески...*

Я Из меня будет хороший культурный перегон.

Я «Это дело двоих: меня и еще одного меня», – говорил
Мейерхольд (Гладков).

Язык В 1918 году переговоры гетманского правительства
с московским шли через переводчиков.

Язык «Пашка умел разговаривать даже с медведями, а если он, например, англичан не понимал, то только потому, что они на своем языке, вероятно, говорят неправильно» (В. Шкловский. Иприт).

Язык А. в детстве считала, что иностранный язык – это такой, на котором соль называется сахаром, а сахар солью. А Н. говорила, что в детстве ей казалось, будто по-английски лгать нельзя, так как все слова там и без того ложь.

Язык С. Кржижановский об одесском лете: на спуске к пляжу тропинка огибала цветочную грядку, все срезали угол и топтали цветы, никакая колючая проволока не помогала. Тогда написали красным по желтому: «Разве это дорога?» – и помогло. «Вот что значит говорить с человеком на его языке».

Язык Уэллса спрашивали в Петрограде 1920 года: почему ваш сын владеет языками, а вы нет? Он отвечал: потому что он – сын джентльмена, а я не сын джентльмена. Мой сын тоже не сын джентльмена. (Э. Фрид.)

Язык Искусствоведческий язык, в котором каждое второе предложение должно быть восклицательным.

«Если знаешь предлагаемое, то похвали, если не знаешь, то поблагодари» (Фульгенций).

IV

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

(ВОПРОСНИК ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ»)

1. Считаете ли Вы, что русская интеллигенция – с момента своего возникновения – являлась инициатором всех общественных движений и революций в стране?

Прежде всего: что такое интеллигенция? (И считаю ли я себя интеллигентом?) По общеевропейскому пониманию, это слой общества, воспитанный для того, чтобы руководить обществом, но не нашедший для этого вакансий и предлагающий обществу свою критику или свои предложения со стороны. Если так, то принадлежность к интеллигенции решается внутренним чувством: чувствуешь ли ты себя призванным руководить обществом? Я не чувствую: я знаю, что если меня поставить президентом, то я с лучшими намерениями наделаю много фантастических глупостей. Поэтому я предпочитаю называть себя работником умственного труда.

Затем: с какого момента возникла интеллигенция? Вероятно, с того момента, когда люди почувствовали, что они живут нехорошо и что обществу нужно какое-то руководство,

чтобы жить лучше. Тогда первыми пришлось бы назвать религиозных учителей, Будду и Христа. Думаю, что говорить об этом нелепо. Взглянем поуже: когда Россия почувствовала, что завтрашний день не должен повторять вчерашний, а должен быть новым? В XVII–XVIII веках, после Смуты и Петра I. Можно ли сказать, что идеи князя Хворостинина оказали влияние на Разина, а идеи вольтерьянцев на Пугачева? Смешно и думать. Общественные движения – результат стихийных, массовых социальных сдвигов, и искать для них инициаторов – это значит ставить небезынтересный, но практически праздный вопрос, кто первым сказал «ату!».

Интеллигенция была осознателем общественных движений, но не инициатором их.

2. Существует ли некая граница между интеллигенцией и народом? Если да, то где она пролегает? Или духовные прозрения и духовные болезни интеллигенции являются лишь отражением (усиленным) прозрений и болезней народа?

Видимо, ответ вытекает из сказанного: интеллигенция есть часть народа, чувствует то же, что и народ, но в силу лучшего образования лучше это осознает и дает этому выражение. Граница пролегает по уровню образования. Усиленное это выражение или нет – вопрос к статистике, которой в общественных науках всегда трудно. Погибло ли жертвой коллективизации два, пять или десять миллионов крестьян, можно ли говорить, что отношение наше к этой трагедии преувеличено?

3. *В какой степени творцов русской классики можно причислить к интеллигенции?*

Вероятно, по сказанному: если у них есть законченная программа общественного переустройства, то можно. Толстого можно: устроить русскую жизнь по Генри Джорджу – и все вопросы решатся. Чернышевского тем более можно. (Только считают ли его авторы анкеты «творцом русской классики»?) А вот Лермонтова или Гончарова, наверное, нельзя.

4. *Можно ли считать, что русская классика и русская интеллигенция обладали принципиально различными мироощущениями? Народолюбие интеллигенции и народолюбие русской классической литературы – явления разные?*

Может быть, высокие слова «русская классика» и «русская интеллигенция» лучше заменить более внятными «русская литература» и «русская публицистика»? Тогда окажется, что литература, как это ей и положено, изображает жизнь как она есть (с той стороны, которая доступнее писателю), а публицистика – какой она должна быть (по мнению пишущего). Чем ближе глаз к картине, тем народолюбие конкретнее, чем дальше – тем абстрактнее; промежуточных ступеней – бесконечное множество, а явление – одно и то же. Вот когда крайности того и другого рода совмещаются, как иногда у Достоевского, то это всего интереснее для изучения. «Народолюбие» – тоже не совсем точный термин. Николай Успенский любил свой народ до жестокой ненависти.

5. Можно ли говорить о слепом, культовом преклонении творцов русской культуры перед народом и о том, что этот культ стал причиной будущей гибели русской классической культуры?

Во-первых, я не вижу гибели русской культуры. Кончается одна ее форма (которую нам сейчас угодно называть классической) – начинается другая, менее привычная и потому менее симпатичная нам, но которая станет «классической» для наших детей. Обычное течение истории, никакой катастрофы.

Во-вторых, я не вижу преклонения творцов культуры перед народом. Ломоносов, Пушкин, Гоголь преклонялись перед народом? Щедрин, Лесков, Горький говорили народу: ты нищ и невежествен, поэтому ты лучше нас? Нет, они говорили: пусть нищета и невежество перестанут душить твои способности и душевные качества – и ты увидишь, что ты не хуже, а то и лучше нас.

В-третьих, когда я вижу человека, который ничуть не хуже меня, а живет много хуже, и испытываю из-за этого угрызения совести, – можно ли их называть «слепым, культовым преклонением»? Не думаю.

6–7. Какие произведения классики объективно способствовали развитию революционных настроений? Может быть, «Отцы и дети», «Гроза», «Мертвые души» превратно понимались как призыв к насильственному переустройству мира? Каков механизм подобного неадекватного восприятия

и где корни такого узкореалистического, прагматического подхода к литературе?

Тем, что речь идет не о бытии, а о сознании, понятие «объективно» исключается: все воспринимается только субъективно. Даже воля автора здесь не указ: Шекспир не вкладывал в «Гамлета» и сотой доли того, что вкладываем мы. А характер субъективного прочтения вещи определяется общественной обстановкой. Если художественное произведение говорит «наша жизнь нехороша» (а это говорит каждое честное художественное произведение), то у многих слушателей, естественно, встанет вопрос: а как ее исправить? – и ответы могут быть самые неожиданные. В Писании нет призывов к революции, но от Дольчино до Кромвеля все революционные движения начинались с Библией в руках. В чеховской «Палате номер шесть» нет ничего революционного, а Ленину она помогла стать революционером.

8. В какой степени революционные идеи шли из верхнего слоя общества в народ и в какой – из народа «вверх»? Возникли ли революционные настроения больше от субъективного восприятия действительности или от реальных бедствий народа?

Вопрос повторяет предыдущие. Психология всякой жалости: человек видит чужое несчастье, примеривает на себя, пытается прочувствовать и обращает свое чувство к ближнему. Из народа вверх шло страдание, сверху вниз – сознание необходимости покончить с этим страданием («лучше

был бы твой удел, когда б ты менее терпел»). Каким образом покончить с этим страданием – здесь уже начинаются тактические разногласия революционеров.

9. В какой мере русская классика объективно готовила потрясения 1825 года, народовольчества, 1905 года, Февраля, Октября?

Не «готовила», а «помогала предвидеть», причем все с большей точностью: 1825 год вообще не был «потрясением» шире Петербурга, готовность народа к агитации 1870-х годов была преувеличена, а дальше разрыв между прогнозом и реальностью был не так уж велик.

10. Русская идея, народное эсхатологическое сознание и их революционное применение?

Не могу ответить, плохо знаю материал. «Уход от земного» и «борьба с земным злом», конечно, противоположны, но на практике легко могут смыкаться и питать друг друга. «Русская идея», понимаемая как опыт истории России, мне мало известна (расколом я не занимался), а «русскую идею» как грядущее призвание России я пойму только тогда, когда мне объяснят, например, что такое «шведская идея» или «этрусская идея».

Насколько я знаю, национальную идею изобрел Гегель: восточная идея – тезис, греко-римская – антитезис, германская – синтез, а все остальные народы к мировой идее отношения не имеют и остаются историческим хламом. России было обидно чувствовать себя хламом, и она стала утверждать,

то ли что она тоже причастна к романо-германской идее (западники), то ли что она имеет свою собственную идею, и не хуже других (славянофилы). Кто верит, что в мировой истории есть народы избранные и народы мусорные, пусть думает над этим, а для меня это неприемлемо.

11. Личность и свобода в русской классике и революционных теориях?

Тоже вопрос не для меня. Личность я понимаю только как точку пересечения общественных отношений, а свободу – как осознанную необходимость: рабский ошейник, на котором написано (неважно, чужое или мое собственное) имя. К счастью, машина взаимодействия этих необходимостей разлажена, и временами в образовавшийся зазор может втиснуться чей-то личный выбор – т. е. такой, в котором случайно перевесит та или другая детерминация.

12. Место культуры в русском обществе прежде и сейчас? Стремление русских писателей выйти за пределы литературы, борьба с «художественностью»?

Культура – это все, что есть в обществе: и что человек ест, и что человек думает. Нет «места культуры» в обществе – есть *структура* культуры общества. Конечно, некоторые предпочитают называть «культурой» только те явления, которые нравятся лично им, а остальные именовать «бескультурностью» или «одичанием», но это несерьезно. Описать структуру современной нашей культуры с ее сосуществованием пластов, идущих от митрополита Илариона

и от вчерашних газет, я не берусь. Современный ее кризис – в том, что ответ на вопрос «что делать, чтобы лучше жить?», предлагавшийся во многих подновлениях коммунистической идеологией, оказался несостоятельным и оставил после себя идейный вакуум, в котором сейчас кипит хаос. Конечно, литературу тоже втягивает туда, и ей хочется сбросить «художественность» и стать публицистикой. Каждому Гоголю когда-нибудь кажется, что «Выбранными местами из переписки» он нужнее людям, чем «Мертвыми душами». Об этом самоубийственно хорошо написал Пастернак в середине «Живаго».

13. Существует ли «светская линия» в русской культуре? Если да, то что она собой представляет и в чьем творчестве выражена?

Не понимаю противопоставления. Чему противопоставляется «светская линия»? «Церковной линии»? Тогда на «светской линии» будет стоять вся русская литература без исключения во главе с Львом Толстым, официально отлученным от церкви. А на церковной останутся какие-нибудь «Кавалеры Золотой звезды» церковного производства, которых я, к сожалению, не читал. Или, может быть, «религиозной линии»? Тогда придется вспомнить, что еще Чехов, кажется, говорил, что между верой и безверием – широкое поле и это только русские люди умеют видеть лишь два его края и не видеть середины. Давайте тогда составим карту, где каждый писатель располагается в этом пространстве, – исходя, ра-

зумеется, не из деклараций писателей, а из их художественных текстов. Придется работать с очень малыми величинами: так, было подсчитано, что процент строк, из которых явствует всего-навсего, что автор «Песни о Роланде» – христианин, всего около 10%. Такое исследование будет очень полезно – не меньше, чем, например, о том, насколько какой писатель чувствителен к оттенкам цвета, вкуса и запаха.

14. Была ли русская литература XIX века преддверием Церкви – или заменителем Церкви, «альтернативной религией», на смену которой могли прийти иные «религии»: коммунизм, национализм, социалистический реализм?

Насколько я понимаю, «религией» в кавычках здесь называется идеология, т. е. комплекс идей, не самостоятельно выработанных человеком, а навязанных ему традицией или окружением. Таких идеологий может быть очень много, и сосуществовать в одном сознании они могут очень причудливо (например, национализм с христианством или с коммунизмом). Единство вкуса – это тоже идеология, объединяющая общество; единство вкуса к русской классике – в том числе. К счастью, эта идеология менее догматизирована, чем другие, и от нас не требуют обязательно считать Гоголя выше Лермонтова или наоборот. Поэтому надеюсь, что господствующей эта идеология не станет, а вспомогательной она может оказаться при любой другой: двадцать лет назад мы чтили Пушкина за оду «Вольность», а теперь, кажется, чтим за «Отцы пустыnnики и жены непорочны» и за «Тень Бар-

кова». Предшественницей социалистического реализма русская классика была во всяком случае: писателям полагалось учиться у Льва Толстого, а не у Андрея Белого.

15. Как показывает опыт, наша культура расцветает под гнетом, а при самой малой свободе исчезает, оставляя дешевую масскультуру, запоздалое подражание Западу и заумное эстетство. Может быть, отечественная культура несовместима со свободой?

А когда у нас была «самая малая свобода»? При Екатерине II? При «Войне и мире»? После 1905 года? Неужели можно сказать, что культура в эти годы «исчезала»? Кроме того, «расцвет» культуры и «формирование» культуры – годы разные: Пушкин был сформирован общественным подъемом 1812–1815 годов, а писал под общественным гнетом 1820–1830-х. Далее, в Европе, где (считается) свободы было больше, в 1860–1870-х годах царило эпигонство и та же масскультура, а эксперименты импрессионистов и Сезанна встречались насмешками. При всяком режиме существует искусство серийное и искусство лабораторное, загнанное в угол, где и вырабатываются новые формы; а «новые», в понимании нашего века, и есть «хорошие», «настоящие».

16. Можно ли считать, что миновало время идеологизированной, учительной литературы, и она сможет наконец стать «чисто художественной»?

Это зависит не от писателей, а от читателей: захотят ли они учиться, т. е. усваивать готовую идеологию в готовом

виде? Если общественные условия давят, то учительной литературой может оказаться и поваренная книга. И наоборот, когда отойдут современные политические проблемы, то Солженицына будут читать не как ответ на животрепещущие вопросы, а как чистое искусство. «Георгики» Вергилия были агитационной поэмой за подъем римского сельского хозяйства, а кто сейчас, читая их, помнит об этом?

17. Индивидуализм (гражданские права, парламентское устройство), коллективизм и соборность – какой путь лучше для России и каково место литературы в жизни общества в каждом случае?

Вопрос не для меня. Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умирать с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же – между сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина я не вижу разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен. (Именно общества, а не государства: такие же жесткие требования ко мне предъявляют и дом, и рабочий коллектив.) Я хотел бы, чтобы мне позволяли существовать, хотя бы пока я не мешаю существовать другим. Но я мешаю: тем, что ем чей-то кусок хлеба, тем, что заставляю кого-то видеть свое лицо... Впрочем, это уже не ответ на поставленный вопрос.

Примечание филологическое

У слова *интеллигенция* и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало «люди с умом» (этимологически), потом «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто «очень хорошие люди».

Слово *intelligentia* принадлежит еще классической, цицероновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию». За две тысячи лет оно поменяло в европейской латыни много оттенков, но сохранило общий смысл. В русский язык оно вошло именно в этом смысле. В. Виноградов в «Истории слов» (М., 1994, с. 227–229) напоминает примеры: у Тредиаковского это «разумность», у масонов это высшее, бессмертное состояние человека как умного существа, у Огарева иронически упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией», а Тургенев в 1871 году даже писал: «собака стала... интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился». Позднее определение Даля (1881): «Интеллигенция – разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Еще Б. И. Ярхо (1889–1942) во введении к «Методологии точного литературоведения» держится этого интеллектуалистического понимания: «Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетво-

ние этой потребности... Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется степень „интеллигентности“. Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы». (Писаны эти слова в 1936 году в сибирской ссылке.)

Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших „Анну Каренину“» (Г. П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания «новой русской элиты», которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество). Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия *интеллигенция* повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность – вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, придумав слово без промаха: «образованщина». Конечно, для

порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, – он не настоящий интеллигент.

Теперь зайдем с другой стороны – от производного слова *интеллигентный*. При Тургеневе, как мы видели, оно означало лишь умственные качества – хотя бы собаки. Для Даля оно еще не существует, около 1890 года оно ощущается как новомодный варваризм. Слово *интеллигентный* – производное от *интеллигенция* (сперва как «умственные способности», потом как «совокупность их носителей»). Близкое слово *интеллигентский* – производное от более позднего слова *интеллигент*. Как *интеллигенция*, так и *интеллигент* – слова, с самого начала не лишённые отрицательных оттенков значения: *интеллигенция* (в отличие от «людей образованных») охотно понималась как «сборище недоучек», дилетантов, примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны у Виноградова. Но на производные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени.

Слово *интеллигентский* и Ушаков, и академический словарь определяют как «свойственный интеллигенту» с отрицательным оттенком: «о свойствах старой, буржуазной интеллигенции» с ее «безволием, колебаниями, сомнениями». Слово *интеллигентный* и Ушаков, и академический словарь определяют как «присущий интеллигенту, интеллигенции»

с положительным оттенком – «образованный, культурный». *Культурный*, в свою очередь, здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова *культура* в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений этого слова в том же словаре).

Антитезой к слову *интеллигентный* в современном языковом сознании будет не столько «невежда», сколько «невежа» (а к слову *интеллигент* – не «мещанин», а «хам»). Каждый из нас ощущает разницу, например, между «интеллигентная внешность», «интеллигентное поведение» и «интеллигентская внешность», «интеллигентское поведение». При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном – подлинные.

Мне запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Лёвкин напечатал в журнале «Родник» статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: «Почему я не интеллигент». В. П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать: „Почему я не интеллигентен“ – у него не хватило смелости».

Попутно посмотрим еще на одну группу мелькнувших перед нами синонимов: *просвещенность, образованность, воспитанность, культурность*. Какие из них более положительно и менее положительно окрашены?

Воспитанность – это то, что впитано человеком с младенческого возраста, «с молоком матери»: оно усвоено прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: «не сморкаться в руку» заведомо входит в понятие воспитанности, а «знать, что дважды два – четыре» – заведомо не входит. *Образованность* относится к человеку, уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ («ображать камень», «выделывать вещь из сырья», – пишет Даль) – образ подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. *Просвещенность* – тоже не врожденное, а благоприобретенное качество, свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший существо человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово *просвещенный* ощущается как более возвышенное, духовное, чем *образованный*. (Слово «просвещенцы» менее обидно, чем «образованцы».) Наконец, *культурность*, слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений.

Самым молодым и активным в этой группе слов является *культурность*, самым старым и постепенно выходящим из употребления – *просвещенность*. Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из язы-

ка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова *интеллигентность*: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.

Таким образом, понятие интеллигенции в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности». Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем *интеллигентностью*, *культурностью*, в XVIII веке синонимом была «светскость», в средние века – «вежество», куртуазия, в древности – *humanitas*, причем определялась эта *humanitas* на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека – разумность в отношении к природе и *humanitas* в отношении к обществу, т. е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На *humanitas*, на искусстве достойного общения между равными, держится все общество. Не случайно потом на основе этого – в конечном счете бытового – понятия развилось такое возвышенное понятие, как *гуманизм*.

И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русского понятия *интеллигенция*, *интеллигентный*. Интеллигенция в первоначальном

чалом смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, — ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. Интеллигентность в теперешнем смысле слова, как «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными («ближними», говоря по-старинному). Когда я говорю «мой начальник — человек интеллигентный», это понимается однозначно: мой начальник умеет видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам.

А интеллигенция в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими — с «властью» и «народом». Причем оба эти понятия — и власть, и народ — достаточно расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни нового времени. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: *intelligentsia*. Для интеллигенции как службы ума существуют устоявшиеся слова: *intellectuals*, *les intellectuels*. Для интеллигентности как умения уважительно обращаться друг с другом в обществе существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для «службы совести» — нет. (Что такое совесть и что такое честь? И то, и другое определяет выбор поступка, но честь — с мыслью

«что подумали бы обо мне отцы», совесть — с мыслью «что подумали бы обо мне дети».) Более того, когда европейские *les intellectuels* вошли недавно в русский язык как *интеллектуалы*, то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: «рафинированный интеллектуал», «высоколобые интеллектуалы». Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный интеллектуал — это специалист умственного труда, и только, а русский интеллигент традиционного образца притязает на нечто большее.

Примечание историческое

Было два определения интеллигенции: европейское *intelligentsia* — «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел», и советское — «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое, западное, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция (интеллектуалы) — это прежде всего носительница духовных ценностей: так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью

пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность» – не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.

В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция (даже русская) оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция – носительница духовных ценностей» – безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция – носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности: вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов?

«Свет и свобода прежде всего», – формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу придется расчленить: свет обществу могут нести одни, свободу другие, а скрещение и сращение этих задач – специфика русской социаль-

но-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние триста лет.

При этом заметим: «свет» – он всегда привносится со стороны. Специфики России в этом нет. «Свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития», – эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но – пусть менее кроваво – культура привносилась со стороны, и привносилась именно сверху, не только в России, но и везде. Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия – культурной колонией Франции, а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия – античного Рима, а Рим – завоеванной им Греции. Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.

В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием, в XVIII веке дворянским сословием, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь

между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой – с приходом в культуру разночинцев (не обязательно поповичей), т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог кончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространятся на весь народ – по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, – приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.

Русская интеллигенция была трансплантацией: западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. В отсталой России власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов: при Петре – таких людей, как Татищев или Нартов, при большеви-

ках — таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках — николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти и оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. Повесть Б. Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня» начинается приблизительно так (цитирую по памяти): «Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции...». То есть когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли, хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилась интеллигенция как специфически русское явление. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социальной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности — от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились.

Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 году. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским (практическим), а интеллигентским (кри-

тическим), взглядом из-за ограды. Критический взгляд из-за ограды – ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, – естественное порождение русских исторических условий. Парламентская машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где власть была монопольна, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя – чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха – поступательства своими принципами.

Может быть, нервничанье интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализмов, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале. Щедрин жестко сказал о межеумстве русского человека: в Европе ему все кажется, будто он что-то украл, а в России – будто что-то продал.

«Долг интеллигенции перед народом» своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-

современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Противопоставляет она себя всем остальным людям – тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в XIX веке обычно называли «мещане» и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Это была часть того самоуничижения, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, однако об этом никто не написал басни.

Отстраненная от участия во власти и неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредоточивается на работе теоретической – на выработке национального самосознания. Самосознание – что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хва-

тает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. (Какое самосознание было у Платона Каратаева?) Наконец, при достаточной широте кругозора, – о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому «интеллигенция – носитель национального самосознания» мы слышим часто, а «носитель христианского самосознания» (отменяющего нации) – почти никогда. А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным «общечеловеческое».

Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу по самосознанию общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредоточиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе – переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе – замкнуться на самоанализе и самоумилении своей «правдой». В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом – правда. Одно может мешать другому, чаще – второе первому. При этом сбивающая правда может быть не только революционной («классо-

вая наука», всем нам памятная), но и религиозной (отношение церкви к системе Коперника). «Самосознание» себя и своего общества как бы противопоставляется «сознанию» мира природы. Пока борьба с природой и познание природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становятся главной заботой человечества, должны ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше: общественный ли конфликт передовых стран с третьим миром (для осмысления которого нужны интеллигенты-общественники) или экологический конфликт с природой (для понимания которого нужны интеллектуалы-специалисты)?

«Широта кругозора» сказали мы. Просвещение – абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Сократ говорил: «Если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно; а если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель». Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком произвольно, – опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать: «Хорошо все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу и, во-вто-

рых, человечеству как виду», — то и здесь между этими целями «во-первых» и «во-вторых» возможны столкновения; в точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия.

Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность, с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. Лишь бы понятие «интеллигент» не самоотождествилось, расплываясь, с понятием «просто хороший человек». (Почему уже неудобно сказать «я интеллигент»? Потому что это все равно, что сказать «я хороший человек».) Самоумение опасно.

ОБЯЗАННОСТЬ ПОНИМАТЬ

(«ПУТЬ К НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРАВА ЛИЧНОСТИ» – ДИСКУССИЯ В ЖУРНАЛЕ «ДРУЖБА НАРОДОВ»)

Я – человек. Считается, что уже поэтому я личность. Если я – личность, то какие я чувствую за собой права? Никаких. Я не сам себя создал, и Господь Бог не трудился надо мной, как над Адамом. Меня создало общество – пусть даже это были только два человека из общества, отец и мать. Зачем меня создало общество? Чтобы посмотреть, что из меня получится. Если то, что ему на пользу, – хорошо, пусть я продолжаю существовать. Если нет – тогда в переплавку, в большую ложку Пуговичника из «Пер Гюнта».

Почему я не чувствую за собой права на существование? Потому что мне достаточно представить себя на необитаемом острове – в одиночку, как самодовлеющую личность. Выживу ли я? От силы два-три дня. Голод, холод, хищные звери, ядовитые травы – нет, единственное мое заведомое личное право – умирать с голоду. Все остальные права – дареные. Триста лет назад, когда общество еще не было таким дифференцированным, может быть, выжил бы. И Дефо написал бы с меня «Робинзона Крузо», изрядно идеализиро-

вав. Но времена робинзонов, которые будто бы сами творят цивилизацию (а не она их), давно прошли. Кстати, Робинзон с Пятницей – кто они были: нация? народ? этнос, с этническим большинством и этническим меньшинством?

Есть марксистское положение: личность – это точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду. Я зримо вижу черное ночное небо, по которому, как прожекторные лучи, движутся светлые спицы социальных отношений. Вот несколько лучей скрестились – это возникла личность, может быть – я. Вот они разошлись – и меня больше нет.

Что я делаю там, в той точке, где скрещиваются лучи? То, что делает переключатель на стыке проводов. Вот откуда-то (от единомышленника к единомышленнику) послана научная концепция – протянулось социальное отношение. Вот между какими-то единомышленниками протянулась другая, третья, десятая... Они пересеклись на мне: я с ними познакомился. Я согласовываю в них то, что можно согласовать, выделяю более приемлемое и менее приемлемое, меняю то, что нуждается в замене, добавляю то, что мой опыт социальных отношений мне дал, а моим предшественникам не мог дать; наконец, подчеркиваю те вопросы, на которые я так и не нашел удовлетворительного ответа. Это мое так называемое научное творчество. (Я филолог – я приучен ссылаться

на источники всего, что есть во мне.) Появляется новая концепция, новое социальное отношение, луч, который начинает шарить по небу и искать единомышленников. Это моя так называемая писательская и преподавательская деятельность.

Где здесь место для прав личности? Я его не вижу. Вижу не права, а только обязанность, и притом одну: понимать. Человек – это орган понимания в системе природы. Если я не могу или не хочу понимать те социальные отношения, которые скрещиваются во мне, чтобы я их передал дальше, переработав или не переработав, то грош мне цена, и чем скорее расформируют мою так называемую личность, тем лучше. Впрочем, пожалуй, одно право за собой я чувствую: право на информацию. Если вместо десяти научных концепций во мне перекрестятся пять, а остальные будут перекрыты, то результат будет гораздо хуже (для общества же). Вероятно, общество само этого почему-либо хотело; но это не отменяет моего права искать как можно более полной информации.

Я уже три раза употребил слово «единомышленник». Это очень ответственное слово, от его понимания зависит все лучшее и все худшее в том вопросе, который перед нами. Поэтому задержимся.

Человек одинок. Личность от личности отгорожена стенами взаимонепонимания такой толщины (или провалами такой глубины), что любые национальные или классовые барьеры по сравнению с этим – пустячная мелочь. Но именно поэтому люди с таким навязчивым пристрастием останавли-

вают внимание на этой пустячной мелочи. Каждому хочется почувствовать себя ближе к соседу, и каждому кажется, что для этого лучшее средство – отмежеваться от другого соседа. Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого (а если смотрел бы, то только с мыслью «а моя (мой) все-таки лучше»). Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства – разве не одинаково работает этот психологический механизм? Всюду смысл один: «Самые лучшие – это мы». Еще Владимир Соловьев (и, наверное, не он первый) определил патриотизм как национальный эгоизм.

Ради иллюзии взаимопонимания мы изо всех сил крепим реальность взаимонепонимания – как будто она и так не крепка сверх моготы! При этом чем шире охват новой сверхкитайской стены, тем легче достигается цель. Иллюзия единомыслия в семье или в дружбе просуществует не очень долго – на каждом шагу она будет спотыкаться о самые бытовые факты. А вот иллюзия классового единомыслия или национального единомыслия – какие триумфы они справляли хотя бы за последние два столетия! При этом природа не терпит пустоты: стоило увянуть мифу классовому, как мгновенно расцветает миф националистический. Я чувствую угрызения совести, когда пишу об этом. По паспорту я русский, а по

прописке москвич, поэтому я – «этническое большинство», мне легко из прекрасного далека учить взаимопониманию тех, кто не знает, завтра или послезавтра настигнет их очередная «ночь длинных ножей». Простите меня, читающие.

У личности нет прав – во всяком случае, тех, о которых кричат при построении новых взаимоотношений. У личности есть обязанность – понимать. Прежде всего понимать своего ближнего. Разбирать по камушку ту толщу, которая разделяет нас – каждого с каждым. Это работа трудная, долгая и – что горше всего – никогда не достигающая конца. «Это стихотворение – хорошее». – «Нет, плохое». – «Хорошее потому-то, потому-то и потому-то». (Читатель, а вы всегда сможете назвать эти «потому-то»?) – «Нет, потому что...» и т. д. Наступает момент, когда после всех «потому что» приходится сказать: «Оно больше похоже на Суркова, чем на Мандельштама, а я больше люблю Мандельштама». – «А я наоборот». И на этом спору конец: все доказуемое доказано, мы дошли до недоказуемых постулатов вкуса. Стали собеседники единомышленниками? Нет. А стали лучше понимать друг друга? Думаю, что да. Потому что начали – и, что очень важно, кончили – спор именно там, где это возможно. (Читатель, согласитесь, что чаще всего мы начинаем спор именно с того рубежа, где пора его прекращать. А ведь до этого рубежа нужно сперва дойти.) Я нарочно взял для примера спор о вкусе, потому что он безобиднее. Но совершенно таков же будет и спор о вере. Кончится он всегда

недоказуемыми постулатами: «Верю, ибо верю». А что постулаты всех вер для нас, людей, равноправны – нам давно сказала притча Натана Мудрого.

Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем они нужны? Затем, что они учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимонепонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа – говорить и думать как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить себя. Почему Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает: потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому – гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян – только через переводчиков. Что из этого вышло, мы знаем.

Сколько у вас бывает разговоров в день – хотя бы мимоходных, пятиминутных? Пятьдесят, сто? Ведите их всякий раз так, будто собеседник – неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, вер и наций станут для вас возможным и успешнее.

И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не за чье-либо общее мнение. Когда в Гражданскую войну к коктейбельскому дому Максими-

лиана Волошина подходила толпа, то он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-нибудь один – со многими я не могу». И разговор кончался мирно.

Нас очень долго учили бороться за что-то: где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг, – одолеем его, и откроется рай. Это длилось не семьдесят лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь мы дожили до времени, когда всем уже, кажется, ясно: нужно не бороться, а делать общее дело – человеческую цивилизацию; иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга.

Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек.

ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ

**(ДИСКУССИЯ В ЖУРНАЛЕ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»)**

Филология – наука понимания. Слово это древнее, но понятие – новое. В современном значении оно возникает

в XVI–XVIII веках. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук – историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса – античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея – рыцарем, а Сократа – профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью – филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.

Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас непохоже. Гуманизм многих веков сходил на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для

каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода – дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев – монархист. Но ведь наслаждение и понимание – вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно – лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология.

Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, – учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям «как к живым людям»; филолог этого права не имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части – на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя – одинаково со стороны и одинаково критически.

Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на

время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? – потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает «Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике. «Мой Пушкин» – принимает Пушкина, «Пушкинский я» – возвышает меня.

Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чуждого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто

очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал – не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо – настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова», как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.

За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это неслучайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык – в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Словарь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии XX века), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы). Только ко-

гда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.

И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. *Филология* значит «любовь к слову»: у литературоведа такая любовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы, и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом – нравственный долг каждого, а филолога – в первую очередь.

Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель

— она отучает человека от духовного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки — не заноситься.) Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру.

Примечание псевдофилософское

(из дискуссии на тему «Философия филологии»)

Прежде всего, мне кажется, что формулировка общей темы парадоксальна. (Может быть, так и нужно.) Филология — это наука. А философия и наука — вещи взаимодополняющие, но несовместимые. Философия — это творчество, а наука — исследование. Цель творчества — преобразовать свой объект, цель исследования — оставить его неприкосновен-

ным. И то, и другое, конечно, одинаково недостижимо, но эти недостижимые идеалы диаметрально противоположны.

Философия филологию может только разъедать с тыла. Точно так же, впрочем, как и филология философию. Тот тыловой участок, с которого филология разъедает философию, хорошо известен: это история философии, глубоко филологическая дисциплина. Неслучайно оригинальные философы относятся к истории философии с нарастающей нервностью, потому что на ее фоне любые притязания на оригинальность сразу выцветают. Поэтому естественно, что и философия ищет для себя в тылу науки такой же надежный плацдарм. Он и называется «философия филологии», «философия астрономии» и т. д., по числу наук. Располагая такими позициями, философия и филология могут сплетаться садомазохистским клубком сколь угодно долго. Очень хорошо — лишь бы на пользу.

Есть предположение, что филология не просто наука, а особенная наука, потому что предполагает некоторое интимное отношение между исследователем и его объектом. Об этом очень хорошо писал С. С. Аверинцев. Я думаю, что это не так. Конечно, интимное отношение между исследователем и его объектом есть всегда: зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы. Вот с такой же интимностью и филолог относится к Данту или Дельвигу, но не более того. Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит беско-

нечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог: это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? – вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки.

Филология – это «любовь к слову». Что такое слово? Мертвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова расходящимися кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей эпохи, – все, что входит в понятие «культура». Каждый исследователь выбирает то направление, которое его интересует. Но вначале он должен правильно понять слово: в таком-то написании, в таком-то сочетании, в таком-то жанре (оды или полицейского протокола), в такой-то стилистической традиции это слово с наибольшей вероятностью значит то-то, с меньшей – то-то, с еще меньшей – то-то и т. д. А эту наибольшую или наименьшую вероятность мы устанавливаем, подсчитав все контексты употребления слова в памятниках данной чужой культуры. С чего начинается дешифровка текстов на мертвых языках? С того, что Шампольон подсчитывает, как часто встречается каждый знак, и в каких сочетаниях, и в каких сочетаниях сочетаний. С этого начинается и филология, поскольку она хочет быть наукой. В этом фундаменте филологических исследований, как мы знаем, сделано пока ничтожно мало. Поэтому жаловаться на «исчерпанность филологи-

ческой концепции слова» никак нельзя. Жаловаться нужно на то, что практическое развертывание филологической концепции слова еще не начиналось. Когда оно произойдет, тогда мы и увидим, на что способна и на что неспособна филология.

В частности, способна ли филология производить новые смыслы, новое знание – или только устанавливать уже существующие смыслы текстов? Ровно в такой же степени, как всякая наука. Планета Нептун существовала и без Леверье, он ее только открыл: было ли это установлением уже существующего или производством нового знания? Семантика пропусков ударения в 4-стопном ямбе Андрея Белого существовала, хотя он сам себе не отдавал в ней отчета; ее открыл Тарановский – было ли это установлением существующего или производством нового? Новое знание и новые смыслы – разные вещи. Новое знание – область исследовательская, этим занимается наука; новые смыслы – область творческая, этим занимается критика. Это критика вычитывает из Шекспира то проблемы нравственные, то проблемы социальные, то проблемы психоаналитические, а то вовсе выбрасывает его за борт, как Лев Толстой. Наука рядом с нею лишь дает отчет, какие из этих смыслов вычитываются из Шекспира с большей, меньшей и наименьшей вероятностью. Такая охрана памятников старины – тоже нужная вещь. Понятно, при этом критика, как область творческая, работает в задушевном альянсе с философией, а наука держится на дистанции

и только следит, чтобы они не применяли неевклидовы методы к таким словесным объектам, для которых достаточно евклидовых.

Творческий деятель стремится к самоутверждению, исследователь – к самоотрицанию. Мне лично ближе второе. Мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит. Творчество необходимо человечеству, но при полной свободе оно просто неинтересно. В материальном творчестве нужное сопротивление материала обеспечивает сама природа, а законы ее формулирует наука естествознание. В духовном творчестве эти рамки для свободы полагает культура, а обычаи ее формулирует наука филология. Диалог между творческим и исследовательским началом в культуре всегда полезен (конечно, как всегда, диалог с предпосылкой полного взаимонепонимания). По-видимому, таков и диалог между философией и филологией. Пусть они занимаются взаимопоеданием, только так, чтобы это не отвлекало их от их основных задач: для творчества – усложнять картину мира, для науки – упрощать ее.

ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

(ДЛЯ ЖУРНАЛА «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»)

Прошедшее нужно знать не потому, что оно

прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.

В. О. Ключевский

Словосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и – «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение – в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины.

Спрос на старину – это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат – осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново – никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад – очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно отработана русской историей.

На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее – великолепно, будущее – неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось – как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не все заслуживает поклонения, не все необходимо для

будущего, о котором как-никак приходится заботиться.

У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат: «Два чувства дивно близки нам – / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам. [На них основано от века, / По воле Бога самого, / Самостоянье человека, / Залог величия его.] Животворящая святыня! / Земля была б без них мертва, / Как... пустыня / И как алтарь без божества». При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим Пушкиным, – вероятно, цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен «отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу.

Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. В. Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. Десять с лишним лет назад была элитарная Тыняновская конференция в Резекне, местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхвачен мгновенно. («Чтобы дарить вместо взяток», – смущенно объясняли купившие.) Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: люди читают меня потому, что плохо знают русскую историю. Он был прав: лучше пусть читатель узнает о

князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где (боюсь) о нем вообще не упомянуто. Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовое бескультурье.

В Москве перекрасили старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрации не получилось: в новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом – весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 1980-х годов. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя – здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только вдесятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне – насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было, так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей.

Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля – со сносом москворецкой стены, с па-

радным, во всю ширь, спуском к Москве-реке и т. д. В центре Москвы появилось бы нечто совсем непохожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас – существующим стенам и башням, ибо они освящены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого.

Историки античности знают: когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюда, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, – ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура нимало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихийную общественную потребность «осадить назад» – это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности.

Но сейчас наша массовая культура – явление неуправляемое и непредсказуемое (хотя она вполне поддается управ-

лению, и на Западе это хорошо знают). Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего, – это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к «нашему наследию» обычная культура (именующая себя иногда «высокой»), заинтересованная не только в том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое – то, что нужно будет завтрашнему дню.

Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого – могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две: она будет эклектична и плюралистична.

Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура: только издали эпоха Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир и мы бы увидели его изнутри, у нас бы запестрело в глазах: так трудно было бы отличить «самое главное» от пережитков прошлого и ростков нового. В наше время история движется все быстрее, и наследия прежних эпох напластовываются друг на друга самым причудливым образом. Купола XVII века, колонны XVIII века, доходные глыбы XIX века, сталинское барокко XX века смешиваются в панораме Москвы. Чтобы разобраться в этом и отделить перспективное от пригодного только для музеев (этих кладбищ культуры, как вслед за Ламартином называл их Флоренский), нужно разорвать былые органические связи там, где они еще не разорвались сами со-

бой, и рассортировать полученные элементы, глядя не на то, «откуда они», а на то, «для чего они». Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего «чужое слово», бывшее в употреблении, захваченное руками и устами прежних его носителей; учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше.

«Эклектика» долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляются цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть: цельность, органичность и проч. мы видим, лишь нарочно закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Последовательные большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не имел революционного мировоззрения, – разве мы не стали богаче, научившись смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на рабовладельца Эсхила и монархиста Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского «Грозного», чувствуя в его кадрах сталинский заказ, – разве нам не легче оттого, что мы можем отвлечься от этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется; но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня (скажет всякий фольклорист). Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах одного произведения мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического восприятия

и что оставляем вне его. «Отбираем» – по-гречески это тот самый глагол, от которого образовано слово «эkleктика».

Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом, под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий, этот переход от взгляда изнутри к взгляду издали? Мы не можем это описать: это дело социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического реализма, что не скоро оправится. Но этот «хрестоматийный глянец» – благое дело, несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура – это наука человеческого взаимопонимания: общепризнанный культурный пантеон, канон классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к комментариям (как в Китае, как в Греции), это почва для такого комментария.

Но этот общепризнанный и общеизученный канон классиков – лишь фундамент взаимопонимания, на котором возводится надстройка индивидуальных вкусов. На эkleктике общей культуры зиждется плюрализм личных предпочтений. От культурного человека можно требовать, чтобы он знал всю классику, но нельзя – чтобы он всю ее любил. Каждый выбирает то, что ближе его душевному складу. Это и называется «вкус»: в XVIII веке это было едва ли не центральное понятие эстетики, сейчас оно ютится где-то на ее окра-

ине. Вкус индивидуален, потому что он складывается из напластований личного эстетического опыта, от первых младенческих впечатлений, а состав и последовательность таких напластований неповторимы.

Хочется верить, что культура будущего возродит важность понятия «вкус» и выработает средства для его развития применительно к душевному складу каждого человека. Многие, наверное, знали старых библиотекарей, которые после нескольких встреч с читателем уже умели в ответ на его расплывчатое «мне бы чего-нибудь поинтереснее...» предложить ему именно такую книгу, которая была бы ему интересна и в то же время продвигала бы его вкус, подталкивала бы интерес немножко дальше. Сколько читателей, столько и путей от книги к книге – от букварных лет до глубокой старости. Это как бы сплетение лестниц, ведущих по книжкам, как по ступенькам, выше и выше: они сбегаются к лестничным площадкам и разбегаются от них вновь, и в этом высотном лабиринте каждый нащупывает для себя ту последовательность пролетов, которая для него естественнее и легче. Хорошо, кому поможет в этих поисках старая библиотекарша или старая учительница, имеющая к этому талант от Бога. Но талант редок, поддержать или заменить его должна наука, называемая «психология чтения», а она у нас давно заглохла.

Говоря о высотном лабиринте выработки культурных вкусов, подчеркнем еще одно: путь по нему бесконечен, нет та-

кой ступеньки, на которой можно было бы остановиться с гордым чувством, что она последняя и выше ничего нет. Это важно, потому что советская школа семьдесят лет исходила из противоположного: подносила учащимся только бесспорные истины. Они менялись, но всегда оставались истинами в последней инстанции – будь то в физике или истории, в математике или литературе. Школа изо всех сил вбивала в головы молодых людей представление, что культура – это не процесс, а готовый результат, сумма каких-то достижений, венец которых – марксизм. А когда человек с таким убеждением останавливается на любой ступеньке и гордо смотрит сверху вниз, то это уже становится общественным бедствием: ему ничего не докажешь, он сам всякому прикажет. Подчеркиваю, на любой ступеньке: застынет ли человек в своем развитии на Агате Кристи, или на Тургеневе, или на Джойсе – это все равно.

Такая школа была порождением своего общества. Старая гимназия готовила питомцев к университету, а затем к служебной карьере, новая школа готовила (и готовит) их неизвестно для чего. Наше хозяйство никогда не знало, сколько каких ученых сил ему нужно сию минуту, а подавно – через десять лет. Какая может быть полнота раскрытия индивидуальных вкусов и склонностей выпускника, который будет брошен общественной необходимостью неведомо куда? В бенкендорфовские времена Нестор Кукольник со скромной гордостью говорил: «Прикажут – буду акушером». Было

время, когда с таким акушерским энтузиазмом можно было чего-то достичь, даже в культуре; но оно давно прошло, а школа (и не только школа) этого не заметила.

Почему именно сейчас так остро стоит вопрос об освоении прошлого, о приобщении к культуре? Потому что наше общество приближается, по-видимому, к большому культурному перелому. Распространение образования (т. е. знакомства с прошлым, своим и чужим), развитие культуры – процесс неравномерный. В нем чередуются периоды, которые можно условно назвать «распространение вширь» и «распространение вглубь». «Распространение вширь» – это значит: культура захватывает новый слой общества, распространяется в нем быстро, но поверхностно, в упрощенных формах, в элементарных проявлениях – как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не внутреннее преобразование. «Распространение вглубь» – это значит: круг носителей культуры остается тот же, заметно не расширяясь, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим, формы ее проявления более сложными.

XVIII век был веком движения культуры вширь – среди невежественного дворянства. Начало XIX века было временем движения этой дворянской культуры вглубь – от поверхностного ознакомления с европейской цивилизацией к творческому ее преобразованию у Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина и вторая половина XIX века – опять дви-

жение культуры вширь, среди невежественной буржуазии; и опять формы культуры упрощаются, популяризируются, приноравливаются к уровню потребителя. Начало XX века – новый общественный слой уже насыщен элементарной культурой, начинается насыщение более глубинное: русский модернизм, время Станиславского и Блока. Наконец, революция – и культура опять движется вширь, среди невежественного пролетариата и крестьянства. Сейчас мы на пороге новой полосы распространения культуры вглубь: на периферии еще не закончилось поверхностное освоение культуры, а в центре уже начались новые и не всем понятные попытки переработки усвоенного – они называются «авангард».

Взаимонепонимание такого центра и такой периферии (не в географическом, конечно, а в социальном смысле) может быть очень острым, и в современных спорах это чувствуется. В таком взаимонепонимании массовая культура опирается на (еще плохо переваренное) «наше наследие» прошлого, а авангард, как ему и полагается, демонстративно от него отталкивается (на самом деле, конечно, тоже опирается на прошлое, только на иные его традиции). Поэтому нам и пришлось начинать разговор с вопроса «наследие прошлого и массовая культура», а конец такого разговора, понятным образом, теряется в гаданиях о тех путях, по которым пойдет развитие культуры ближайшего будущего.

Примечание педагогическое

(интервью для газеты «Первое сентября»)

Школа должна воспитывать вкус: здесь происходит борьба за школьника между высокой культурой и массовой культурой. Вы предостерегаете против культа прошлого и заступаетесь за массовую культуру. Почему?

Вероятно, я по складу характера не склонен к конфронтации. Что такое борьба между высокой и массовой культурой, я понимаю, но предпочитаю, чтобы она велась не силою. Когда прошлое борется с будущим, то всегда побеждает будущее, но при этом не отторгает прошлое (даже если очень того хочет), а вбирает его в себя. Поэтому плодотворнее было бы подумать, как ценимому нами прошлому выгоднее проникнуть в будущее и прорасти в нем. А для этого один из путей – массовая культура, заведомо живая и распространенная. Если в борьбе за молодежь она – соперник школы, то соперника нужно знать. Кто лучше поймет своего соперника, тот и выиграет спор.

«Массовая культура лучше, чем массовое бескультурье», – говорили Вы. А что, если массовая культура – это лишь амбиции бескультурья?

Бескультурия не бывает, бывает только чужая культура (или субкультура). Что такое культура? Это пища, одежда, жилище, хозяйство, семья, воспитание, образ жизни, нормы поведения, общественные порядки, убеждения, знания, вкусы. Зачем существует культура? Чтобы человек на земле выжил как вид – то есть сам уцелел и другим помог уцелеть. Речь идет не о бескультурии, а о чужой культуре, которая нам непривычна и потому не нравится. Грекам не нравилась варварская культура, христианам мусульманская, нашим дедам негритянская; теперь мы научились ценить и ту, и другую, и третью. Пушкин свысока смотрел на лубочные картинки; теперь мы называем их «народная культура», и для нашего понимания прошлого она дает не меньше, чем та, к которой принадлежал Пушкин. Наши внуки будут ценить нынешние эстрадные песенки наравне со стихами Бродского, как мы ценим наравне Пушкина и протопопа Аввакума – а ведь это тоже взаимоисключающие культурные явления.

Высокое искусство, проходя через массовую культуру, упрощается – оттого что к искусству относятся как к развлечению. Хорошо ли это?

Не хорошо и не плохо. Воспитательного значения искусство от этого не теряет. Можно взять дамский роман или эстрадную песню, и окажется, что в них те же моральные основы, что и в высокой классике: нужно делать хорошо и не делать плохо. Даже если певец кричит, что хотел бы взорвать и растоптать весь мир, – право, и у Лермонтова та-

кое бывало. А результат один и тот же: агрессивные чувства, пройдя сквозь стиль и ритм, гармонизируются и становятся общественно безвредными. Мы с благоговением говорим, что высокое искусство приносит людям катарсис, очищение. Но ведь для Аристотеля искусство, которое приносит катарсис, даже не было самым высоким. Насколько можно понять (не из его «Поэтики», а из его «Политики»), самым высоким искусством он считал поучающее – вероятно, гимны богам; ступенькой ниже ставил очищающее – трагедию и эпос; а еще ступенькой ниже ставил развлекающее, дающее отдых – комедию. И все три нужны для правильной организации чувств человека и гражданина.

Все мы читали и «Гулливера», и «Робинзона», и греческие мифы в детских пересказах раньше, чем прочесть в подлинном виде. Высокая книжная культура всегда опускается в массы, эпический герой становится персонажем лубочных картинок, и это ничуть его не позорит. Когда-то у меня был разговор с Аверинцевым: я говорил о необходимости и пользе вот этой культурной программы-минимум, упрощенной до массовых представлений, а ему это не нравилось. «Послушайте, – сказал он, – был такой фильм с Брижит Бардо „Бабетта идет на войну“: там героиню легкого поведения готовили быть великосветской шпионкой и учили ее: „Запомните: Корнель – это сила, Расин – это высота, Франс – это тонкость...“. Вам не кажется, что вы зовете именно к такому уровню?» – «Господи! – сказал я. – Да если бы у нас все

усвоили, что Корнель – это сила, а Франс – это тонкость, разве это не было бы уже полпути к идеалу!» Он улыбнулся и не стал спорить.

В самом деле, он ведь сам не раз употреблял сравнение, которое я люблю: с чужой культурой мы знакомимся, как с чужим человеком. При первой встрече ищем, что у нас есть общего, чтобы знакомство стало возможным, а потом ищем, что у нас есть различного, чтобы знакомство стало интересным. Детские, народные и масскультурные адаптации именно и должны помогать этой первой встрече.

Помочь первой встрече с культурой, стало быть, нетрудно; а как помочь второй, как добиться продолжения знакомства?

Когда мои дети были в том возрасте, когда увлекаются детективами, я говорил: «Смотри, какие они все одинаковые: пять мотивов, двадцать пять комбинаций, да и те не все используются, – ты и сам сумеешь так сочинить». То есть переключал интерес с потребительского на производительский. Иногда помогало: появлялся интерес к чему-нибудь новому. Мой знакомый преподаватель рассказывал, что приохочивал школьников к Достоевскому, объявляя: «„Преступление и наказание“ – образцовый детективный сюжет; но посмотрите, насколько он становится еще интереснее от тех идей и переживаний, которые на него навешаны!» – и, говорит, это действовало.

К счастью, кроме потребности в привычном у человека

есть и потребность в непривычном: она называется любопытство, а вежливее – интерес. Ребенку скучно читать про то, что он и так каждый день видит вокруг, и он ищет мир, где все гремит, сверкает и стреляет. А когда он привыкнет к этому искусственному миру, то ему оттуда может показаться экзотикой тот реальный мир, в котором мы живем. Если педагог сумеет этим воспользоваться, то дорога к высокой классике будет открыта. Гончаров и Тургенев будут интересны не как отражение какой-то действительности, которой давно уже нет, а как очередная экзотика, в которой, однако, действуют не правила стрельбы, а правила психологии. Школьники смеются над Татьяной, которая не уходит от нелюбимого мужа? Нечего смеяться, просто в той пушкинской экзотике были такие правила игры: странные, но связанные. В самом деле, ведь реализм XIX века на самом-то деле привлек когда-то читателей не «правдой жизни», а экзотикой психологической и экзотикой социальной: диалектикой душевных движений и картинами быта тех слоев общества, с которыми читатели романов в жизни очень мало сталкивались.

И все-таки, есть ли такие понятия, как дурной вкус и хороший вкус?

О дурном вкусе обычно говорят: пошлость, вульгарность, тривиальность. Я не против, только давайте помнить, что все это понятия не абсолютные, а относительные. То, что для начитанного человека – пошлость, для неначитанного мо-

жет быть откровением. Маленькому ребенку нравятся картинки яркие, как цветные фантики (или нынешние рекламы). Он подрастает, яркость прискучивает – и он начинает искать в картинках чего-то другого. Для него яркость стала пошлостью, а для его соседа – еще нет. Когда меня спрашивают: «Вам нравятся вот эти стихи?» – мне трудно ответить. Мне хочется сказать: «В пять лет мне они бы не понравились (были бы непонятны), а в пятнадцать бы понравились (пришлись бы в самый раз), а в тридцать нравились бы меньше (прискучили бы). Интересно, будут ли они мне нравиться в восемьдесят лет: вдруг я увижу в них что-нибудь новое? А нравятся ли они мне вот сейчас, на перегоне между прошлым и будущим, это, право, несущественно». Если бы я был критик, я, наверное, в каждом возрасте абсолютизировал бы свой тогдашний вкус, а обо всем, что мне не нравится, говорил бы: пошлость. Или постарался бы застыть на каком-то вкусе и больше никогда не меняться. Мне не хочется ни того, ни другого, – поэтому, наверное, я и не гожусь в критики.

Стало быть, вкус, по-Вашему, – это, так сказать, предпосылка творческого отношения к миру, а знания – средства выработки вкуса. Но почему за вкус приходится бороться, и с таким трудом?

В этой борьбе есть обстоятельство, о котором часто забывают. Массовому вкусу школьника учат сверстники, учат равные: если он читал меньше модных триллеров, чем они, –

он знает, что стоит ему приналечь, и он сравнивается с ними, а то и превзойдет их по части приобщения к их культурным ценностям. Высокому же вкусу школьника учат взрослые, и держатся они так важно, что подростку неминуемо приходит в голову: «Сколько я ни старайся разбираться в их книгах и симфониях, все равно не смогу так, как они, – так лучше уж не буду и пробовать». Когда я был школьником, то думал: «Моя мать знает и умеет много такого, чего я никогда не осилю; но вот языков она не знает; буду же читать по-английски, чтоб хоть в чем-то ее превзойти». Сыну я сказал: «Исландские саги, говорят, это очень интересная законченная культура, но у меня на них в жизни так и не хватило времени; попробуй ты». И он вырос не профессионалом, но очень хорошим знатоком самых разных традиционных словесностей – к своему и к моему удовольствию. А когда мне приходилось навязывать трудные книги, я это делал не как хозяин культуры, а как такой же ее подданный. Я говорил: «Тебе понравилась эта книга? Это неважно; важно, чтобы ты ей понравился. Нравлюсь ли ей я, – не знаю; понравился ли ей ты – посмотрим».

Молодым (и инфантильным) не нравится весь мир взрослых и его официальная культура в частности. Понять их можно: наш мир и вправду скверно устроен. А отвечать им приходится так: «Ты не век будешь молодым – в удобной роли иждивенца, брюзжащего на тот мир, который тебя содержит. Ты вырастешь, и тебе придется самому налаживать и

переналаживать этот взрослый мир. Для этого нужно иметь общий язык не только со сверстниками из своего квартала, а и со многими другими – и старшими, и младшими. Язык понятий и язык вкусов – пусть не родной тебе язык, но общий. Скажи „он – как Обломов“, и все тебя поймут; очень сложная совокупность черт характера, мыслей и чувств выражена одним словом. Вот поэтому и полезно знать, кто такой Обломов и кто такой Аполлон Бельведерский: это как бы слова того языка нашей общей культуры, на котором ты будешь говорить людям все, что сочтешь нужным. Не самоцель, а средство взаимопонимания». Чем убедительнее это скажут родители и учителя, тем легче всем нам будет завтра.

КРИТИКА КАК САМОЦЕЛЬ

(ДЛЯ ДИСКУССИИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕПУТАЦИЯХ В ЖУРНАЛЕ «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»)

Говорят, что царю Птолемею показалось трудным много-томное сочинение Евклида и он спросил, нет ли более простого учебника. Евклид ответил: «В геометрии нет царских путей». Но в филологии царский путь есть, и называется он – критика. Критика не в расширительном смысле – как «всякое литературоведение», а в узком: та отрасль, которая за-

нимается не выяснением *что, как и откуда*, а оценкой *хорошо* или *плохо*. То есть устанавливает литературные репутации. Это не наука о литературе, а литература о литературе. Б. И. Ярхо писал: «Можно и цветы расклассифицировать на красивые и некрасивые, но что это даст для ботаники?» Для ботаники, конечно, ничего, а для стихов и прозы о цветах – многое. Это форма самоутверждения и самовыражения: статьи Белинского о Пушкине и Баратынском очень мало говорят нам о Пушкине и Баратынском, но очень много – о Белинском и его последователях. Так и здесь, вероятно, разговор о литературных репутациях должен быть средством не столько к познанию, сколько к самопознанию.

Однажды мне случилось сказать: «Не потому Лермонтов нам нравится, что он велик, а наоборот, мы его называем великим потому, что он нам нравится». Мне казалось, что это банальность, но некоторых это почему-то очень возмутило. Мне и до сих пор кажется, что наше «нравится – не нравится» – недостаточное основание, чтобы объявить писателя великим или невеликим. Я бы предпочел считать, что тот писатель хорош, который мне не нравится, который выходит за рамки моего вкуса: ведь я не имею права считать мой вкус хорошим только потому, что он мой. Еще лучше было бы вместо своей эгоцентрической точки зрения реконструировать чужую, заведомо достойную уважения: а что сказал бы о таком-то современном поэте Мандельштам? Пушкин? Овидий? Такие гипотетические суждения, наверное, были

бы интереснее; но обычно об этом не задумываются, вероятно, предчувствуя: ничего хорошего они бы не сказали.

Вопрос *хорошо* или *плохо* всегда предполагает сравнение: *лучше* или *хуже* кого-то или чего-то другого. Когда такие сравнения делаются в пределах одной культуры, они бывают изящны: кто лучше, Эсхил или Еврипид, Корнель или Расин, Евтушенко или Вознесенский? Думаю, однако, что гораздо интереснее были бы сравнения между разными культурами, хотя их обычно избегают из-за трудности: кто талантливей, Дельвиг, Шершеневич или Юрий Кузнецов? А интереснее такие сравнения вот почему. Нам ведь только кажется, будто мы читаем наших современников на фоне классиков, — на самом деле мы читаем классиков на фоне современников, и каждый из нас в своей жизни раньше знакомится с Михалковым, чем с Пушкиным, и с Пушкиным, чем с Гомером. Отдавать себе отчет в том, где здесь прямая перспектива и где обратная, было бы очень полезно. И это относится ко всем векам: когда римляне осваивали греческую культуру, они заставляли себя читать Каллимаха, а уважать Гомера. Это очень мешает строить систему вкуса: в лучшем случае получается сознательное лицемерие, а в худшем бессознательное.

Сейчас сопоставительное чтение одного текста на фоне другого полюбили постструктуралисты и деструктивисты. Но они не ставят целью выяснение генезиса собственного вкуса: они вместо этого создают художественные произведе-

ния и выдают их за научные. Где-то у Борхеса предлагается вообразить (кажется), что «Дао дэ-цзин» и «1001 ночь» написаны одним человеком, и реконструировать душевный облик этого человека. А у Станислава Лема предлагается литературная игра «Сделай сам»: можно поженить Гамлета с Наташей Ростовской и посмотреть, что из этого выйдет. Постструктуралисты занимаются почти тем же самым – только они реконструируют облик не одновременного писателя, а одновременного читателя таких произведений, т. е. наш собственный (по большей части – малопривлекательный). Ничего нового здесь нет. Классики потому и считаются классиками, что каждое поколение смотрится в них, как в зеркало; а кто больше озабочен своей наружностью, смотрится сразу в два зеркала, это вполне естественно. Хуже то, что они уверяют нас, будто это их отражение и есть самое главное в зеркале классической литературы.

Постструктурализм и деструктивизм – нарциссическая филология. Да, они справедливо напоминают, что филология нам дает не описание произведения, а описание взаимодействия произведения с исследователем. (Это взаимодействие любят называть «диалог»; об этой сомнительной метафоре – чуть дальше.) И они справедливо ссылаются на физику, которая признает, что прибор дает нам показания не об объекте, а о своем соприкосновении с объектом. Но что делает физик? Он старается выяснить специфику возмущающего влияния прибора (в какую дурную бесконечность

уводит это выяснение – вопрос отдельный), чтобы потом вычесть ее из операций и по возможности сосредоточиться на объекте. А что делает филолог донаучной или посленаучной эпохи? Он сосредоточивается именно на взаимодействии между собой и произведением – на том взаимоотношении, которое честно формулируется словами «нравится – не нравится», а прикровенно – словами «хорошо – плохо». То есть на игре собственных эстетических переживаний. Право, если бы физику термометр начал изъяснять переживание им собственной ртути, то физик такой термометр выбросил бы. Когда мы говорим «хорошо – плохо», этим мы проясняем себе (и другим) структуру нашего вкуса. Это очень важный предмет, и самопознание – очень благородное занятие. Но не нужно выдавать его за познание предмета, с которым мы имеем дело.

Критик справедливо напоминает ученому, что не все можно взять разумом, а иное только интуицией. Но он забывает напомнить, что и наоборот, не все можно взять интуицией: она действует только в пределах собственной культуры. Попробуем перенести методы французских постструктуралистов с Бодлера и Расина хотя бы на Горация (не говорю: на Ли Бо), и сразу явится или бессилие, или фантасмагория. Они исходят из предпосылки: раз я читаю это стихотворение, значит, оно написано для меня. А на самом деле для меня ничего не написано, кроме стишков из сегодняшней газеты. Чтобы понять Горация, нужно выучить его поэтический

язык. А поэтический язык, как и английский или китайский, выучивается не по интуиции, а по учебникам (к сожалению, для него не написанным).

Если стихи классиков писаны не для нас, то что означает обычное наше ощущение: «я понимаю это стихотворение»? То же самое, как когда мы говорим: «я знаю этого человека». Этот человек заведомо создан не для меня, и я заведомо не притязаю читать у него в душе, я только представляю себе, каких неожиданностей от него можно ждать, а каких можно не ждать: набросится ли он в следующий миг на меня с кулаками и пойдет ли он на следующий день на меня с доносом. Вот так и филологическое понимание есть лишь самозащита от нападения на нас непонятного нам мира в лице такого-то стихотворения. Только в этом смысле я согласен с тем, что искусство есть насилие, и понимаю постмодернистских критиков, которые с этим насилием борются. Но мне хотелось бы бороться не встречным насилием.

Для меня в этом мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг по земле убеждает нас в этом. Кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет (замечает те книги, какие хочет, и не замечает тех, каких не хочет), или, наоборот, так уж замучен неудобствами этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим. Так что вместо «нарциссическая филология» можно сказать «солипсическая филология». А я привык думать, что филология –

это служба общения.

Общение это очень трудное. Неоправданно оптимистической кажется мне модная метафора, будто между читателем и произведением (и вообще между всем на свете) происходит диалог. Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разговаривает – по крайней мере публично, – но с Бодлером или Расином всякий неленивый разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые ему хочется услышать. Что такое диалог? Допрос. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, будто кого-то (что-то) познал.

Когда мы читаем старые «Разговоры в царстве мертвых» – Цезарь со Святославом, Гораций с Кантемиром, – мы улыбаемся. Но когда мы сами себе придумываем разговор с Пушкиным или Горацием, то относимся к этому (увы) серьезно. Мы не хотим признаться себе, что душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки. Вопросы, которые для нас главные, для него не существовали, и наоборот. Мы не только не можем забыть всего, что Пушкин не читал, а мы читали, – мы еще и не хо-

тим этого: потому что чувствуем, что из этих-то книг и слезается то драгоценное, что нам кажется собственной нашей личностью. Оттого мы и предпочитаем смотреть на дальние тексты сквозь ближние тексты, будь то Хайдеггер или Лимонов.

Максимум достижимого – это учиться языку собеседника; а он такой же трудный, как горациевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает – но ровно столько же, сколько обогащает изучение китайского языка. (Можно ли говорить о диалоге с учебником китайского языка?) Как разговариваем мы с живыми людьми? В любом так называемом диалоге поток мыслей моего собеседника начался до меня, я обязан поймать их на лету, угадать самоподразумевающееся для него, поддержать, не понимая, и обогатиться ненужным, а его отпустить довольным. Что ж, согласовывать наши языки хотя бы на материале литературных репутаций – это совсем не так плохо. Это все равно, что составить многостолбцовый словарь: что значит «хорошо», «плохо» и все оттенки между этими краями для такого-то, и такого-то, и такого-то критика. Все равно наука всегда начинается с интуиции: с выделения того, что нам интуитивно кажется заслуживающим изучения. В нашем случае – хороших и плохих литературных произведений. А потом уже происходит проверка разумом: почему именно такие-то тексты вызвали именно такие-то интуитивные ощущения. Но этим обычно занимается уже не критика.

V. ОТ А ДО Я

Если эпитафия покажется вам уже слишком глуп, то вместо Гете подпишите Тик, под фирмою которого всякая бессмыслица сойдет.

И. Киреевский

Кто вопрошает богов о том, что можно знать посредством меры, веса и счета, и о тому подобных вещах, тот поступает нечестиво.

Socr. ap. Xen. Memor

*А собака лаила
На дядю Михаила,
А что она лаила —
И сама не знала.*

Частушка

А Алфавитный указатель к двухтомнику С. Острового начинается «А было это...» и еще 10 стихотворений, начинающихся с **А**. (Последнее: «А что такое есть стихотворенье?..») Тютчев стал начинать стихи с **И**, а Островой с **А**.

@ – это буква **а** берется левой рукой за правое ухо (О. К.).

Абстракционистская литература (советского классицизма): действуют люди, а разговаривают совершенно как треугольники.

«Авангард 1920-х годов низвергал традицию, авангард 1980-х ей подмигивает» (тезисы И. Бакштейна).

Авангард авангарда, одержимый всеми невротами разведчика неверных путей...

Автор «Если „смерть автора“, то, вероятно, и Деррида тоже нет?» – «Нет, говорят, Деррида только и есть, это всех остальных нет» (Т. Толстая).

Адресат Цветаева писала: «Говорите о своей комнате, и сколько в ней окон, и какие цветы на ковре...» («Из двух книг»). Какая уверенность, что у каждого пишущего стихи есть комната, и даже с ковром. Когда готовили дом-музей Цветаевой, то много спорили, воспроизводить ли в нем предреволюционную роскошь или пореволюционную нищету; выбрали первое. Я сказал: «Полюби нас беленькими, а черненькими нас всякий полюбит».

Азбука На телеграфе: «А международную в Болгарию тоже латинскими буквами писать?» – «Обязательно».

Азбука Ст. Спендер предлагал ЮНЕСКО начать опыт мирового правительства со снятия таможенных барьеров между странами на одну букву, например Либерией, Лапландией и Люксембургом (А. Koestler).

*«Лит. газета» печатала статью с новой теорией стиха «Слова о полку Игореве»: строчки соизмеряются по числу одинаковых букв, вот промелькнули вразнобой пять **т** и вот еще пять **т**, значит – две строчки. Меня попросили написать предисловие, я написал: «Была детская игра: по*

клеточкам нарисованы в беспорядке кошки, мышки и лягушки, их нужно пересчитать, но не порознь, а так: первая кошка, первая мышка, вторая кошка, первая лягушка, третья кошка, вторая мышка и т. д., кто раньше собьется. Автор новой теории предполагает в читателе – точнее, в слушателе! – «Слова...» вот такую фантастическую быстроту и четкость восприятия» и т. д. Лишь потом я вспомнил, что Хлебников именно такие закономерности обнаружил – *post factum* – в своем «Кузнечике»: 5 к , 5 р , 5 л , 5 у . Знал ли об этом толкователь «Слова...»?

Академик Выбран в академики. «А времени в сутках вам за это не прибавили?» – спросил НН. «Ах, если бы вместе с книгами продавали время для их чтения» – эти слова Шопенгауэра стали девизом немецкого общества библиофилов.

Академический авангардизм Ю. М. Лотман говорил об улицах в Режице: «Конечно, если эта – Суворова, то вон та будет Маяковского, а между ними – Жданова». Совсем как у позднего Брюсова.

Аканье Льва Толстого: имена «Каренина» вместо «Кореньина», «Каратаев» вместо «Коротаев». Впрочем, кто-то говорил, будто фамилия Анны – от греч. *carene*, голова, и делал выводы о рационализме и иррационализме.

Аканье Статья А. Ржевского «О московском наречии» объясняла аканье любовью русского народа к начальству – как к первой букве.

Алфавит Персидский великий визирь Абул Касем Исма-

ил (X век) возил за собой свою 117 000-томную библиотеку на 400 верблюдах по алфавиту.

Анамнез в значении «амнезия» пишет доктор филол. наук М. Новикова в «Лит. газете», 17.6.1992.

Аполитизм Маяковского: у него нет прямых откликов ни на троцкизм, ни на шахтинское дело, его публицистичность условна, как мадригал (сказала И. Ю. П.).

Аполлон Воспоминания В. Белкина, художника: «...в „Аполлоне“ все были какие-то умытые» (В. Лукницкая).

Архаисты и новаторы Традиционализм закрытости – это хранение результатов, новаторство открытости – хранение приемов. «Никакая программа не революционна, революционна бывает деятельность», т. е. смена программ (Б. Томашевский). Ср. сентенцию Волошина: свободы нет, есть освобождение.

Архив Евд. Никитиной (РГАЛИ): *В. И. Бельков*, крестьянский поэт, в 150 км от Барнаула, был в городе за всю жизнь раз 10, в том числе один раз в кино. *Д. Е. Богданов* из Липецка – одно время увлекался собиранием фамилий английских лордов из книг, газет и журналов, насобирал несколько сотен. *М. М. Бодров-Елкин* из Волоколамского уезда: «Под наблюдением моим / Древа, цветы цвели и вяли». Не помню кто: «Сейчас мне 23 года, проживу еще лет 20» (из собранных автобиографий).

Аршин «Догматическая наука мерит мили завещанным аршином, а харизматическая наука мерит мили новоизобре-

тенным аршином, вот и вся разница».

Афины Потомкам тираноборцев Гармодия и Аристогитона там тоже полагались почет и льготы. Я вспомнил об этом, услышав от К. К. Платонова, что в ленинградском доме политкаторжан в распределителе висело объявление: «Будет выдаваться повидло по полкилограмма, цареубийцам по килограмму».

Афоризмы – это точки, через которые заведомо нельзя провести никакую линию», – сказал А. В. Михайлов.

Балет Почему в России при всех режимах писать о балете было опасно? Н. написал о Григоровиче: он гений, но сейчас в кризисе; я бы за такой отзыв ручки целовал, а Григорович требует сатисфакции.

Басня «А вот Крылова мы с парохода современности не сбросим», – говорил Бурлюк, по воспоминаниям Тауфера.

Бездарным праведником» называл Толстого Скрябин (восп. Сабанеева).

Беспокойство мысли – Герцен, беспокойство совести – Огарев, беспокойство воли – Бакунин» (зап. О. Фрелиха в РГАЛИ).

«Это бессмысленница», – писал на сочинениях Я. Г. Мор, преемник Анненского по директорству в Царском Селе (восп. А. Орлова в РГБ).

Бессознательное Салтыков-Щедрин: «А я в Москве увижу мсье Кормилицына! – думала дама (она этого не думала, но я знаю наверное, что думала). – А я в Москве увижу

мадам Попандопуло! – думал кавалер (и он тоже не думал, но думал)».

Биография Мандельштам писал: у интеллигента не биография, а список прочитанных книг. А у меня – непрочитанных.

Биография Я пишу не о себе, не о внутреннем своем, которого я не помню или довыдумываю, а о своих словах, поступках, записанных мыслях, смотрю на себя как на объект, подлежащий реконструкции.

Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает только намеренно» (А. Ахматова у Л. Чуковской). «Это она повторяет Уайльда», – говорит К. Душенко.

Блат «Богат мыслит о злате, а убог о блате» (Пословицы Симони).

Ближние и дальние К. Краус: «Кокошка нарисовал меня: знакомые не узнают, а незнакомые узнают».

Бог Художница Ханни Рокко говорила о нем: «Ему бы восьмой день!»

Богоматерь Собеседница уверяла, что сама слышала в дни Дрезденской галереи, как женщина спрашивала сторожиху при «Сикстинке»: «Почему ее изображают всегда с мальчиком и никогда с девочкой?» Оказывается, любимый феминистский анекдот – тот, в котором Богоматерь отвечает интервьюеру: «...а нам так хотелось девочку!»

*«Поэт – шпион Господень», —
прочитала я у Роберта Браунинга,
маленькая, едва понимая язык.
После оказалось,
что там было написано совсем не то.
Что ж:
пусть считается, что это сказала я.*

Кл. Лемминг

С боку на бок Падение нравов неповинно в гибелях империй, оно не умножает, а только рокирует пороки. При Фрейде люди наживали неврозы, попрекая себя избытком темперамента, а после Фрейда – недостатком его; общее же число невротиков не изменилось. Вероятно, соотношение предрасположенностей к аскетизму, к разврату, к гомосексуализму и проч. всегда постоянно, и только пресс общественной морали давит то одни участки общества, то другие. Это общество как бы ворочается с боку на бок. Кажется, Вл. Соловьев писал, что успехи психоанализа сводятся к тому, чтобы уменьшить клиентуру невропатологов и умножить клиентуру венерологов.

Более-менее «У вас есть дипломаты более европейские, чем Европа, и менее русские, чем Россия», – говорил Рейсс, германский посол при Сан-Стефанском мире (Мещерский). Ср. С. Кржижановский: «Это более, чем менее? Знаете, это менее более, чем более или менее».

Бородино Битву Александра при Гавгамелах греки пред-

почитали называть «при Арбеле», по более дальнему городу, – потому что благозвучнее. Так французы называют Бородино «битвой под Москвой». Бородино было орудийным грохотом от рассвета до глубокой ночи, артиллерийской дуэлью, а «драгуны с пестрыми значками, уланы с конскими хвостами» высыпались в атаки, лишь чтобы проверить результат пальбы. И именно артиллерия – налаженная Аракчеевым – была у русских едва ли не сильнее французской. Больше всего это было похоже на Курскую дугу.

Бремя: русское «бремя белых» перед Востоком и «бремя черных» перед Западом.

Бы «НН хороший ученый?» – «Он мог бы, но ему некогда».

Бы Реконструировать поэта по «я чувствовал бы так» – все равно, что больного по «я болел бы так». Этому противоположна Гиппократова филология.

Бы А что писал бы Пушкин, проживи он на десять лет дольше? А что писал бы он, проживи он на двести лет дольше? Вопрос одинаково неправилен.

Бы Если бы Лермонтов не погиб и решил бы уйти из армии, он не удержался бы в столице – по бедности – и жил бы в деревне, предтечей Фета и Толстого (В. Викери, в разговоре). Так и Пушкин, идя на дуэль, надеялся полатиться ссылкой в деревню. Хотя помещики из них получились бы плохие.

Бы Я не раз прикидывал, что было бы с Пушкиным, ес-

ли бы в декабре 1825 года повстанцы победили. Получалось: он пережил бы и смуту, и диктатуру Пестеля; первым человеком в русской литературе стал бы Булгарин; Пушкин бы с ним жестоко спорил и погиб бы около 1837 года, возможно, что на дуэли. А. В. Исаченко делал доклад на конгрессе слаvistas: что было бы, если бы Россию объединила не Москва, а Новгород; получалась очень светлая картина. (Я предпочитал воображать, что Россию объединила бы Литва.) Таки-ми упражнениями любил заниматься Тойнби: что было бы, если бы Тимур в своем маркграфстве не поворотил фронт на Персию, а продолжал бы бороться со степью, как ему и было положено? Тогда мы сейчас имели бы на территории СССР государство приблизительно в границах СССР, только со столицей не в Москве, а в Самарканде.

Бы Именно такие рассуждения в стиле Кифы Мокиевича Г. Успенский обозначал незабвенным словом «перекабыльство». А Ю. М. Лотман – словами «многовариантность истории».

Быть может «Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда не знала еще итальянского языка» (А. Ахматова, «Модильяни»).

*Я – Лир, король без королевства:
Сперва я видел плохих людей хорошими,
Потом вовсе не видел хороших людей,
А потом увидел, что их немало —
Корделия, Эдгар, шут...*

*Но с ума я сошел тогда,
Когда заглянул за кулисы
И увидел, как шут снимает колпак
И переодевается Корделией.
Значит, хороший человек – всего один,
Только надевает разные маски,
Чтобы мы не теряли надежды.*

Кл. Лемминг

Вакуум Рахманинов говорил: «во мне 85% музыканта и 15% человека»; я бы мог сказать, что во мне 85% ученого... но сейчас этот процент ученого быстро сокращается, а процент человека не нарастает, получается в промежутке вакуум, от которого тяжело.

Вашингтон на долларе потому так мрачен, что во время позирования он разнашивал зубной протез.

Век живи Из притчи: душа все время учит человека, но не повторяет ни одного урока. Ср. **История.**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.